

ЯАН
КРОСС



ОКНА В ПЛИТЧКОВОЙ
СТЕНЕ



РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Сурен Агабабян
Ануар Алимжанов
Сергей Баруздин
Альгимантас Бучис
Константин Воронков
Леонид Грачев
Анатолий Жигулин
Игорь Захарошко
Имант Зиедонис
Мирза Ибрагимов
Алим Кешоков
Григорий Корабельников
Леонард Лавлинский
Георгий Ломидзе
Михаил Луконин
Андрей Лупан
Юстинас Марцинкявичюс
Рафаэль Мустафия
Леонид Новиченко
Александр Овчаренко
Александр Руденко-Десняк
Ирина Сергеева
Леонид Теракопян
Бронислав Холопов
Иван Шамякин
Людмила Шиловцева
Камил Яшен

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЯАН
КРОСС

ОКНА В ПЛИТНЯКОВОЙ
СТЕНЕ

ПОВЕСТИ



ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1975

С [эст.] 2

К 83

Перевод с эстонского Ольги САММА

Художник Г. КАЛИНОВСКИЙ

К $\frac{70\ 302-000}{074(02)-75}$ 71—75 подписное



Ян КРОСС опубликовал свою первую книгу в 1958 году. Это был сборник стихов «Обогатитель угля». Сам писатель назвал свой литературный дебют весьма запоздалым: фактически писать он начал еще в тридцатые годы. «Но это не так уж плохо,— замечает Ян Кросс,— весь долгий и неровный путь ученичества, к счастью, не зафиксирован в печати». Требовательность к себе, огромная эрудиция, тонкий, изящный художественный почерк отличают творчество Кросса. Он родился в Таллине в 1920 году в семье мастера машиностроительного завода. После гимназии окончил юридический факультет Тартуского университета. Затем преподавал в университете международное право. В 50-х годах стал профессиональным писателем.

После первой книги последовали сборники стихов: «Юхку-ветреник [Для тех, кому

больше шестнадцати, запрещается]» (1962 г.), «Каменные скрипки» (1964 г.), «Песни на баке» (1966 г.), «Дождь творит забавные дела» (1969 г.). На русском языке стихотворения Кросса вышли в двух сборниках: «Зарубки на скалах» (1962 г.) и «Каменные скрипки» (1973 г.).

В конце 60-х годов Кросс обратился к прозе. В 1968 году выходит сборник его критических статей и эссе, затем путевые очерки о поездке по странам Востока и Греции. Он пишет либретто исторической оперы «Барбара фон Тизенхузен». Затем работает над сценарием на историческую тему. Его выбор пал на весьма драматический период в истории Эстонии — XVI век. Героем сценария, а затем и первого романа Яана Кросса стал выдающийся историк-летописец Балтазар Руссов (ок. 1542—1600). Первая часть романа вышла в 1969 году, вторая — в 1972 году.

В том же, 1972, году выходит сборник исторических повестей Кросса «На глазах у Клио». Две из них: «Четыре монолога по поводу святого Георгия» и «Имматрикуляция Михельсона» в русском переводе впервые были опубликованы в журнале «Дружба народов» в 1971 и 1973 годах. Весь сборник в русском переводе вышел в Таллине в 1973 году.

Настоящая книга, помимо произведений этого сборника, включает повесть «Небесный камень» (русский перевод впервые в «Дружбе народов», 1975 г.). Собственно, понятие «повесть» здесь весьма условно. «Четыре монолога по поводу святого Георгия» и «Небесный камень» сам автор считает «маленькими рома-

нами». Созданные «на глазах» у музы — покровительницы истории Клио — эти интересные и талантливые произведения не укладываются в традиционные границы жанра.

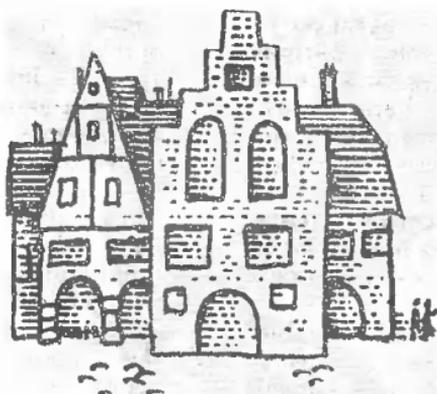
«Четыре монолога по поводу святого Георгия» посвящены замечательному эстонскому живописцу Михелю Ситову (1469—1525). Это произведение было удостоено первой премии Союза писателей Эстонской ССР в области короткого жанра за 1970 год. Яан Кросс почти всегда ироничен. В «Четырех монологах» он чуть-чуть улыбается, повествуя об ограниченности таллинских ремесленников, слабостях человеческих и даже о самом Ситове, так просто и неожиданно для всех «решившем» извечный конфликт между искусством и ремеслом.

Иная форма иронии свойственна «Имматрикуляции Михельсона». Сюжет произведения основан на формальном внесении в дворянский матрикул (списки) генерала Михельсона. Рассказ ведется в основном от лица самого Михельсона и его преданного слуги. Слуга, замирая от благоговения, восхваляет хозяина, а тот, в свою очередь, при всем своем проницательном уме не скрывает довольства собственной персоной. И чем интенсивнее хвала и восторги, тем явственней становятся подлинный смысл и цена поступков героя. Ирония восхваления и самовосхваления — это уже одно из самых эффективных орудий сатиры. В «Имматрикуляции Михельсона» Яан Кросс использует версию о якобы крепостном происхождении Михельсона, его бегстве и затем

головокружительной армейской карьере.

Кросса интересуют глубины человеческой психологии, сложные, значительные человеческие характеры. Он стремится рассказать в своих произведениях о людях, которые явились зачинателями эстонской национальной культуры. Эпизод из юности Ф. Р. Крейцвальда (1803—1882), крупнейшего эстонского писателя-просветителя, лег в основу небольшого поэтического этюда «История двух утраченных записок». Подлинным психологическим исследованием, воплощенным в тонкой ироничной художественной форме, представляется «Час на стуле, который вращается» — произведение о И. В. Ясене (1819—1890), «отце эстонской журналистики», личности очень противоречивой. О двух выдающихся деятелях эстонской культуры: О. В. Мазинге (1763—1832) и К. Я. Петерсоне (1801—1822) написана повесть «Небесный камень». На фоне занимательного сюжета Яану Кроссу удается дать очень точные характеристики своих героев, людей одаренных, но принадлежащих к разным поколениям и обладающих прямо противоположными характерами. Обстановка, образ жизни людей, их мысли, чувства переданы автором с достоверностью ученого и художественным видением писателя. Это одна из главных особенностей таланта Кросса.

Много работает Яан Кросс и как переводчик. Он переводил на эстонский язык Шекспира, Элюара, Гейне, Шиллера, Брехта, Беранже, Грибоедова, Чукковского.



четыре монолога
по поводу
святого георгия





Господи, я хочу поторговаться с тобой...

15.10.1506 г.

Помоги мне, святой Лука,* будь мне опорой! Посмотри, ведь мне сравнялось уже пятьдесят пять лет, и я стою перед тобой на коленях, мои распухшие ноги стынут на каменном полу, потому что уже наступил октябрь, а в здешних местах в октябре ненастье хуже, чем глубокой зимой в Нидерландах, и хоть я от гнева весь как в огне горю, душе моей и телу зябко.

Я прошу у тебя совета, святой Лука. Нет, не о том я спрашиваю, надлежит мне или не надлежит отступить от домов моей покойной Маргарете и отдать их ее окаянному сыну, нет, не об этом, ибо я прямо скажу тебе, мне все равно, что бы они там в городе ни говорили о нашей жизни с Маргарете, между супругами ведь случаются ссоры, особенно ежели у жены есть на земле дети от ее покойного мужа и ежели она, без ведома живого мужа, для этих детей старается сунуть деньги в шкатулку (что же тогда остается мужу, как не браниться с женой и не взломать ларец, если она посмеет не дать ему ключей). Так вот, я и говорю: мне все равно, как бы в городе ни суда-

чили, в крепостной книге эти дома законным порядком ни на кого иного, а на меня записаны, и пусть мой господин пасывок судится со мной из-за них хоть в нижнем суде, хоть в магистрате, а по мне, так хоть и в самом Любеке, дома эти я не отдам.

И все же взгляни, святой Лука, я на коленях молю тебя так настойчиво, как это, наверно, редко случилось с достопочтенным мастером, присяжным* цеха стекольщиков и живописцев, не откажи мне в твоём совете! Ибо ты ведь знаешь, что не только сам проклятый Михель притесняет меня сейчас из-за этих домов и ларца с драгоценными украшениями Маргарете (будто мне в наказание он снова явился сюда из дальних стран), но и мои дорогие собратья по цеху в свою очередь притесняют меня из-за него.

Святой Лука, ты, который не только писал о деве Марии в своем Евангелии — *В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве...* и так далее, и так далее, но и ты, который в святости духа и вдохновении еще изобразил эту деву красками и поэтому трудное искусство живописи знаешь лучше, чем когда-либо кто-либо из смертных, тебе ведь известно, чего они от меня хотят. Чтобы я был с ними заодно и подтвердил: сей Михель, старший сын моей покойной Маргарете от ее брака с покойным Клавесом Мелером,* этот Михель, по фамилии Ситтов,* который в Испании велел звать себя Ситтосом (но о котором некоторые люди в этом городе говорят, будто корни-то его вовсе местные, и имя его сперва было Ситтаук, что на ихнем языке означает какую-то непристойность, как, впрочем, и большая часть ихних имен), сей самый Михель, этот молодец, этот повеса, выскочка, может, и учился сколько угодно в городе Брюгге у Мемлинга,* может, и был придворным живописцем трех королей, по мне, пусть он даже спал с тремя королевами (потому что тот, кто его увидит, не сочтет это невозможным, коли вспомнит про теперешнюю безнравственность королевских дворов), пусть в Испании и Вене, в Англии и даже во Фландрии (потому что фламандцы, будь они хоть какие хорошие живописцы, всегда были вертопрахами), пусть его там повсюду считают, сколько им вздумается, са-

мым ловким из теперешних мастеров портрета, но ведь здесь, в городе Таллине, он не вправе поставить горшки с красками и открыть свою живописную мастерскую прежде, чем отслужит год у какого-нибудь здешнего достопочтенного мастера, выполняя все обязанности подмастерья, пока не представит цеху шедевра¹ — пусть красками написанного или из дерева резанного, пусть то будет дева Мария, или святой Георгий, или святая Вероника.

Но мне присоединиться ко всем этим ихним требованиям, святой Лука, это все-таки уже слишком!

Я говорю тебе, что не отступлюсь от домов, потому что сам магистрат, согласно воле моей покойной Маргарете, признал их моими по букве завещания, которое Маргарете написала, то есть которое, правда, писал я сам, но к которому она все же приложила свою руку. И я не отступлюсь от ее ларца с украшениями, потому что, говорю тебе прямо, по закону эти украшения мои. Я прожил с Маргарете четырнадцать лет, и если господь не дал ей от меня детей, хотя по возрасту она могла их иметь и желание у нее было и хотя у нас в ту пору случались свары, что я, не таясь, признаю, все же наша жизнь не состояла из одних только ссор: эти украшения срослись с моим сердцем, потому что Маргарете носила их, они украшали ее шею, волосы, уши, руки, и сей мой господин пасынок не должен их получить, чтобы подарить своей девчонке, сапожниковой дочке. Поэтому я и говорю тебе: даже если по закону они могли бы принадлежать ему, то по справедливости они мои, ты слышишь, святой Лука, по справедливости они принадлежат мне, если еще хоть немного подумать о расходах, в которые ввела меня Маргарете (в последние годы ее жизни в одну только аптеку я перетаскал три фунта серебра), не говоря уже о деньгах за обучение Михеля, которые я посылал в Брюгге. И все-таки, только потому, что старшина не-

¹ Шедевр (франц. — chef d'œuvre) — в первоначальном значении — образцовое ремесленное изделие, которое, согласно цеховым уставам многих городов средневековой Западной Европы, должен был изготовить подмастерье, чтобы доказать свое профессиональное умение и способность стать самостоятельным мастером.

пременно этого от меня ждет, иначе они могут и не выродить своего решения, ради этого только не могу я признать, что мой господин пасынок, будь он трижды проклят, так скверно использовал угробленные на его обучение деньги, что теперь он не стоит большего, чем целый год лизать задницы здешним мастерам! Нет!

По скромности я не хочу поставить себя не только рядом с твоим священным искусством, святой Лука, но даже с умением лучших живописцев нынешнего времени, потому что сейчас, как в Германии, так и особенно там, на юге, в Италии, они будто бы уж очень искусны, но ведь и я кое-что в этом смысле, хотя я всего-навсего стекольщик, и лишь в зрелом возрасте стал живописцем, все это ты, конечно, знаешь. Ведь только когда я взял Маргарете, в мои руки попали незаконченные изваяния, холсты и доски, рамы, краски, кисти и сама мастерская ее Клавеса, отдавшего богу душу, так что первые уроки я должен был брать у оставшихся без мастера учеников, о чем мой господин пасынок всем теперь в городе рассказывает, чтобы сделать меня посмешищем, хотя сам он этого не видел, потому что в ту пору этот желторотый юнец уже удрал с попутным ветром в чужие страны. Так вот я и говорю, не будем сейчас судить о достоинствах моих работ, во всяком случае, магистрат изволит быть весьма довольным моими расписными пушками и золочеными флюгерами. Когда же я им, для эпитафии ихней церкви святой Гертруды,* писал эту святую (а писал я ее, признаюсь тебе, со своей Маргарете, но, к счастью, никто этого не заметил), то многие господа члены магистрата нашли ее весьма недурной. Во всяком случае, за двадцать лет я все-таки научился отличать хорошие картины от плохих, так и быть, скажу тебе начистоту — по крайней мере, тогда, когда они написаны другими.

А работы Михеля я видел собственными глазами.

Ты ведь знаешь, что, прибыв в Таллин, он не поселился в моем доме, хотя это его отчий дом, как по родному отцу, так и через меня, но пусть это останется на его совести, и пусть он будет сам за это в ответе перед тобой, святой Лука, а если осмелится, то и перед самим господом богом (я не пойду к нему спрашивать

объяснений). Короче говоря, он поселился, как ты знаешь, на улице Карья у своего двоюродного брата с отцовской стороны, у Хинрика Шрамма, золотых дел мастера, они там и состряпали все эти жалобы на меня, и потом он подал их в нижний суд, не добившись, слава тебе господи, большого толку, потому что дома и шкатулку Маргарете, по крайней мере, сей нижний суд присудил в мою пользу. Однако же всю утварь живописной мастерской, суд, будто слепотой пораженный, приказал выдать Михелю, и вот теперь я ни с того ни с сего свое двадцатилетним трудом приобретенное искусство вместе с зубами должен положить на полку, ибо ты, святой Лука, лучше, чем кто-либо другой, знаешь, как мало здесь можно заработать одним только трудом стекольщика.

Но все это случилось позже, потому что на следующий день, как он прибыл (я, конечно, уже знал, что он в городе), он явился ко мне для переговоров, а то, как-то он из себя, для меня уже не было новостью: я ведь видел его в позапрошлый год в Брюсселе не один раз. Но теперь, когда он вошел ко мне в дом (я как раз промасливал бумагу для кухонных окон гильдии, и облака масляных паров засверкали в солнечных лучах, проникших в открытую дверь), в первый момент я подумал даже, что пришел какой-то мне неизвестный благородный господин что-нибудь заказать, и сразу встал, и только когда сквозь запах льняного масла мне в нос ударил запах лаванды, исходивший от его одежды, я узнал его и в гневе так быстро снова сел, что едва не сломал табурет. И тогда, как ты знаешь, святой Лука, он изложил мне самым любезным тоном свои бесстыдные требования и просил меня подумать о них и дать ему знать туда, к Шрамму, на что я, святой Лука, как тебе тоже известно, ответил ему, что ему нечего от меня требовать, а мне не о чем ему сообщать. Но он сказал, что после того как я все обдумаю, он охотно повидается со мной, чтобы приятно побеседовать. Святой Лука, ты только представь себе, он не сказал, что с охотой повидается со мной, чтобы мы все друг другу начистоту выложили, а сказал, что охотно повидается, чтобы приятно побеседовать, и сразу исчез, раньше чем я успел пожелать ему, чтобы он сгорел в огне святого Антония.* А на следующий день я узнал,

что он привез из дальних стран несколько своих картин, и тогда, ну да.. Вспомнил я, значит, про то самое большое серебряное украшение моей покойной Маргарете, которое сей мой приятный собеседник — господин пасынок вместе с другими вещами своей матери требует теперь от меня. Это тяжелое, более фунта весом ихнее местное нагрудное украшение, по здешнему сыльг,* сделанное каким-то ихним же чеканщиком, но я не знал точно, сколько в нем серебра, и тогда я велел выследить, в какое время мой господин пасынок выйдет из своей новой квартиры у Хинрика Шрамма и отправится обедать к другому своему родственнику — кузнецу Детерсу, и я тут же пошел к Хинрику Шрамму, положил ему на стол нагрудное украшение Маргарете и сказал: ты помогаешь Михелю выцарапывать его у меня, так выясни хотя бы прежде, чего эта штука вообще-то стоит, чтобы и мне, и вам самим было ясно. И пока Хинрик взвешивал этот сыльг, скреб его, окунал в воду и нюхал, я, будто случайно, прошел в заднюю комнату — теперь там жил у него Михель, — где, как мне было известно, картины, а их должно было быть четыре,* стояли в ряд на полу у стены против окна. Там они и были.

Святой Лука, ты лучше меня знаешь, что это за картины, потому что ты спокойно, сколько хочешь зришь на них своими святыми очами из рая, а я видел их только несколько мгновений — и ты думаешь, мне было легко, глядя на них, признаваться себе в том, какое, несмотря ни на что, они доставляют мне наслаждение. Все равно, повторяю тебе еще раз, я никогда не отступлюсь ни от обоих домов на улице Ратаскаэву, ни от серебра, ни от утвари живописной мастерской, сколько бы суд ни присуждал их моему приятному собеседнику, но я должен сказать тебе, что таких картин в Таллине никто никогда раньше не видал, не говоря уже про то, что ни один человек родом из здешнего города никогда таких картин писать не умел.

Первым слева стоял женский портрет. Высокомерная, дивной красоты молодая женщина с лицом ребенка. На голове королевская диадема, а воротник из таких кружев, какие могли сплести только самые искусные кружевницы Мехельна. Женщина была изображена,

насколько я помню, на фоне, кажется, синеватого городского пейзажа и огненно-красных, как цветы мака, драпировок, какими их делал покойный Мемлинг, я ведь видел его вещи в Брюгге. Я же говорю тебе, святой Лука, не только никто никогда в нашем городе не видел таких картин (я должен сказать «в нашем», потому что живу здесь уже тридцать лет), да не только таких картин, но и такой женщины... Потому что все эти барыни из рода Юксюллей и барышни Цойе и кто там еще, не говоря уже о наших горожанках,— я ведь почти всех их видел, а иных и писал, и, поскольку нет в человеческом сердце ни одного уголка, куда ни проник бы твой святой взгляд, я не могу скрыть от тебя, святой Лука, что на некоторых из них я смотрел больше, чем то допускает заповедь, и не только в ту пору, когда был уже вдов, да и не только смотрел... но именно поэтому я и могу судить, пусть это был дьявол похоти, но дьявол-то мне все и открыл — все они, и здешние женщины, и, насколько помню, женщины в Нидерландах, даже самые нежные и молодые,— кажутся какими-то угловатыми, жилистыми и неповоротливыми рядом с той, которую он изобразил. Поэтому я и говорю тебе, надо сперва уметь женщину видеть, и только потом сумеешь ее написать.

И еще там была одна вещь. На фоне почти черной доски чудесная пара: я сразу догадался, что это святой Иоанн, на котором были великолепные и вовсе не старинные доспехи, и святая Маргарита, значит, не та из Антиохии, которой потом отрубили голову, а святая Маргарита Шотландская — пример всем добрым и верным королевам. Черные доспехи на правом плече Иоанна и его грудные латы так естественно мерцали, что у меня было искушение дотронуться до них рукой, а у Маргариты спереди на платье были мелкие блестящие пуговицы, которые казались такими осязаемыми в прорезях петель, что мне захотелось некоторые из них отстегнуть. Но главное в этой картине другое, непонятно каким образом так видно, что они влюблены друг в друга, хотя один из них апостол, а другая королева, и оба они — святые.

На третьей картине — из всех она была наименее законченной — изображена королевская чета, сидящая на троне, и я думаю, что это портреты Фердинанда, ко-

роля Кастилии и Арагона, прозванного Католиком, и его супруги Изабеллы, той, которая два года назад умерла. Одним словом, те самые, у которых мой господин пасынок, насколько я знаю, семь или восемь лет был придворным живописцем. А перед ними, опустившись на одно колено, стоит мужчина, который, не глядя на них, что-то говорит и куда-то показывает правой рукой. Весь свет на картине сосредоточен на его синих глазах и на выпуклом лбу, куда падают вьющиеся рыжеватые волосы.

Четвертая картина опять портрет. Это лицо пожилого мужчины. Я довольно долго его разглядывал с чувством странного недоумения, которое я отчетливо ощущал, но причины которого понять не мог. И вдруг разом мне стало ясно, отчего происходило мое недоумение: это было, правда, не совсем то, но почти то самое, немного кислое и немного озабоченное лицо с широкой нижней челюстью, которое я видел вот уже сорок лет каждую субботу перед обедом, когда скреб бороду, глядя на себя в серебряный поднос. Конечно, тот, кого он изобразил, был не я, хотя бы уже потому, что меня он увидел впервые позапрошлый год в Брюсселе, и когда в некотором смятении, чего не буду от тебя скрывать, я подошел к этому лицу ближе, то увидел, что в углу картины четкими буквами кистью было написано Michel pnx 1497, значит, эту вещь он закончил девять лет тому назад, и у меня не было ни малейшего представления, кого он там изобразил, видимо, какого-то совсем неизвестного мужчину родом из Испании или один бог знает из какой другой страны. Но это лицо привело мне на память одну молву, которая вот уже двадцать лет то печалит, то радует меня, и я не могу тебе честно сказать, что чаще,— молва, будто лицом я сильно смахиваю на покойного Клавеса Мелера, из чего, как мне казалось в более светлые дни, нельзя сделать иного вывода, как то, что Маргарете из всех сватавшихся за нее (а их было трое или четверо) выбрала именно меня потому, что нашла во мне не только следующего хозяина мастерской покойного Клавеса, но и что-то еще другое, но (святой Лука, сегодня я так широко раскрыл перед тобой свою душу, что не скрою и последней тайны) в мрачные дни эта самая молва меня все сильнее удручала, ибо мне казалось,

что все двадцать лет я был не больше чем тенью покойного Клавеса. И я не стану тебя спрашивать, святой Лука, в какие дни я был ближе к истине, потому что не для того, как ты знаешь, я пришел сегодня упасть перед тобой на колени, а ради того... Ах, да, вот еще что... Когда я поднял сейчас глаза и увидел, как ты стоишь там в вечерних сумерках под этими серыми сводами, я вспомнил, что в оконной нише задней комнаты в доме Хинрика Шрамма была еще деревянная скульптура, сделанная моим господином пасынком. Я смотрел на нее один только миг, потому что не подошло мне, как ты сам понимаешь, показать Хинрику, что меня интересуют работы моего господина пасынка, но даже одного взгляда было достаточно, чтобы понять, почему слава моего пасынка, будь он трижды проклят, не только как живописца, но и как ваятеля дошла до королевских дворов. Статуя изображала святого Петра, что я без труда понял, хотя это и не был апостол Петр в золотой епископской тиаре, с золотыми ключами от рая. Передо мной была наполовину обнаженная фигура рыбака с развевающейся на озерном ветру всклокоченной бородой и очень длинными натруженными руками, привыкшими таскать невод, и вообще казалось, что вещь еще не закончена, потому что кусок дерева, из которого возникали босые ноги Петра, не имел формы и еще нельзя было понять, каков будет нос лодки, на котором должен был стоять Петр, и сама фигура Петра была шершавой, со следами резца, будто покрытая рыбьей чешуей, и все же это была чудесная и своеобразная скульптура, и в небрежных следах работы была сладостная незаконченность, в которой иной раз как будто скрывается особое совершенство.

Да... но ведь не затем я пришел к тебе, чтобы об этом говорить, я пришел сюда в сердечной муке просить у тебя совета, святой Лука.

Научи меня, как мне сказать старшине и другим присяжным, что я думаю об их требовании заставить моего треклятого господина пасынка отработать год подмастерьем и представить шедевр?! Как мне сказать им, людям, с которыми мы иной раз, бывало, и спорили, а подчас и ворчали друг на друга, но с которыми я как-никак тридцать лет вместе ел хлеб и в день святого

Луки мы все вместе приходили к тебе получать прощение за то, что нарушали цеховые правила, а потом с чистым сердцем сидели за столом в гильдии и тянули из одного кувшина солодовую влагу порой, наверно, даже больше, чем следовало,— как мне сказать им теперь вдруг — *Все вы слепые упрямые чурбаны?!*

Как сделать, чтобы они не могли мне сказать: *Эх ты, жалкий трус, защищаешь того, кто тебе же прищемил яйца?! Как высказать им правду, чтоб они не могли мне ответить: Эх ты, Дигерик, и ты уже влез в лодку к этому чужеземному вертопраху и разглагольствуешь об его великом и тонком искусстве, ты, который всегда стоял за букву нашего устава, а это значит стоять за честь и порядок нашего цеха?! Как мне защищать правду, чтобы они не могли мне сказать: Позор!*

Ты молчишь?

Святой Лука, так ты мне ничего и не скажешь?

Кхм. Ну да, по правде сказать, я и не надеялся, что вот этим ковшом вместо рта, который тебе сделал из липы, наверно, старый Диими-Якоб,* ты мог бы мне так ответить, чтобы я услышал. Но и в душе я не слышу твоего голоса. Ты в самом деле пренебрегаешь мной за то, что я упорно стою за свои дома и серебро? Да, они ведь говорят про тебя, что из всех святых ты самый нетерпимый к маммоне... Святой Лука, выслушай меня, ведь своим упорством я служу не маммоне, а справедливости! И когда я тебя спрашиваю, как мне в этом деле защищать правду, то ведь я хочу у тебя узнать, как мне защищать этого проклятого Михеля,— а разве это мое желание не стоит большего, чем два старых дома и немного серебра? И если я совершаю грех тем, что вслух рассуждаю о справедливости, так ведь, как они говорят, из всех святых ты легче других прощаешь грешников...

Ты по-прежнему нем?

Да, смотрю я на тебя, и мне хочется спросить, а как бы ты смог мне ответить? Взгляни на себя, каким тебя сделал старый Диими-Якоб. Голова у тебя в два раза больше, чем нужно, и так криво сидит на узких плечах, что прямо смотреть больно, и даже у этого быка, на

лоб которого ты опираешься правой рукой (должен признаться, я даже не знаю, почему это тебя всегда изображают с молодым быком). да — а ведь у этого быка морда куда умнее, чем твое лицо, которое смастерил тебе старый Диими-Якоб. Ей-богу, святой Лука, поверь мне, если бы тебя резал он, а не Якоб, или еще там не знаю кто (ты ведь понимаешь, о ком я думаю?), то даже сквозь древесные узоры липы на твоём лице сверкал бы ум, и простыми словами ты сказал бы, что мне делать...

Наше сердце — это арфа,
Две струны на арфе...

*(Из немецкой
народной песни)*

16.10.1506 г.

О дорогая дева Мария... как я счастлива! И как мне страшно! Я не знаю, разве счастье и страх всегда неразлучны? Раньше я этого никогда не замечала. Когда мне исполнилось двенадцать лет и тетушка Барба подарила мне в день рождения Марту (она была сделана из лоскутков парчи), я была ужасно счастлива и мне ни капельки не было страшно. Кто же мог отнять у меня мою куклу? И потом уже позже, когда я все чаще слышала, что я ослепительно красивая девушка (дева Мария, я и сейчас краснею, когда повторяю эти слова даже про себя), я всегда радовалась и теперь радуюсь, когда это слышу, так, что трепещет сердце и я вся вспыхиваю, но мне нисколько не делается страшно. Ведь никто не может отнять у меня мою красоту, если господь мне ее подарил. О лишаях, о коросте и оспе я просто никогда не думаю, и только изредка мою радость омрачает тень сомнения: я боюсь, как бы дьявол высокомерия не явился ко мне в конце концов, чтобы этими словами обратить меня... Но долго это никогда не продолжается. А теперь, когда в мою жизнь вошло настоящее счастье, ты видишь, какой ужасный страх пришел вместе с ним... Правда, он

появился не одновременно со счастьем. Счастье пришло чуточку раньше. Ох, нет, оно еще не пришло, оно еще только приближалось, но я уже знала, что оно придет, и вот тогда и появился страх, что я могу потерять свое счастье прежде, чем его обрету... Удивительно... Но мне никогда не надоедает все снова и снова вспоминать, как и м о б р а з о м пришло ко мне мое счастье. В этом году в мае. Однажды, уже к вечеру, двадцатого... Отец сдвинул вдруг все свои колодки в одну кучу и велел принести песку, чтобы вымыть руки. А потом он еще мылом отмывал смолу, и я поняла, что он куда-то собирается. Он надел чистую рубашку и вдруг, еще не заправив ее окончательно в штаны, остановился посреди комнаты и сказал мне: «Знаешь что, пойдём-ка со мной». Я даже понятия не имела, куда он идет. «Куда?» — «К Хинрику Шрамму. Сегодня утром в Таллин приехал Михель и остановился у него на квартире, ну, тот ситтовский малый, о котором здесь у нас не шла речь». Он мельком взглянул на меня и добавил: «Надень свою красную юбку. И материнские свадебные серьги тоже. Там соберется светское общество». Видишь, дева Мария, я все помню слово в слово. И в самом деле, светских людей там собралось даже больше, чем можно было подумать. Потому что и сам господин Шрамм, и его супруга люди светские. А господин Риссенберх, тот самый рыжебородый, который в прошлом году стал старшиной гильдии Канута, пришел с супругой и дочкой, и маменька навесила на себя и на свою Хедвиг все сделанные папенькой золотые кольца, серьги и мониста. И даже два члена магистрата случайно там оказались: господин Хеннипшиннер пришел с сыном, будто для того, чтобы заказать серебряный кубок, а господин Виттекоп, громко смеясь, признался, что схватил под руку свою жену и пришел из чистого любопытства. И все эти дамы и господа, и молодые и постарше, были прекрасны; в шелках и бархате, на них сверкали кольца и всякие другие украшения. Но тот, ради кого они все пришли, он был прекраснее всех. Тем, что был так по-королевски прост. Его облегающий черный костюм подчеркивал юношескую стройность фигуры. Сперва, когда он разговаривал с господином Виттекопом, я увидела только его широкие плечи, небольшие белые брыжи и темные завитые волосы, какие

у нас можно увидеть только у самых светских молодых людей из дворян. Вдруг он отчего-то громко расхохотался и повернулся лицом к входившим. И я сразу поняла, что он намного старше, чем я думала. Когда у нас в доме о нем говорили, я ведь никогда не обращала внимания, сколько прошло лет с тех пор, как он уехал. Иначе я знала бы, что он прожил на чужбине двадцать два года и что, когда он уезжал отсюда, ему было лишь на год меньше, чем мне теперь. Дева Мария, я хочу быть совсем честной и должна тебе сказать, что в первый момент мне его лицо не показалось привлекательным. Ой! Дева Мария ... я уколола иголкой палец. Ты покарала меня за эти мысли? Теперь, на воротнике его рубашки, между жемчужинками, две капельки крови, как две маленькие ягодки брусники. Как же мне быть? Слизну языком! Ой, какие они теплые и соленые... Да, но розовые следы все-таки остались... Знаешь что, я вышью на этом месте две маленькие розочки. Пстой, а где мои красные нитки? Ах вот они... Да, дева Мария, у него действительно царственные движения, но при этом загорелое и скуластое лицо крестьянина. И ужасно много видевшие темно-серые глаза. Он все еще продолжал смеяться, и я заметила, как сверкали его великолепные белые зубы, и вдруг лицо стало серьезным, а смех остался только в глазах. Он махнул левой рукой господину Виттекопу, а лицо было по-прежнему обращено в нашу сторону, и господин Виттекоп замолчал. Михель встал и прошел через всю комнату нам навстречу. Приближаясь, он неотрывно смотрел прямо на меня, и сияние его глаз разлилось по всему худощавому лицу... Дева Мария, ты помнишь, он остановился в двух шагах от меня, и я поняла, что его черный костюм был самого дорогого фламандского сукна, и узнала запах лаванды и мускуса. И раньше чем он успел что-нибудь сказать, я почувствовала, как вся кровь хлынула в сердце, у меня подкосились ноги, а мое сердце вздрогнуло и заколотилось... Я даже точно не помню, что именно он сказал, хотя очень хотела бы вспомнить. Я пыталась это сделать в тот самый первый вечер, и мне кажется, что более или менее мне это удалось, но все-таки я не совсем в этом уверена. Помню, что он взял мою руку в свою большую и сильную ладонь и я покраснела от стыда, потому что он,

конечно, почувствовал, какой жесткой была моя рука от золы, с которой я стираю, и спросил: «Кто ты, дева?» И я пробормотала свое имя и сказала, что я — дочь здешнего сапожника Румпа, и при этом посмотрела на отца, чтобы он понял, что это мой отец. Но он по-прежнему не сводил с меня глаз, а потом, взглянув на стоявшее вокруг общество, сказал, словно обращался к нему, а не ко мне: *В самом деле, если Спаситель мог быть сыном плотника из Назарета, почему бы тебе не быть дочерью таллинского сапожника?* И при этом смех был у него только в глазах, а потом он опять рассмеялся, и я испугалась и сразу спросила себя: «А не богохульствует ли он?» Я снова посмотрела ему в глаза, и испуг мой исчез, хотя смятение оставалось... Но он уже заговорил с отцом и расспрашивал его о ценах на бычью, телячью и козью кожу, как будто они с отцом люди равные, невзирая на то, что от отца, как бы старательно он ни парился, от него всегда пахнет потом и дубильней, а от Михеля — дворцами королей... Тут госпожа Шрамм велела своей служанке принести кларет и сама обносила гостей вином в маленьких серебряных бокалах, после чего угощала сладостями, и тогда господин Шрамм предложил гостям сесть, потому что уже все успели поздравить Михеля с возвращением (и только я, как ни странно, не сделала этого...). И когда все сели, хозяин обратился к прибывшему издалека гостю и попросил его рассказать о событиях, случившихся в тех далеких странах, и об испытаниях, которые ему довелось пережить. Сначала он рассказывал о годах учения, а господа члены магистрата задавали ему вопросы, и то, что он говорил, в общем-то не было особенно интересно. Я сидела за Риссенберхами, и веснушчатая шея Хедвиг маячила перед моим лицом. Мне казалось, что, рассказывая, он все время наблюдал за Хедвиг, и мне это было неприятно. Но вдруг он отодвинул свой стул от окна вправо и стал открыто через плечо Хедвиг смотреть на меня, и я так вспыхнула, что даже не знаю, о чем он в это время говорил. Спрятавшись за Хедвиг, я немного пришла в себя и стала слушать: он рассказывал о своем учителе Мемлинге и о том, что теперь, после его смерти, о нем говорят, будто в молодости он был ландскнехтом и непристойно себя вел... А я про себя подумала: *Дай бог, чтобы ты — ученик этого Мем-*

линг — сам был пристойным человеком, потому что по твоему лицу, каков ты сам, понять нельзя. И тут господин Хеннишпиннер сказал, что у него в городе Брюгге есть родственники, и что Мемлинг в молодости был ранен в одном сражении и его вылечили в Брюгге в госпитале святого Иоанна, и что благодаря монахам он стал учиться живописи и самые знаменитые свои картины делал для госпиталя. Михель в ответ рассмеялся, сверкнул своими белыми зубами, посмотрел на всех и сказал: «Да, так сейчас говорят, но сам Мемлинг никогда этого не рассказывал. Так что, с разрешения достопочтенного господина Хеннишпиннера, — говоря это он отвесил тому легкий поклон, — я позволю себе считать эту историю пустой болтовней монахов». Я ужасно испугалась, что скажет на это господин Хеннишпиннер, потому что хорошо представляла себе, как может ответить член магистрата художнику, когда тот при всем народе его слова называет пустой болтовней. Но что оставалось сказать члену магистрата, если сей бесстыжий художник писал портреты трех королей, этого, наверно, не знал и сам господин Хеннишпиннер. Так он ничего и не вымолвил, а Михель стал рассказывать дальше о своей жизни у кастильской королевы Изабеллы, и это было ужасно интересно, так что я все слушала и слушала, и — прости меня, дева Мария, — только потом мне пришло в голову, что, когда он рассказывал обо всех этих придворных помолвках и свадьбах, я смотрела ему прямо в рот, а он мне — прямо в глаза... Имена королей и королев, принцесс и принцев сыпались как из рога изобилия, все время только и слышно было: один Хуан с Маргаритой, другой Хуан с Изабеллой, и дон Фернандо, и донна Хуана и все, что было на них и вокруг них, когда он их писал, и о том, как их сватали и как венчали, один бог знает какие епископы и в каких соборах. Дева Мария, никогда в жизни я ничего похожего раньше не слышала... А если нечто подобное и доходило до моих ушей, то, во всяком случае, не из уст человека, который все это сам видел. И который умел бы об этом так рассказывать, что все эти короли со своими супругами, их дети и их министры стояли перед моими глазами. И я видела правителей и людей. И об этой самой Изабелле Кастильской, высокопоставленной своей госпоже, он ска-

зал несколько цветистых фраз, из которых я все-таки поняла, что в букете цветов были шипы. И о короле Фернандо он сказал (это я помню), что этот король велик во всех отношениях, но плохого в нем больше, чем хорошего...

И потом господин Виттекоп спросил, знает ли Михель что-нибудь об открытии этой самой Индии, которое, как говорят, произошло, когда королем Испании был Фердинанд, и я уже больше нисколечко не удивилась, когда Михель в ответ просто кивнул головой, как будто подтвердил само собой разумеющуюся вещь.

Потом он рассказал, как много лет назад однажды вечером он делал в каком-то военном лагере наброски * для портрета королевы (при свечах и, кажется, это было где-то в палатке), когда несколько человек из ее свиты привели туда какого-то итальянского искателя приключений. И как тот упал перед королевой на колени и без конца говорил о благословенной стране счастья и золота, которая лежит будто бы где-то на западе за большим морем... И потом я долго ничего не слышала, потому что наступил час, когда на Тоомпеа и в нижний город возвращается стадо и проходит как раз под окнами Шрамма. И коровы, и быки, и телки все вместе долго топотали копытами, протяжно ревели и мычали, и пастухи в этой суতোлке вдобавок еще хлопали бичами по воротам и окликали хозяек, которые не вышли встретить свою скотину, а те хозяйки, которые уже встретили, приглашали своих животных войти во двор и уговаривали их, и ворота скрипели и стучали,— дева Мария, ты ведь знаешь, какая кутерьма бывает каждый вечер весной и летом со дня выгона скота на пастбище до самого снега,— а я сидела ближе всех к окну и дальше всех от Михеля, и когда его голос снова стал слышен, земли эти были уже открыты и этот искатель приключений стал вице-королем вместо испанского монарха, по приказу которого он был потом свергнут, закован в цепи и снова освобожден, и осыпан громкими обещаниями, и оставлен больным умирать... И еще Михель рассказывал о странах, открытых этим человеком. И о всяких товарах, и о рабах, которых теперь с каждым годом все больше привозят в Испанию. Но я слушала об этом вполуха и ни разу больше не взглянула на Михеля. Дева Мария, ты ведь знаешь, что я весь ве-

чер не сводила с него глаз, а тут, спрятавшись за Хедвиг, я закрыла глаза и увидела этого удивительного итальянца именно таким, каким его несколько раз видел Михель, когда тот в первый, и во второй, и в третий раз отпраивался в путь, и каждый раз, когда он возвращался, а в последний раз — со следами оков на запястьях. Он упорно стоял перед моими глазами,* в серой одежде, на груди скрещены руки в цепях, глаза закрыты, рыжеватые с проседью волосы... Дева Мария, полночи передо мной было это лицо попеременно с дерзкими, темно-серыми глазами Михеля... А на следующий день рано утром Михель уже был у нас. Он поцеловал мне руку, как у нас целуют только дамам дворянского сословия, и сказал, что пришел заказать себе новые сапоги, но отец как раз в это время ушел на Плекмяэ в дубильню, и Михель больше часа разговаривал со мной здесь, в нашей большой комнате. И такими глазами он смотрел все это время мне прямо в глаза, что меня бросало то в жар, то в холод, и он сказал мне, что я красивее, чем кастильская принцесса, которую он писал и которая теперь стала королевой Португалии и ее звали Красавицей Изабеллой... Он даже позвал меня взглянуть на портрет этой принцессы, он привез его с собой в Таллин, и у меня мелькнула ревнивая мысль: зачем, подумала я, он тащил с собой так далеко портрет чужой женщины? Прости меня, дева Мария... Потом вернулся отец, и Михель долго еще с ним разговаривал и потом заказал себе сапоги, которые были ему нужны через три дня, но через три дня он не взял их, и оставил до следующего дня — растянуть на колодке. А на следующий день он заказал еще одну пару, а через неделю — третью. И каждый раз он приходил к нам в такое время, что мог со мной поговорить, а приходя и уходя целовал мне руку, а на второй неделе — уже обе руки... И знаешь, дева Мария, однажды, когда мы сидели на скамейке, в уголке двора, там, у стены, где кусты шиповника как раз открывали красные клювики своих бутонов, вот тогда совсем неожиданно и появился страх. Ты знаешь, я его просто увидела, как черный оруженосец, стоял он за его спиной. И я даже услышала, как он через его плечо, шепотом спросил меня: *Глупая девушка, ты в самом деле веришь, что такая вещь возможна?!*

В отчаянии я сразу стала себя уговаривать: «А почему бы и нет? Ведь не только королевские живописцы, но даже и сами короли влюблялись в простых и бедных девушек. Влюблялись и, значит, женились. А ведь у отца совершенно безупречное имя, и два подмастерья, и три ученика, и я его единственное дитя, и этот дом, пусть даже старый и запущенный, но все-таки тысячу рижских марок он стоит». Прости меня, дева Мария, я и сама не знаю, почему мне это вспомнилось. Я дошла даже до того, что стала себе внушать, что и он ничего особенного собой не представляет! Пусть он только и делал, что малевал свои королевские величества, у него-то от этого не появилась корона на голове! И что он — не больше, чем обыкновенный парень — ремесленник с улицы Ратаскаэву, и сверх того еще сирота, наследство которого в кармане у его отчима, так что неизвестно еще, много ли он с него увидит. Но, дева Мария, все эти мысли только на одно мгновение меня немного приободрили. Потому что сразу же я опять стала думать об этих далеких странах, которые он перевидал, я даже названий всех их не запомнила: Саксония, Бранденбург, Фландрия, Брабант, Франция, Арагон, Кастилия, Англия (туда он тоже ездил писать одного короля!) * и один господь бог знает какие еще страны... И я снова представила себе всякие города и замки, и королевские покои, куда он запросто входил, более роскошные, чем даже наша Большая гильдия на улице Пикк, и я мысленно видела знатных женщин и мужчин, с которыми он много лет общался, от которых научился такой удивительной непринужденности, но среди которых он и сам, несомненно, выделялся как человек, которого господь создал из самого лучшего дерева... И чем больше я обо всем этом думала, тем тревожнее становилось у меня на сердце, и тем больше я падала духом. А черный оруженосец, которого я раньше видела за его спиной, стал теперь ходить за мной и на моих глазах расти и вскоре был уже одного роста с ним. И свои бесстыжие сомнения он теперь уже не шептал так, что только я одна могла его слышать, а не переставая говорил со мной так громко, что у меня шумело в ушах, и я удивлялась, что ни отец, ни подмастерья, ни ученики ничего не слышали. Дева Мария, ты же знаешь, что плотское желание мне еще неведомо. Но

предчувствие его я ощущаю в крови, когда думаю о Михеле (когда он рядом, я испытываю только робость и никогда нет у меня грешных мыслей). Но все равно, и когда я робею, и когда волнуюсь в предчувствии желания — все равно я знаю, что, если он пройдет мимо и не войдет в мою жизнь навсегда, мое сердце будет как вытоптанная трава. Я признаюсь тебе одной, дева Мария, с глазу на глаз, и все-таки краснею: навсегда в моем понимании значит общий хлеб, общая постель и дети перед богом и людьми. Но я признаюсь тебе и в том, что, когда однажды отец сказал мне: «Послушай, ты ничего не носишь, кроме своей красной юбки, и с утра до вечера звенишь свадебными серьгами матери. Ну дай-то бог!» — я вся вспыхнула от смущения, и не только от того, что он видел меня насквозь, а может быть, еще больше от того, что был на это согласен. Дева Мария, я-то ведь все делала от любви, ты же знаешь, а для отца это было в значительной степени просто сделкой, потому что, это я знаю, у него были свои виды на зажиточность Михеля. Так я и жила, как в противоречивом сне, между восторгом и страхом, кротостью и унынием до самого дня святого Варфоломея. Это был четверг, и погода с утра была пасмурная. Дева Мария, ты ведь помнишь, в этот день Михель пришел к нам после полуденной мессы и позвал меня на двор, и мы разговаривали, сидя на той самой скамейке, где я в первый раз увидела черного оруженосца. И я сразу заметила, что он опять стоял там у серой плитняковой стены и был чуть ли не больше, чем сам Михель. Михель взял меня за руки и сказал: *Я решил сегодня пойти к твоему отцу просить у него твоей руки. Разумеется, если ты согласна. И вот я тебя спрашиваю: согласна ли ты?*

О, дева Мария, я почувствовала радость победы и такое огромное счастье, что почти задохнулась. От волнения у меня дрожали губы, и я ни слова не могла вымолвить. Я только несколько раз кивнула головой. Он взял мое лицо в свои ладони и поцеловал меня. Дева Мария, именно в этот миг выглянуло солнце, я посмотрела через плечо Михеля и увидела, что тень за его спиной исчезла.

И ты ведь знаешь, отец, конечно, дал ему благосло-

вение, и я стала готовить приданое, свадьба была назначена на день святого Мартина. Михель собирался жаловаться на решение ратушного суда по поводу его наследства дальше, в Любек, и был уверен, что получит от отчима отцовские дома. Весь сентябрь я жила на гребне волны радости и оживления. И только изредка, когда поздним вечером я открывала в своей комнате сундук с подарками жениха и заглядывала в него (там ведь лежит французское полотно, и фламандские кружева, и немного испанского серебра, и даже несколько жемчужин, привезенных португальскими кораблями из Индии), и вот, когда я, заглянув в него, снова закрывала крышку, а на углу стола мерцала свеча и осенний дождь барабанил по пузырю в окне, вот тогда-то дьявол страха изредка высовывал из-за сундука свою острую морду и шепотом спрашивал меня: *И ты, глупая девушка, все-таки веришь, что такая вещь возможна?* А я отвечала ему: *Верю, и даже знаю.* И он снова исчезал. До позавчерашнего дня.

Дорогая дева Мария, помоги мне! Я ведь все еще так же счастлива, но снова в таком же страхе! Потому что позавчера я узнала, что они задумали с ним сделать. Я не знаю, хотят ли они просто слепо соблюсти букву закона, или им доставляет удовольствие его унижать, или, может быть, они даже не понимают, что это для него унижительно. Или они требуют это в надежде, что он все равно откажется и уедет куда-нибудь и таким способом они освободятся от соперника, который на три головы выше каждого из них? Дева Мария! Об этом страшно подумать, а что, если он высмеет их требование и уедет отсюда, может быть, опять к этой Красавице Изабелле или один бог знает куда еще, а меня оставит здесь на горе и позор? Потому что отец сказал, он согласен на его сватовство в том случае, если Михель останется жить в нашем городе, чтобы в старости у отца дочь и внуки были опорой. Дева Мария, но разве такой человек, как он, станет подмастерьем у наших размалевщиков заборов и золотильщиков флюгеров?! И еще того меньше можно думать, что он согласится представить на их суд шедевр, чтобы они фыркали и ворчали, он, кому короли наперебой давали заказы и картины которого, говорят, за большие деньги покупал сам император*!

Дорогая дева Мария! Помоги мне! Я ведь не осмеюсь просить его: Михель, не высмеивай этих жалких тупоумных стариков! Михель, во имя нашей любви, будь к ним почтителен! Михель, ради меня стерпи их глумление! Дева Мария, но ведь я и тебя не могу просить о том, чтобы ты смягчила душу Михеля, чтобы он без моей просьбы уступил им послезавтра на цеховом совете, куда его позвали. Потому что разве это любовь, которая потребовала бы, чтобы тот, кого я люблю, ради моей любви унижался... Так что единственно, о чем я могу тебя просить, дорогая дева Мария, и о чем прошу тебя от всей души (взгляни, я отложила в сторону рубашку с наполовину вышитым воротником и на коленях здесь же на полу молю тебя всем сердцем), вразуми этих стариков! Сделай так, чтобы они отказались от своих завистливых требований, которые заставят его уйти отсюда, из нашего города! Дорогая дева Мария, сделай так, чтобы чешуя отпала от глаз их, чтобы они смогли понять, с кем они имеют дело! И передай, дорогая дева Мария, эту мою мольбу святому Луке, попроси его, чтобы он изменил мнение старшины, потому что ведь больше всех святых он должен слушаться святого Луку.

Откровенность — дело, господа
удобное.

17.10.1506 г.

А я скажу им так: достопочтенные собратья мои по цеху! Я слышал, что кое-кто из вас аж размяк перед этим — кхм — этой великой знаменитостью. Как? Неужели это в самом деле правда? Собратья, я не хочу в это уверовать. Ибо устав стекольщиков и маляров здешнего города, тому вот уже девяносто лет, как был записан на пергаменте. А пергамент не размякнет! Нет, такое с ним не случается. За девяносто лет он становится еще прочней, чем был. А чего не делается с телячьей кожей, того не должно случаться и с мужским сердцем старого честного мастера. (Кхм, когда я в предпоследний год ходил в школу Олевисте, тому скоро будет пятьдесят лет, учитель полагал, что, если повезет, меня можно было бы выучить даже на священника! — Ей-богу! Смотрите, такие прекрасные речения, как вот эта «телячья кожа» или это «мужское сердце» мне до сих пор отлично удаются! Однако и старшине они весьма под стать. Когда тебе надлежит руководить другими.) Так вот, мои собратья, разве в нашем уставе не сказано ясными словами, или, как говорят по латыни, *expressis verbis*, что тот, из сословия маляров, или живописцев, или стекольщиков, или резчиков по

дереву, кто в этом городе захочет открыть мастерскую и получить работу, тот должен у одного из здешних мастеров пробыть год подмастерьем — от одного дня святого Луки до другого дня святого Луки, и к концу срока представить цеху шедевр: ежели он живописец или резчик по дереву, тогда пусть шедевр будет написан красками или вырезан из дерева и пусть это будет либо дева Мария, либо святой Георгий, либо святая Вероника. Разве не так у нас сказано?

Ну, понятно, что на это никто из них мне отвечать не станет. Хорошо еще, если они засопят да закивают головами. Потому что мы ведь все знаем, что именно так у нас и сказано. И вот тут-то я и спрошу у них: собратья по цеху, а разве у нас сказано, что устав наш не касается тех, про кого говорят, будто они намалевали портреты трех королей, и что поэтому для них он тлен и мусор, и что они могут войти к нам в цех, когда им только заблагорассудится, потому что от таких великих господ мы не смеем требовать, чтобы они представили доказательства своего умения, а мы сами должны стать в ряд перед дверью цеха, мять в руках свои шапки собачьего меха и с почтительным поклоном просить их: господа, окажите нам, горемычным, эту честь. Разве сказано у нас что-либо подобное? Я вас спрашиваю?

Знаю. Большая часть моих дорогих собратьев ответит мне и на это одним пыхтением. Может быть, только кто-нибудь из самых усердных и угодливых, к примеру, этот Берендт с желтыми потрескавшимися ногтями и серым мышинным лицом, который сам в резьбе по дереву последнее дерьмо, будет как паймальчик трясти головой, так, что задрожат усы, и поддержит меня тем, что вслух скажет: «Нет». Или этот Дидерик, от которого я уж такого никак не мог ожидать, упрямо уставится носом в пол и не пустит ветра ни спереди, ни сзади.

И тогда, чтобы вывести из оцепенения, я их немножко подразню и спрошу: и как только эти три короля, которых сей — кхм — высокочтимый господин Ситтос будто бы изобразил, смогли некоторых из вас так сильно напугать? Прямо, будто это три волхва. И не нарисованные, а настоящие! И будто вы не рассказы про них ушами слушали, а их самих глазами

на улице Таллина живыми видели! Будто это в самом деле были Каспар и Мельхиор, и Балтазар! А господин Ситтос — сам Спаситель, о явлении которого нас оповестили эти три волхва....

(Ха-ха-ха! Ей-богу, прямо жалко этих прекрасных сравнений, которые приходят мне на ум... В цехе меня так и зовут Златоустом, но кто-нибудь ведь мог бы записать перлы моих насмешливых речей, чтобы их использовали будущие поколения. Ибо я не верю, чтобы наш сегодняшний спор был бы последним спором такого рода.)

Я слышал, что некоторые из вас рассуждают так: по уставу цеха шедевр должен изображать деву Марию, либо святого Георгия, либо святую Веронику, — а не означает ли это, что шедевр может изображать, к примеру, любого из святых? А если это так, то, может быть, нам возможно признать шедевром его святого Иоанна и святую Маргариту? (Я слышал, что кое-кто среди нас унился до того, что тайно ходил смотреть его картины, мне очень трудно даже подумать, что это правда и этому поверить.) Кхм. Я слышал даже, будто кое-кто среди нас говорил, что устав цеха нам как раз эту возможность и дает. И я слышал, будто другие предложили: сходим в магистрат к синдик, в делах буквы закона человеку обученному, и спросим его, как точно истолковать это место в нашем уставе, значит ли это, что шедевр непременно должен изображать кого-то из тех трех вышеназванных святых, или это может быть какой-либо другой святой. Хм. Я-то знаю заранее, как ответил бы нам синдик. Он сказал бы, что это дело ему нужно глубоко обдумать и по старым фолиантам изучить, как сей пункт наших уставов следует понимать согласно любекскому и даже римскому праву. А на самом деле он пойдет к бургомистрам и выяснит совсем иное, а именно: что, по мнению бургомистров, принесет городу большую выгоду. Вот в этом-то и заключается все любекское и римское право! Если бургомистры сочтут, что пребывание господина Ситтоса в Таллине делает городу честь и, что самое главное, привлечет сюда различные заказы для чужеземных королевских дворов и церквей, а от этого достопочтенному магистрату перепадет серебра больше, чем сейчас перепадает от це-



ха — ну что ж... И тогда синдик сказал бы нам на следующий день, что, следуя уставу цеха, надлежит требовать изображения, к примеру, любого из трех святых, а это значит, что и каждый четвертый тоже годится, и нам, следовательно, с благодарностью придет-

ся признать шедевром святого Иоанна или святую Маргариту господина Ситтоса и на этом заткнуться. Но если бургомистры сочтут, что Ситтос навязал бы городу на шею одни лишь распри, то синдик сказал бы нам, что любекское и римское право утверждает: только один из этих трех святых и никакого четвертого. А это и означает, что мы потребуем от него новый шедевр, а он разозлится на нас и уберется отсюда, что для нас было бы самое лучшее. Вот так обстоит дело с толкованием цехового устава, дорогие мои собратья!

(Само собой разумеется, если дух сомнения проник в них так глубоко, что они и дальше станут каркать насчет цехового устава, то мне надлежит заранее подумать, что делать... Ну, тогда я возьму за пуговицу одного такого каркающего, или даже двоих — больше-то их вряд ли будет, — отведу в сторону и скажу им тихо, но не шепотом: слепцы! Вы твердите — у с т а в! Само собой разумеется, что устав цеха — это основа нашего существования. Устав, и только устав. Ясно? Но только до тех пор, пока он защищает нашу краюху хлеба, нашу выгоду, наши права. Для того он и создан, чтобы нас защищать. Но если, блюдя устав, мы вредим себе, тогда нам надлежит действовать не по уставу цеха, а памятуя об интересе стекольных и живописных мастеров. Но это я говорю в а м, людям разумным, а вовсе не для того, чтобы трубить об этом на рынке.)

Да. Дорогие собратья, если уж при обсуждении этого дела наша откровенность зашла так далеко, а откровенность есть делу господа угодное, само собой разумеется, тогда я хочу вас спросить, какого черта вообще-то мы жуем эту жвачку? Спросим себя прямо: нужен нам здесь этот Ситтос или вовсе он нам не нужен? И я скажу, когда я говорю н а м, то вовсе не разумею ни город вообще, ни достопочтенных членов магистрата, ни господ купцов и шкиперов, ни шут его знает кого еще, а имею в виду н а с, тех, кто здесь сообща отвечает за дело честных мастеров нашего цеха.

Я слышал, что кое-кто среди нас говорил даже, что такой человек оказал бы честь цеху. Кхм. Ну хорошо. Я-то стекольный мастер, и моему делу ни живописец,

ни резчик по дереву большого вреда не принесет. Так что всякий честный человек поймет, что не о себе я говорю, а о пользе других мастеров. Поэтому-то я вас и спрашиваю, что скажут на этот счет те наши братья, которые сами пользуются кистью, если один, явившийся с чужбины повеса так ловок в перетирании красок, что сумеет выхватить у них изо рта все, с чем они едят хлеб. Я вас спрашиваю: что же, тогда они вместе с коркой хлеба будут грызть эту самую честь цеха?!

(Еще одно дело есть, которое уже давно лежит камнем у меня на сердце. Поважнее, чем вся эта кутерьма вокруг ситтовского малого. И я чувствую, что больше об этом молчать не могу, хотя, наверно, умнее было бы держать язык за зубами и поглядеть, что будет дальше. Просто душа не терпит.)

Что же касается мастеров стекольного дела и вообще прочих членов нашего цеха, кхм... я слышал, что в последнее время, правда, слава богу не здесь, у нас в цехе, а на дому у некоторых наших братьев, во время пьяных застольных бесед, ведутся крамольные речи, будто работа живописцев, резчиков по дереву и ваятелей каким-то образом лучше и выше, чем работа стекольных мастеров. Братья, я хочу сразу же вам сказать, что я про это думаю и как, само собой разумеется, думают про это среди нас люди с более достойным образом мыслей: это есть подлое и неуместное сеяние вражды между дружными и почтенными ремеслами, которые наш честный цех братски объединяет. Ибо нам всем известен порядок, в каком перечислены ремесла в нашем уставе. А устав, как мы все хорошо знаем, есть твердый, как скала, закон и фундамент нашего цеха. Такой же незыблемый, каковыми были десять моисеевых заповедей для иудейского народа. Да! И порядок перечисления ремесел только таков, и иным быть не может: стекольщики, маляры, живописцы, резчики по дереву, ваятели. Он таков, таким он и останется...* И если мне нужно еще объяснить вам такую простую вещь, почему сей порядок именно такой, а не иной, то пусть это сейчас, здесь и будет сделано, потому что основание для этого на самом деле ведь видно простым глазом. Разве не самим господом-богом так установлено, что ты можешь по-

ставить в покоях гильдии, или рыцарском зале, или в церкви какие хочешь распрекрасные картины или круглые фигуры, я скажу даже, во сто крат более прекрасные, чем ситтовские, и такие, каких сей господин никогда в своей жизни сделать бы не смог, но какой от них толк, если окна в сем доме скверно застеклены, или он вовсе даже без стекол?.. Потому что все, что есть в доме, по справедливости зависит от того, каким образом стекольный мастер выполнил свою работу. Укрась стены и пилястры наилучшим способом разрисованными ангелами и изображениями девы Марии, но вставь при этом в окна зелено-желтые стекла, и все картины и фигуры, что находятся в доме, сразу станут ровно желтушные больные. Вставь синие стекла — и они станут синюшными. Вставь свиной пузырь — и все святые будут серыми, как от болотной лихорадки. А если ты наглухо забьешь окна досками, то это все равно, как если бы в доме и вовсе не было плодов этих «лучших» и «более высоких» искусств. Потому что тьма все равно все поглотит! И только если стекольных дел мастер с великим искусством вставит в свинцовые рамы стекла чистых, господних цветов, своды станут мерцать и все райские картины под сводами оживут.

(Ей-богу, я знаю, что самовосхваление смердит, но почему же ложная скромность, касаемая самого себя, высказанная или про себя подуманная, смердит пуще, чем ложь, высказанная или про себя подуманная, касаемая других? Вот я и скажу: ей-богу, сдается мне, что и сам епископ Николаус* не сумел бы разъяснить им это дело лучше!)

А теперь, братья, поскольку вы все еще молчите и не отвечаете на мой вопрос, нужен нам здесь этот Ситтос или он нам не нужен,— знаю, честный человек десять раз подумает, прежде чем один раз ответит,— и сам хочу быть этим честным человеком, который правду говорит один раз: нет, нам не нужен в нашей семье этот посторонний.

Кто-то там, кажется, спросил: какой же это он нам посторонний?

Собратьям по цеху, я знаю, здесь можно ловко извратить истину и все дело запутать. Если, к примеру, приняться за объяснение, что господин, о кото-

ром мы говорим, все же сын гражданина сего города, и что его мать была дочерью гражданина сего города, и что сам он здесь, в городе, впервые увидел свет и сосал материнское молоко и здесь начал учиться... Да, при еще большем извращении истины можно дойти даже до того, что я, к примеру, пришел сюда вовсе из Висмара, а Дидерик, к примеру, из Нидерландов, из Каттвейка, а Берендт, к примеру, откуда-то из Мекленбурга, не так ли? и так далее. Но о чем это говорит? Собратья, только о том, что не то важно, где тот или другой мастер первый раз глотнул материнское молоко! И не то важно, в конце концов, насколько хорошо или плохо он выполняет свою работу, да, так именно я и говорю, даже не это, потому что если он в каком-либо из городов Ганзы или в каком другом месте был взят подмастерьем, то как-нибудь, чему-то он научился, а важно то, какой дух он принес бы с собой, если бы вошел в нашу семью!

Собратья мои по цеху, подумайте, разве сей господин, придя к нам, укрепил бы наше существование и нашу жизнь честных цеховых мастеров старого ганзейского города? Нет, приход этого своенравного ветрогона, королевского наемника, навязал бы нам на шею одну только путаницу и досаду, и вдобавок привел бы еще к явным денежным потерям?

Собратья! Если он хочет быть у нас подмастерьем и хочет представить нам шедевр, тогда мы не можем ему в этом отказать. Потому что подмастерьев у нас в городе сейчас вовсе не так уж много, чтобы мы могли ему сказать: ни одного принять не можем. Если бы мы ему так ответили, сразу стало бы ясно, что это ложь. Но я скажу вам, что мы без труда можем сделать, если шедевр будет представлен. И мы вполне можем сделать именно так, как мы и сделаем, если мы люди разумные. Мы по-деловому встретимся, тщательно осмотрим его шедевр. Мы взвесим все недостатки и достоинства. И в итоге мы — как знатоки найдем, что недостатков в нем более, чем достоинств. К сожалению. И что поэтому шедевр не годится.

Я уже слышу, как вы в изумлении спрашиваете, как же мы можем признать его шедевр негодным,

Если он все-таки столь великий художник?! Собратья, мне приходится сказать: среди вас на самом деле есть малoverы. Ведь господь бог создал человека, человек же, однако, весьма несовершенен, он полон дьявольских пороков, известно ведь: ежели глядеть на него вблизи, то иначе как без спасительного милосердия господа он никуда не годится. И вы полагаете, что сей господин Ситтос может представить нам шедевр, каковой будет более совершенен, чем шедевр самого господа... Собратья, не надо смешить меня!

Господи, я чувствую, что в этой борьбе ты испослал мне свой дух, потому что лучше, чем я с твоей помощью сейчас это сделал, не мог бы сделать и тот святой, памятуя которого мне дали прозвище, и я сумел разъяснить этим невеждам, как им надлежит защищать свою выгоду. И, что не менее важно, я ясно чувствую, что ты сам стоишь за моей спиной, когда я изо всех сил стараюсь вытолкать отсюда двуликого чужеземца. Именно так я и говорю: двуликого. Потому что двадцать лет он писал лики святых мужей и жен, а на прошлой неделе, за обедом у кузнеца Детерса, показал, что у него за пазухой, и после третьего кубка вина назвал продажу индульгенций твоей святой церковью богоугодным разбоем!

Господи, ты спросишь меня, почему об этом я говорю тебе — вездесущему, которому и без меня это уже известно, а им, своим собратам, этого не сказал, хотя они об этом еще не слыхали? Господи, я поступаю так потому, что ты ведь наверняка осудишь глумление над своей святой церковью, в то же время я совсем не знаю, как они к этому отнеслись бы и насколько я их раскусил, услышав об этом, они бы только засопели!

Собратья! Откровенность — дело господу угодное. Поэтому-то я признаюсь вам: для того чтобы высказать господину Ситтосу прямо в глаза, что его шедевр не отвечает нашим требованиям, для этого, конечно, нужна, кхм, известная решительность. И я уже предвижу наперед, что ее-то у вас и не окажется. К великому моему сожалению! Но я вижу заранее — да, несмотря на то что господь, к несчастью, лишил меня

левого глаза, несмотря на это,— я ясно вижу, что мы на такое испытание обречены не будем. Нам не придется объявлять его работу негодной. Если только мы отважимся предъявить ему свое справедливое требование: ровно через год, от сегодняшнего дня считая, либо дева Мария, либо святой Георгий, либо святая Вероника! Масло либо дерево.

И тогда этот малевальщик перестанет мутить нам здесь воду, он махнет рукой на наш упрямый город, и с божьей помощью мы от него избавимся.

Бррр... какую великолепную бог дал погоду...

18.10.1506 г.

И охра, и медь, и зелень медной патины, и ржавчина, и желчь, и мед, и кровь, и дьявол его знает, что еще! Таких осенних листьев я уже двадцать лет не видел. Иной раз только на рождество во Фландрии на кленах и каштанах. И все же они там более блеклые. Даже на берегах каналов Брюгге они и то более блеклые. А почему? Не знаю. И испанская осень, пыльная и печальная, коричнево-серая. От сухости, конечно. А здесь краски такие раскаленные от влаги. Ясно. Гляди-ка, даже плесень на сводах стены, по крайней мере, десяти тонов пепельно-серого, синего и зеленого. Деревья, крыши, стены — все сочное, сверкающее от дождя и влажности. И сегодня снег вперемешку с дождем. Бррр... полфунта этой мокряди прямо за шиворот. Ничего. Хорошо, что у меня в желудке хинриковское сливовое вино. После такого кубка холод только щекочет и бодрит... А какие здесь красивые женщины! Ей-богу, сегодня опять день красивых женщин. Собственно, все последние полгода — время красивых женщин... (Это хинриковское вино, наверно, уже ударило мне в голову!) Поглядите-ка на эту девушку, которая там из-за Ратуши вприпрыжку выбежала на площадь! Взгляни только, как она пальчиками держит подол своей юбки! Прямо принцесса! Сама-то

она, конечно, служанка, и юбка у нее из какой-то дешевой дерюжки, и бедра могли бы быть чуточку поуже, во всяком случае, по мерке Вальядолида. Но гляди, как она скачет! Так, что только башмаки постукивают и ножки мелькают. А если такие прыгают через лужи, что же тогда можно увидеть во всех этих лужах... Говорят, звезды на небе увидишь и среди бела дня, если заглянешь в темноту колодца. Бррр... А что это там белеет? И кто швыряет этим об стенку. Град! Порывом ветра, как из пригоршни, с размаху. Ого... Будто прекрасная Изабелла в гневе разорвала свое жемчужное ожерелье и швырнула об стенку... Да, такое случалось. Королева — ее мамаша — об этом и не подозревала. Слава богу. Иначе меня тут же прогнали бы. В лучшем случае. А в худшем? Не знаю... Если с еретиками, евреями и маврами могло там происходить такое... Кто стал бы спрашивать, куда девался чужеземный живописец, если бы он вдруг исчез... Странно: человек — божье творение! Искра священного огонька... А его преосвященство Торквемада и все его подручные только и делали, что задували эти огоньки (смрад гнилых зубов и вонь чеснока), только и делали, что задували эти огоньки... Вернее, сжигали божьи творения... Говорят о десяти тысячах потушенных свечей... это значит десять тысяч зажженных аутодафе! А король собирал золото в горах пепла... Его преосвященство вог уже восемь лет у своего господина... Интересно, сказал ли ему господь спасибо? Король-то, конечно, сказал... До сих пор еще мороз подирает по коже, когда вспоминаю его лицо, то есть лицо Торквемады. Потому что это было такое обыкновенное лицо, худое, в очках со скверно протертыми стеклами и улыбка, будто просившая извинения за то, что даже для его узкого лица ему подчас не хватало кожи... Такое совершенно невыразительное лицо, какое могло быть у любой канцелярской крысы, погасившей уже тысяч десять свечей... И почему бы он не смог? И кто бы обо мне вспомнил?... Изабелла? Гм.

А моя девочка — дочь сапожника, моя козочка, моя ясонька. Моя голубка все-таки красивее. И даже этой дочери короля, и даже этой королевы. Невероятно, но это истина. И что самое лучшее — с ней можно быть таким, каков ты есть. Совсем таким, каков ты есть.

Господи, как это прекрасно! Быть таким, каков ты есть, и даже немножечко лучше самого себя. Потому, что именно такой ты и есть... И какой великолепный соленый морской ветер в этом городе... Хочется смеяться, когда подумаешь: в моем возрасте, здесь, в этом медвежьем углу, и дочь сапожника, и все это правда!

Но из-за какого черта у нее такое разочарованное лицо? И уже четвертый день. Как будто я ходил к другим женщинам. И у папаши Румпа такое лицо, будто он идет за моим гробом. Что с ними случилось? Или с этим старшиной, который повстречался мне на углу Мюйривахе, и я еще спросил о здоровье его супруги. Гм. А у него будто репейник застрял в горле — щекотно, а ни проглотить, ни выплюнуть не может... Мемлинг говорил, художник должен понимать людей. Пойди разберись, что у них на уме. Ничего не понимаю... Пятнадцать лет был среди вельмож, министров и епископов, в самом гнезде придворных интриг. Под властью короля, про которого прямо будто это и написано — как это... *Государь должен заботиться**, чтобы слушая и глядя на него казалось, что государь — *весь благочестие, верность, человечность, искренность, религия. Есть в наше время один государь — который никогда, ничего, кроме мира и верности, не проповедует, на деле же он и тому, и другому великий враг!*.. Под властью такого короля.. и королевы, которую называли не только королевой Кастилии, но и королевой лжи... И все-таки я не умею видеть людей насквозь. Я не понимаю даже ту, с которой хочу скоро пойти к алтарю. Что ее мучает? Не может быть, чтобы этот поход, который я сейчас совершаю? (Ой, поглядите, какой сочный зеленый мох там наверху, на крыше эркера церкви Святого Духа!)

Не может же быть, в конце концов, чтобы этот поход? Глупенькая... Но мне стоит все-таки немного подумать, что я скажу этим старикам, то есть что именно я скажу, это мне ясно, но как я это скажу, это следовало бы заранее обдумать. Постой-ка! Вон тот, в широких, уже немного стоптанных тупоносых сапогах, который сейчас выходит из дверей Ратуши, с трудом, нетвердо ступая, спускается по лестнице и направляется к зданию Большой гильдии, это же не кто иной, как мой достопочтенный старшина... Ой, какие у него

тяжелые мысли в голове! Даже сквозь его черную шапку и седоватую гриву я будто вижу, как двигаются деревянные шестерни его мыслительной машины. Будто пожелтевшие зубы старого барана размалывают соломку... (Кстати, мне иногда кажется, что дедушка Иероним из Гертогенбосха* в Нидерландах, которого я несколько раз встречал в Испании, сейчас самый могучий живописец. И я зол на себя за то, что совсем не умею подражать его страшным и смешным выдумкам...) Подожди-ка, я немного замедлю шаги, чтобы, когда он свернет на улицу Пикк, между мной и им оставалось некоторое расстояние. Для того, чтобы он успел принять достойную позу за столом в цехе. Раньше, чем я войду и скажу... Мда. Как же это я им скажу?

Кланяюсь достопочтенным мастерам. И дай бог здоровьца! Если ваша мудрость и милость дозволят, желал бы я с божьей помощью, начиная с сегодняшнего дня, в течение года совершенствовать у кого-либо из вас свое недостаточное умение и знание искусства. Кхм. И по истечении сего срока ко дню святого Луки 1507 года представить вам подобающим образом свой шедевр. Если мне в том поможет бог. И святой Лука тоже. Кхм.

Ха-ха-ха-ха-ха-а! Я уже ясно вижу, как при этом вытянутся лица у моих достопочтенных старших братьев по цеху. Бьюсь об заклад на свои новые, заказанные у будущего тестя сапоги: такого старики от меня не ждут. И так у них вытянутся лица, что мне станет за них, бедняг, даже страшно... Потому что я представляю себе глазами старика Иеронима, как вытягиваются лица моих дорогих собратьев по цеху, вытягиваются и искажаются, становятся желтоватыми, лиловатыми, зеленоватыми, я сказал бы, нагло-зеленоватыми, и складки между носом и углами рта все углубляются и темнеют... Ушные раковины принимают форму крыльев летучей мыши, волосы превращаются в стебли цветов, на конце которых расцветают разные смешные штуки — наполовину закрытый бельмом глаз с крокодиловой слезой в углу, или восьминогий рак, вырастающий из лепестков цветка, а на спине у него крылышки соловья. Да, придумать все это я могу. Но если бы я попытался изобразить такое, то у меня ни-

чего бы не вышло. Ибо все, что на картинах старика Иеронима вызывает содрогание от ужаса и одновременно смех, у меня, как по волшебству, получается светлым и серьезным. У всех моих рыцарей юношеские честные лица, у всех самых удавшихся мне стариков лицо моего покойного отца (например, у моего дона Гевары), а все мои принцессы, мадонны и святые женщины выглядят так, как будто каждую из них я любил... Не могу сейчас припомнить, шут его знает, кто был этот остряк, который приехал в Брюссель из Италии как раз перед самым моим отъездом домой и рассказал, что во Флоренции стал знаменит один молодой парнишка родом из Урбино, не помню как его имя — Микаэль или Габриэль* (это все хинриковское вино)... И этот мальчик, по мнению многих, пишет очень красиво, однако, по мнению более умных знатоков искусства, его единственная добродетель заключается в том, что его картины как будто из живой розовой плоти*... И когда я теперь думаю о своих портретах, меня беспокоит, не слишком ли мои приемы похожи на приемы этого Микаэля или Габриэля... Но работать так, как Иероним (как Люцифер), я не умею... Это старое занятное огородное пугало Иероним, который и сам-то напоминает забытую на прошлогоднем поле ржаную скирду, наполовину уже развеянную ветром, наполовину размытую дождем, местами белую, местами черную. Да, говорить — это я умею, а вот как только примусь писать, так ничего у меня не получится. Все, что я делаю, выходит из-под моей руки серьезным, звучным и ясным... В этом сказывается рука Мемлинга и моя собственная суть. Эх, если б мне удалось схватить мой старый серый город и удались все краски его осенних листьев — ярко-желтые, кроваво-красные, пронзительно зеленые, как патина на меди, если бы мне, наконец, удалось стать более резким и более шершавым, чем я был, таким, каков я, может быть, и есть. Во имя этого стоит ведь стать для начала не самим собою! Ох, это хинриковское вино — пальцы на ногах все еще мерзнут, а душа полна смеха... Если мне в том поможет бог! И святой Лука тоже. Кхм. Хе-хе-хе-хе-хее... Мои дорогие длинносицые собратья смотрят друг на друга, откашливаются и ни один не знает, что сказать. До тех пор, пока одноглазый старшина (его лицо

вытянулось почему-то больше, чем у всех остальных) прочистит горло и пробурчит: «Ммм-мда... если это действительно твое нешуточное предложение и желание, тогда...»

И тогда мы поговорим о шедевре. Я вежливо скажу им, что хочу сделать его из дерева. Пораженные, они уставятся на меня. Потому что, если бы это была картина, они почувствовали бы себя значительно хуже, и они знают, что мне это известно. «А почему из дерева?» — спросят они. В своей извечной подозрительности они зажмурят глаза, и их тонкие губы станут как лезвие бритвы, а одеревенелые лапы с толстыми ногтями и застарелыми следами от долота на всякий случай сожмутся в кулак. А я посмотрю на них широко раскрытыми глазами и скажу: *Потому, дорогие мастера, что, как мне доподлинно известно, мастера сего города сильнее всего в искусстве ваяния, а мое умение в этом самое слабое. И я ни капельки не солгу. Хотя, правда, несколько нарушу пропорции. Или точнее: я им скажу что-нибудь такое, под воздействием чего они исказят эти пропорции в своих мыслях. Ну так что ж с того! Такая самозащита должна быть мне дозволена. Во имя моей голубки и этого серого Таллина, во имя всего, что мне дорого.*

И когда мы столкнемся на том, что нужно брать дуб, я смиренно выражу желание делать или деву Марию, или святую Веронику. В выборе дерева они уже пошли мне навстречу (не ради меня, конечно), и на этом их любезность будет исчерпана. Они затрясут своими головами с тяжелыми подбородками и скажут: нет! пусть это будет все-таки святой Георгий. *Quod erat demonstrandum.*¹ Потому что, честно говоря, мне только что пришли в голову кое-какие мысли именно о святом Георгии. Да, несколько минут назад, когда я смотрел, как мой дорогой старшина шел там, тяжело ступая.

Смешно! Я-то от всего этого только смеюсь. А мою голубку оно печалит. Ведь именно это ее и мучило. Теперь-то наконец я понял. А странно, что это огорчает не только ее одну. У Хинрика тоже было лицо, как клад-

¹ Что и требовалось доказать. Здесь: к чему и следовало прийти (лат.).

бищенские ворота. Когда он выпил со мной кубок до дна перед тем, как я ушел... Будто от этого похода меня убудет... Дураки, сами они — граждане свободного ганзейского города и ужасно гордятся тем, что у них на шее не сидят короли... А я-то ведь пятнадцать лет кланялся королям — что, видимо, по их мнению, естественно. А вот поклониться их собственным цеховым мастерам — это обидное унижение... Пфф... — *Позвольте спросить, в чем здесь разница?* О, я должен признаться, иногда ради развлечения, я спрашивал своего католического короля Фердинанда, какого цвета сделать кисти у подушки для его ног, лиловыми или зелеными, и наблюдал, как он обдумывает этот государственной важности вопрос... Причем, отвечая на такой вопрос, после основательного размышления, он неизменно называл первое или второе и ни разу не сказал: решай сам. И никогда не придумал ничего третьего. Этим, по-моему, определяется мера королевского мышления... Конечно, вовсе не обязательно всем королевским особам быть дубинами в делах искусства, Изабелла, например, такой не была (я думаю в первую очередь о матери). Но в остальном она была настоящая змея. И тем не менее я выдержал при ней одиннадцать лет. А за глаза она называла меня — как это... *удивительно способным мальчиком для выходца из ремесленного сословия*. И если и от этого меня несколько не убыло, то почему бы, собственно, мне не быть до известной степени почтительным к супругам таллинских мастеров? От них, конечно, так хорошо не пахнет. Их ограниченность грубее. Они не восклицают по-итальянски: *О Dio mio!*¹ — что звучит как королевская песня иволги. О статуях и картинах они знают меньше, чем Изабелла. Но зато они и не рассуждают об искусстве. Они не придут обучать меня сочетанию тонов с *belleza* и *grandeza*². Их старики-то, конечно, придут... Но почему бы мне не выслушать их почтительно и не поблагодарить за поучительные слова? Если уж я выслушивал все разговоры Фердинанда и Хуана, и Генриха VII, и моего храброго герцога Филиппа и благодарил их за благосклонность? Иисусе Христе — чтобы это воспри-

¹ О, боже мой! (итал.)

² Красота и благородство (исп.).

нимать трагически, нужно относиться к этому всерьез... а меня все это только смешит!

(Погодите-ка, что это за толпа идет оттуда, вверх по улице Пикк? Правильно, они возвращаются после полуденной мессы из Олевисте. Видишь, вон бюргеры солидные и более молодые, папы с сыночками, все в бархатных беретах, коротких плащах со сборами и меховыми воротниками, а госпожи бюргерши с великолепными пышными прическами и в длинных накидках. И доченьки их с пылающими щечками, они ходили для того, чтобы в тени святых статуй на парней поглядеть и себя показать. Теперь вот несколько стариков отходят, поворачивают налево и входят в дверь гильдии Канута. Отсюда слишком далеко, чтобы я мог их узнать, но несомненно это те самые, к которым я как раз иду...)

А по поводу святого Георгия мне в самом деле пришла мысль... каким я его для них сделаю... Не всадником, как его часто изображали. Каким его сделал и Нотке для Большой церкви в Стокгольме. Нет. Я не буду возиться с лошадыю. Лошадь — это только так, для красоты, или по привычке. Я поставлю святого Георгия во весь рост прямо на спину дракона * и сделаю его не блаженно-благоговейным, потусторонним, не небесным и святым, как его делали раньше, да и теперь, впрочем, часто делают. И не таким, чтобы он разламывался от внутренней силы, от напряжения мускулов, каким его, вероятно, сделали бы древние греки. У меня он должен быть совсем спокойным, совсем земным, осмелюсь сказать моим. И вот что, я дам ему свое собственное лицо. Узкое, несколько угловатое, немного горькое, чуть веселое и капельку печальное. Скуластое, слегка недоверчивое лицо крестьянина, которое я унаследовал от матери * — мое лицо. Я дам ему такие же каштановые, вьющиеся волосы и короткую, вызывающую прическу придворного общества Вальядолида. О, я вижу его уже совершенно ясно... Он стоит на спине дракона, опираясь на копьё. Но копьё в его руке — это не тонкий, как ниточка, луч, который должен символизировать силу духа. (Множество святых Георгиев я видел с таким копьём.) Однако его копьё не должно быть и настоящим копьём, каким разят врага. Копьё должно у меня, то есть, я хотел сказать, у святого Георгия, напоминать скорее просто посох, которым он на ходу

придавил дракона. Я мог бы это копьё, то есть, я хотел сказать, святой Георгий мог бы это копьё держать даже в левой руке, настолько походя, невзначай он придавил дракона. В этой легкости была бы известная нарочитость, но нарочитость во имя того, чтобы собрать в себе дерзость и внушить ее другим, в конце концов, эта нарочитость — во имя превосходства небесных сил... Конечно, острое копьё пронзает спину дракона, только вот глубоко или не очень — бог его знает... да и какое это имеет значение, если дракон все равно продолжает жить, если его снова и снова приходится пронзать копьём, всегда и повсюду... А правую руку я, то есть я хотел сказать, святой Георгий, поднял, чтобы защитить глаза от солнца. Потому что дракон уже настолько раздавлен, что через него можно перешагнуть, и святой Георгий больше не думает о драконе, а смотрит вдаль... (Ей-богу, как красива эта улица сейчас! Эта булыжная мостовая будто река, по которой катятся круглые, каменные волны. Эти крылечки из светло-серого плитняка с гербами и каменными скамьями. Двери, как порталы игрушечных церквей, с маленькими утопленными каменными колоннами, которые напоминают трубы органа. Серые стены! А над ними дождь осенних листьев. Ряды островерхих красных крыш. Пестрая зелень башни Олевисте. Густые облака, как синеватый, тающий снег. Солнце, которое своим копьём пронзает облака... Написать эту улицу... и впереди лицо моей голубки. Совсем близко. Так близко, чтобы можно было поцеловать.)

Да, я знаю, каким я сделаю дракона. Он вовсе не будет чрезмерно страшным. У него вообще не будет ни крыльев летучей мыши, ни морды крокодила. Но он не должен быть ни достойным жалости, ни смешным, ни могучим, как дьявол, ни жалким, как скотина. А такой силы, какая бывает у среднего быка. И размером — как бык корриды. Во всяком случае, таким, чтобы его пришлось принимать всерьёз. Животом или грудью он лежит на земле, а задницей кверху. Голова как у пса. Как у злой, немного испуганной дворняжки. Сзади, как у Левиафана, лапы в разные стороны... Как будто в широких, немного стоптанных тупоносых сапогах... Кстати, левый бок и левую половину головы (включая глаз) не стоит доводить до конца. Фигура ведь будет уста-

повлена так, что ее левая сторона останется обращенной к стене. Но если я ее сейчас поверну и посмотрю на нее сзади, я увижу дракона на толстых задних лапах и с невероятно широкой голой задницей. Вот что я решил: в середине ее я с особым удовольствием сделаю великолепную круглую дыру... Зачем? И сам не знаю. Но сделаю. Просто так. Может быть, с тайной мыслью, чтобы она была моим тавро...

Ага, вот старшина уже входит в дверь гильдии Канута. А идущие от мессы проходят мимо меня, стуча сапогами и шурша одеждой, я слышу обрывки разговоров и запахи мускуса и хвойного мыла. И снова передо мной улица с отчетливо различимыми контурами.

Я так в нее всматриваюсь, что начинают болеть глаза. Я хочу навсегда ее запомнить. Я хочу ее написать. И на ее фоне мою голубку — мою жену. Это будет первая картина большой серии. Ее никто не заказывал. Это не важно. Я еще не знаю, как эти картины будут называться: святая Цецилия, святая Катарина, святая Бригитта, святая Моника. Это не важно.

О черт! Я уже давно прошел мимо гильдии Канута. Здесь, у Олевисте, улица сворачивает немного влево, и вот здесь-то оно и есть самое правильное место. Отсюда открывается самый лучший вид. Между углом Олевисте и домами на противоположной стороне улицы уже виднеются ворота Суур-Ранна со своими башнями. Река круглых камней все течет вниз и вливается в открытые ворота. Прямо в ворота. И льется дальше. В сине-серое море. Сине-серое море мерцает сквозь распахнутые настежь двойные ворота. По ту сторону сине-серого моря, за перламутрово-влажным воздухом угадывается далекий берег. Я вижу все это — мне только неясно, вижу ли я это сквозь солнечное марево, которое струится из густых снежных облаков, или сквозь солнечный блеск золотых волос моей голубки.

Я все смотрю, смотрю. А теперь пора обратно.

Я ведь не раз еще приду сюда. Смотреть, впитывать, вдумываться, запоминать. Писать. Когда я закончу своего святого Георгия. И когда дочь Румпа станет госпожой Ситтов. И когда этот город станет моим, каким он и должен быть.

А сейчас я легким шагом дойду до двери гильдии Канута и возьму в руку колотушку. Пальцы на ногах

больше не мерзнут. Мне тепло. И в душе я смеюсь. И голова моя яснее ясного.

Я поклонюсь им. Я скажу почтительно: *Если ваша милость дозволит...* И их милость дозволит. Они ведь не такие закоснелые, чтобы отказать. И тогда я сделаю своего святого Георгия. Но не как попало. Не спустя рукава, а с наслаждением. Какое дело святому Георгию до них?

И когда мой шедевр будет готов (где-нибудь в углу мастерской Берендта или Сниткера-младшего), я вежливо попрошу старшину и заседателей посмотреть на него, прежде чем я окончательно представлю его цеху, и я спрошу у них с самым почтительным видом: «Скажите, достопочтенные, каким мне сделать пояс на доспехах, позолотить его или посеребрить? Или, может быть, покрыть синей или красной краской».

Им будет так приятно это обсудить. И с таким удовольствием они скажут мне свое решение.

И меня от этого не убудет нисколечко.

Тук-тук-тук-тук.

как для того читателя, который все хочет знать, так и для того, который все уже знает

Итак, Ситтов подчинился требованию местного цеха, стал мастером, членом цеха, выиграл судебный процесс у своего отчима и добился руки прекрасной дочери сапожника. По-видимому, его жена умерла через несколько лет от чумы. Ситтов снова покинул родину. Некоторое время он работал у датского короля Христиана II, затем был придворным художником будущего императора Карла V, где после отъезда Ситтова его место занял Тициан. В 1517 году Ситтов вернулся на родину, снова женился, работал в Таллине и пользовался признанием. Он умер вскоре после первых потрясений, которые несла с собой Реформация, сопровождавшаяся уничтожением картин, в результате чего, по-видимому, погибла и большая часть поздних произведений Ситтова. Тем не менее к Реформации Ситтов относился сочувственно.

Произведения Ситтова хранятся и экспонируются во многих городах мира: Берлине, Будапеште, Вашингтоне, Вене, Детройте, Копенгагене, Лондоне, Милане, Москве, Нью-Йорке, Париже, Таллине и др.

стр. 9. Святой Лука — апостол Лука, который по одной средневековой версии считался живописцем. Известные византийские изображения богородицы слыли его собственной ручной работой. Его считали покровителем живописцев и объединенных с ними других ремесленных цехов.

стр. 10. Присяжный — член совета средневекового ремесленного цеха в Западной Европе.

Клавес Мелер — ваятель и живописец, по-видимому, родом из Мекленбурга. Умер в 1482 году.

Михель Ситтов (1469—1525) — знаменитый таллинский художник, живописец и скульптор.

Ганс Мемлинг — один из выдающихся мастеров старой нидерландской школы живописи, в первую очередь мастер яркого живописного портрета (1430—1494).

стр. 12. Церковь св. Гертруды находилась в Таллине за большими воротами крепостной стены (Suur Rannavärv)

- по другую сторону рва и была в 1535 году разрушена, как здание, опасное в стратегическом отношении.
- стр. 13. Огонь святого Антония — чума.
- стр. 14. Сылг — эстонское национальное украшение в виде круглой броши.
- Четыре картины Ситтова — можно предположить, что первая из описанных картин — это этюд к портрету красавицы Изабеллы или вариант этого портрета; вторая — тоже этюд другой известной картины Ситтова, изображавшей принца Хуана в облике Иоанна и эрцгерцогиню Маргарете в облике св. Маргариты; третья картина, как можно предположить, изображала Колумба, объясняющего Изабелле и Фердинанду идею своего путешествия по океану; четвертая — по-видимому, вариант известного портрета дона Гевары.
- стр. 18. Дими-Якоб — правильно, по-видимому, Якоб Дими — таллинский резчик по дереву, работавший в конце XV века.
- стр. 25. ...много лет назад однажды вечером он делал в каком-то военном лагере наброски... — Это был военный лагерь Санта-Фе под осажденной Гренадой в декабре 1491 года. К этому времени ослепительная карьера Ситтова привела его в Испанию, где он стал придворным живописцем Изабеллы.
- стр. 26. Он упорно стоял перед моими глазами... — Напомним, что это происходило вечером двадцатого мая 1506 года. По-видимому, автор наделил дочь сапожника Румпа телепатическими способностями. Ибо как раз в это самое время Колумб умирал в Вальядолиде.
- стр. 27. ...Англия (туда он тоже ездил писать портрет одного короля!) — В 1505 году Ситтов писал портрет английского короля Генриха VII.
- стр. 29. ...император — имеется в виду император «Священной Римской империи» из династии Габсбургов — Максимилиан I (1459—1519).
- стр. 36. Он таков, таким он и останется... — Таким он все же не остался. В 1536 году, а возможно, что даже еще и ранее, его изменили в направлении, которое здесь осуждается: живописцы и ваятели были поставлены на первое место.
- стр. 37. Епископ Николаус — с 1493 по 1508 год таллинским епископом был Николаус Роддендорп.
- стр. 43. Государь должен заботиться... — Цитата из известного произведения Маккиавелли «Государь». Правда,

этот трактат был напечатан лишь в 1513 году, на семь лет позже того времени, когда происходили события, описанные в «Монологак». Однако автора «Монологов» нельзя убедить в том, что он не вправе доказывать, до какой степени мысли, обнародованные в трактате «Государь», были в ходу уже в 1506 году.

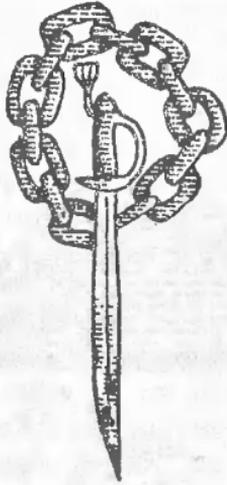
стр. 44. Иероним из Гертогенбосха — голландский живописец Иероним Босх (1450—1516).

стр. 45. ... один молодой парнишка родом из Урбино, не помню, как его имя — Микаэль или Габриэль. — Понятно, что имеется в виду ставший в то время знаменитым двадцатидвухлетний Рафаэль.

... его картины как будто из живой розовой плоти... — Так отозвался о картинах Рафаэля, на которых изображены дети, Джорджо Вазари в 1550 году, в устах которого это было, конечно, похвалой.

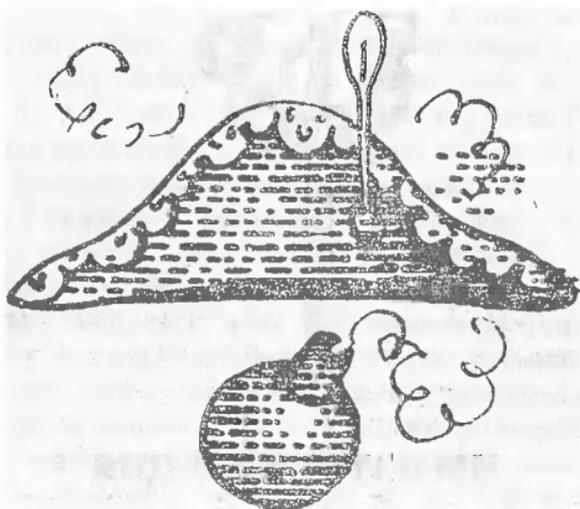
стр. 48. Я поставлю святого Георгия во весь рост прямо на спину дракона... — Видение, возникшее в воображении художника, создано автором на основании того предположения, что шедевром Ситтова была деревянная скульптура, изображающая святого Георгия и в настоящее время хранящаяся в Таллинском художественном музее в Кадриорге. Хотя в последнее время считается, что, судя по доспехам св. Георгия, работу следует датировать двадцатыми годами XVI столетия.

... лицо крестьянина, которое я унаследовал от матери... — дед Ситтова со стороны матери, Олев Молнер, был крестьянином финско-шведского происхождения, впоследствии купец, житель Таллина. Он умер в 1472 году.



имматрикуляція
михельсона





Дорогой брат, и любезная невестка, и все вы, дорогие сородичи, там далеко в городе Пайде, который, по правде говоря, сейчас от меня довольно близко находится, но куда я, о чем весьма сожалею, по воле господы никак не могу приехать, чтобы на вас поглядеть. Как вам и самим было видать по началу письма, осталось оно с прошлого понедельника недописанным, и раньше сегодняшнего дня, когда уже наступает пятница, не было у меня ни времени, ни возможности, чтобы его писать. Потому что точно, как я и думал в начале письма, так оно все и случилось. Ранним утром во вторник отправились мы с курьерскими санями нашего лейбгвардии конного полка из Санкт-Петербурга; генерал и я, да поручик фон Толь, который, как вы знаете, у нас адъютантсм, и вдобавок еще три унтер-офицера, и прибыли мы вчерась к вечеру, не глядя на крепкий мороз и вьюгу, в Таллин. Такие дела у нас делаются все так же — раз и подавай, как и восемь лет назад, когда мы, поди, через пол-России, через горы, реки и степи ту разбойничью рожу гнали. Ту самую, которую вовсе не для чего мне здесь называть, не только потому, что наша милостивая государыня императрица приказала забвению ее предать и пеплом засыпать, а и потому, что она все еще у каж-

дого в памяти шевелится. Да, вот так — раз и подавай — мы и жили все эти восемь лет, как из моих писем вам давно известно, и ничего здесь в смысле вечной гонки не переменилось, а все так же продолжается, как было и до нашей славы и почета, с самого начала, собственно говоря с Кунерсдорфа и Кракова*.

Но генерал ведь всегда больше всех других начальников об обозе заботу нес и с солдатами умел как с людьми обходиться и другой раз даже себя до них унижал, что есть большое чудо для такого барина, дед которого в чине капитана уже был, когда под командой шведской Железной головы против нашего Петра под Полтавой сражался и сам остался от русской пули червей кормить; и отец которого в шведском войске даже генерал-майором был, хотя при нашей милостивой государыне императрице Анне его на всякий случай до полковника снизили. Через это я и остался нашему генералу верно служить и до тех пор верным останусь, пока свой пенсион выслужу, пусть до того еще долгая дорога, и пусть мне на этой дороге с ним вместе по каким хошь еще кампаниям таскаться и свою Марту в Санкт-Петербурге одну вянуть оставлять.

А генерал за те двадцать три года, что я его теперь знаю, вовсе на переменился. Запасные парики я для него до сих пор держу в секрете. И тот, который у него на голове, он только тогда пудрить дозволяет, когда его во дворец зовут. Он говорит: там на всех ворах столько белой муки, что ежели среди них без нее появишься, то уж больно громко они закаркают. Но в понедельник вечером, когда он прислал за мной денщика, так что я бросил письмо, впопыхах едва успел сапоги натянуть и побежал вниз, мне приказано было к следующему утру вещи к отъезду сложить, и я диву дался, когда он добавил:

Дорожный сундук, парадный мундир, лаковые сапоги, выдровую шубу. Взять все ордена.

Диву дался я потому, что до сих пор он лаковые сапоги (даже когда во дворец ходил) только тогда надевал, ежели приказ был явиться в самой парадной форме, то есть когда следовало ожидать, что государыня сами намерены среди своих офицеров явиться. А выдровую шубу, как я заметил, он до сих

пор только в день годовщины полка и в день тезоименитства государыни надевать изволил, а в остальное время ходил в бобровой, а другой раз, когда мы зимой ездили в наши поместья, где изволили рождество встречать — в Саалузе, в Лээви или в Белоруссии, в Иванове, тогда мы, по моему мнению, на самом-то деле всего лучше себя в овчинном тулупе чувствовали. А что я все ордена с собой взять должен, уже совсем чудной приказ. Представляете. святого Георгия, святого Александра Невского, святую Анну и все остальные в придачу! Тут я сразу решил: не может же в таком губернском городе, как Таллин, какой ни то высокий государственный штатс-акцион предвидеться, стало быть, это дело амурное, и он идет на приступ по женской части. А приступ, должно быть, такой крутой, что взять его он рассчитывает только, если все ордена на груди повесит... Ну, вы-то ведь понимаете, что за четверть века я своими глазами вдоволь нагляделся, да и помогал тоже во всех наших дамских делах, как до нашего сватовства к этой нашей первой жене, этой красавице, но круглой дуре Маргарете фон Игельштром, а еще пуше после, когда сия наша жenuшка для всех свою дурь ясно доказала, сбежав от нас с каким-то майоришкой по фамилии Ясинский, так что суперинтенденту Лифляндии поневоле пришлось в конце концов нашу женитьбу недействительной признать. Ну, да на все эти истории я вдосталь нагляделся, как прежде, так и после; как во время той нашей женитьбы, так и во время теперешней нашей женитьбы. Потому что, в самом деле, что это за женитьба! Эта наша новая госпожа, которую мы два года назад взяли, правда очень знатного роду, о чём я уже писал вам перед нашей свадьбой, она — рожденная фон Ребиндер, дочка генерал-лейтенанта и генерал-губернатора Нижнего Новгорода. Говорят, там под Кавасту в тартуском округе у ее папашки главное поместье, но эта госпожа почитай совсем еще ребенок, во время свадьбы ей едва шестнадцать было. А нам сорок шесть. И мы сразу же ей дите сделали, а сами гонялись взад-вперед, то в полк, то в Петергоф, то в Эрмитаж, так что стали уже шепотком поговаривать про самую высокую благосклонность. Но про это я не знаю и не хочу вам ничего писать. Потому что хоть его сиятельство граф Григорий Орлов

сейчас будто бы уже на тот свет отправился, но его сиятельство граф Григорий Потемкин божьей милостью в полном здравии пребывает. Так что я из-за этих последних строчек это мое письмо не стал бы из Петербурга с почтой посылать. Да и Таллин не то место, чтоб его с обыкновенной казенной почтой отправлять, а отдам я его прямо нашему старому другу Петеру Шнейдеру. Представляешь, я повстречал его сегодня утром здесь на Вышгороде, на площади перед дворцом, когда он как раз в губернскую канцелярию направлялся, и узнал, что он теперь помощником городского фогта у вас в Пайде и каждую неделю на драгунских лошадях в Таллин ездит, возит в округ губернские приказы (что ты скажешь!). Так что это письмо, дорогой брат, он отвезет и сам отдаст тебе прямо в руки. А ты, когда прочтешь, положи его в ту самую свинцовую шкатулку, которая в камнях спрятана, где у тебя все мои письма хранятся. Потому что, когда я на пенсию выйду, то приеду жить в Пайде и поселюсь со своей Мартой в комнате за твоей бакалейной лавкой с окнами в сад; тогда на старости лет, но еще в здравом уме, как я надеюсь, из этих своих писем, что я тебе целые четверть века писал, я хочу книгу составить. Из одних только писем она не должна состоять, вперед я хочу написать даже отдельную главу про наше детство. Про наш дом на краю той самой дороги, где скот ходил, которая так красиво Риттергассе зовется, и про отцовскую трубку, и про материнский ткацкий станок, и про все эти запахи имбиря, да кардамона, лаврового листа, да еще бог знает чего, которыми полна была наша лавка и весь дом, будто кладовая целебных трав самого господа бога, и про сад и жасминовые кусты, что росли у стены свиного хлева. И про особенных и про обыкновенных людей, что к нам ходили. Про того тронутого мяэского Штакельберга, которому вместе с сыновьями до самого последнего времени целиком весь ваш город Пайде принадлежал, пока наша милостивая государыня императрица не повелела его отныне окружным городом сделать. Помнишь, как этот старый мяэский Штакельберг время от времени при всем своем могуществе к нам в лавку вламываться изволил. Господин майор — подумаешь тоже! И как он однажды у нас хлыстом большую стеклянную бутылку разбил, когда отец не

успел так скоро ему сигары подать, которые он потребовал... Да, ведь почитай несколько десятков лет он сосал кровь нашего города Пайде, понемногу, но непрестанно, как пиявка, при том, что в городе в ту пору крови-то было меньше, чем у самого малокровного больного... Пятьдесят маленьких домишек и доскуты огородов, и четыреста человек, и развалины замка, все это вместе взятое ничего не составляло... совсем мертвое место, ни одной-единственной, самой что ни на есть захудалой фабрички... и Штакельберг за каждое яблоневое дерево, за каждую морковную грядку зубами держался... Да, но не только про этого Штакельберга я писать намереваюсь, но и про своих дружков детства, про то, как мы на развалинах замка в разбойников играли и как по орехи вместе в ров ходили, и про земляков, которые остались у меня в памяти, и про благородных господ далекой и близкой округи, что ходили к нам покупать у отца и у тебя пряности и целебные травы (тогда в Пайде аптеки еще не было), так что колокольчик над дверью у нас другой день пять или шесть раз динь-динь-динь да динь-динь-динь звенел... А ты, к примеру, помнишь тех двух молодых господ Розенов из Вьяйнъярве — Андреаса и Иоахима, последний из-за болезни груди часто к нам в лавку хаживал, и того смешного мальчишку на побегушках из Вьяйнъярве, у которого пегие волосы торчком стояли — помнишь, он еще с учителем своих молодых господ за целебными травами для Иоахима приходил, и мы слышали однажды, как он с господином наставником по-французски лопотал... Вот дурень! А ты к случаю не знаешь, куда он девался, и что с ним случилось? Но зря я тебя об этом спрашиваю, дорогой брат, потому что ты мне ведь почитай что совсем не пишешь, да и я тебе, хоть правда, длинно, но в общем-то редко пишу. Во всяком случае, когда я теперь думаю об нашем крошечном городишке Пайде и вообще об нашей стороне и об ее возможностях, несколько не приходится мне о своем теперешнем житье-бытье сожалеть. Я ведь как-никак городского сословия и сын лавочника, а теперь-то всего только камердинер, а должность слуги в глазах многих, мы-то ведь это знаем, не больно в почете. Но, когда я все же подумаю, что годами имел честь находиться рядом с человеком, который в исторических книгах спасителем Россий-

ской империи назван, пусть хоть для того, чтобы подавать ему полотенце или ботфорты, и когда, кроме того, вспоминаю про все, что мне довелось при нем увидеть, и что я еще смогу многое повидать, и про то, что меня ожидают мой пенсион и моя книга, не говоря уже про Марту, то, если все вместе сложить, я вполне могу сказать: Господи, я своей участью доволен!

Постой-ка... денщик за мной пришел! Приказали позвать! И на сей раз не дописал -----

2

Итак, я здесь. В комнате для гостей коменданта города* генерал-лейтенанта фон Эссена.

Французские обои с серебряными лилиями по голубому полю. Камин, в котором комендантский денщик с утра старается поддерживать мокрыми дровами огонь. Одно заснеженное окно выходит на площадь перед дворцом, второе — в сторону бастиона и Тынисмяги. Дверь в смежную комнату. Там, под высоким балдахинном, постель с белоснежными, но наверняка еще влажными простынями и наволочками. Здесь, возле двери, забрызганный чернилами секретер красного дерева. Огромные старинные свинцовые канделябры. Высокое зеркало, разделенное на квадраты тоненькими серебряными полосками. В зеркале — я.

Над выпуклым лбом пепельный парик. Горячие, упрямые, слегка навывкате светло-серые глаза. Большой, немного похожий на грушу нос. Рот средний. По поводу которого я сам (да и другие тоже) не знаю точно, выражает он усмешку или упрямство. Во всяком случае — ироничный рот. Каверзный рот, как было сказано. Как сказала сама Катя. В вырезе стоячего воротника кафтана, поверх шелковой рубашки — Георгиевский крест. За Пугачева. Слева на груди — огромный восьмиконечный Невский. За что? Так, вообще за все. Под париком, под орденами, под поясом лосин еще кое-что. На левой стороне темени четырехдюймовый шрам — штыковой удар. Память о Цорндорфе. На три пальца пониже Невского, чуть левее — шрам от пулевого ранения. А на левом боку — след выходного отверстия той же пули. Память о Кунерсдорфе. Под поясом белых лосин еще один шрам. Отсюда вынули часть

ребер. В городе Торне. На левой кисти под белой лосиной перчаткой — длинный выпуклый шрам от рикошетного ранения. При взятии лагеря Ларга. А пониже пояса белых лосин — летучий ревматизм, вот уже пятнадцать лет причиняющий мучения. Результат проклятого двухдневного морского купания у Гогланда и Мемеля, где корабли из-под нас были пущены на дно. Белые лосины. Белоснежные. Высокие черные сапоги. Крупный мужчина. Правду говоря, даже слишком громоздкий. Еще не толстый. С божьей помощью. Благодаря высокому росту все еще хорошая офицерская внешность. Даже отличная. Выправка, во всяком случае, идеальная. По крайней мере, в сравнении с большей частью санкт-петербургских генералов. Вообще — барин. Большой барин. Генерал-майор Иван Иванович Михельсон. Кхм. *Johann von Michelsonen. Generalmajor und Ritter*¹. Как говорят немцы. *Из лифляндских дворян*, как русские говорят. По бумагам уже давно. По бумагам с самого начала. На самом же деле — лишь с завтрашнего утра.

Завтра утром в десять часов секретарь дворянского собрания Эстляндии внесет соответствующую запись в дворянский матрикул. И предводитель дворянства господин Мориц Энгельбрехт фон Курсель своей рукой это подпишет. Ха-ха-ха-ха. Никогда никто в мире этого не сделал бы. Несмотря ни на какие шрамы. Если бы сама императрица прямо того не пожелала.

Итак, я здесь. Сам губернатор генерал-лейтенант фон Гротенхельм приглашал меня завтра до обеда к себе во дворец. А я сообщил ему через своего адъютанта фон Толя, что завтра до обеда у меня не будет времени. Хоть он губернатор и генерал-лейтенант. Ха-ха-ха-ха. А я — Михельсон. И господин комендант города вчера вечером старательно вытянулся передо мной. Хотя он — господин фон Эссен и генерал-лейтенант. А я — Михельсон. Впрочем, завтра до обеда у меня в самом деле не будет времени для того, чтобы ходить к губернатору и заниматься светской болтовней. Кроме того, завтра в субботу восемнадцатого февраля в восемь часов вечера я и без того встречу со всеми господами. И со всеми дамами тоже. Как мне сообщил

¹ Генерал-майор и кавалер орденов (нем.).

господин фон Курсель. На площади за Домской церковью. В новом с иголочки Доме дворянского собрания*. На банкете, который дворяне устраивают в честь моей имматрикуляции. По поводу чести, им оказанной... et caetera. Хмм.

Я вправе сказать: мне довелось видеть и жизнь и смерть. И то и другое. Чаще, чем большинству людей. И я знаю себя. Нет, не до конца, о нет. Если бы я так сказал, я сказал бы, в сущности, неправду. Но я знаю себя лучше, чем себя знает большинство людей. Просто из интереса к миру. К миру вне меня и во мне. И все же должен признаться, когда вижу их пустые дурачества с оказанием почестей: как сладки гортани моей слова твои! Как в библии сказано. А еще слаще — ставить в тупик этих глуповатых вельмож. Даже — немного напугать — тогда совсем сладко... Я их никогда не пугал. Нет, нет, и х — почти никогда. Им я только подушку под задницу подсовывал... Прусских мужиков с их костлявыми лицами, в черно-желтых грязных драгунских мундирах — их я действительно пугал. Горячих и злых польских конфедератов с коричневыми усами и мутными глазами, тех я достаточно устрашал. И турецких янычар в дурацких тюрбанах, с кривыми саблями — тех тоже. И на огромную рыжебородую русскую «сволочь», босую или в лаптях, — на них я нагонял страх на Дону, на Каспии и на Урале. Рунич говорил мне, что он слышал, как еще два года назад в Пензе женщина страдала своего мальчишку: *Ты смотри у меня, — не то придет Михельсон.* А теперь здесь... на этих...

Степан!

Эй, Степан!

Топ, топ, топ, топ, трах, трах, трах, трах!

Имею честь явиться, Ваше превосходительство!

Трах, трах, трах, трах! Вшпрсхство... (Эхо в оштукатуренном коридоре комендантского дома.)

Позвать сюда Якоба!

...Этот Якоб... Кхм. Пороха он не выдумал. Но он предан мне. Любопытен — до страсти. Но никогда ни одного вопроса. Несмотря на двадцать три года службы. И никаких вольностей. Как бывает со старыми слугами. Он знает свое место. Он как будто уже

и не помнит, что его генерал обязан ему жизнью. Конечно. В Кунерсдорфском рапорте было написано: ...Командир полка полковник Бибиков нашел среди штабелей убитых тяжело раненного поручика Михельсона. Бибиков. Лично! Кхм. Относился ко мне Бибиков всегда прекрасно. Это правда. Но то, что он сам меня там нашел, такая же правда, как то, что наша милостивая императрица Елизавета сама построила Зимний дворец. И так далее. Лично. (Но почему же тогда я не спорю, когда говорят: Михельсон победил Пугачева? Ха, ха, ха!) Во всяком случае, нашел меня среди штабелей убитых сержант второй роты третьего батальона третьего мушкетерского полка Якоб Грау. Ибо то склоненное надо мной пыльное, взволнованное и вдруг просиявшее лицо, которое выплыло из кровавого тумана, когда я впервые после первой перевязки пришел в себя, лежа в ужасающе тряской повозке, оказалось лицом Якоба. Мой денщик был одним из тех шестнадцати тысяч, жизнью которых мы заплатили за победу под Кунерсдорфом. Спасти меня удалось Якобу ценой огромных усилий. Я попросил Бибикова дать мне его в денщики. Кроме того, выяснилось, что он родом из Пайде. Так что в привычном окружении, среди офицеров, я мог говорить с ним по-немецки. Но если я хотел, чтобы почти никто из немцев и ни один русский нас не понял, я мог говорить с ним по-эстонски. На эстонском языке он лопотал с сильным акцентом, но все же понять его было можно. Я помню, он спросил меня: «Ваше превсходительство, где Вы родился?» И я сказал: «На Сааремаа. Но мое родовое имение было в ту пору Сессвеген. В Лифляндии. Возле Вендена». В точности, как было в полковых бумагах... Да. Это он у меня за двадцать три года все-таки спросил. И свои соображения он мне тоже сообщил. Ха, ха, ха. Смешная система у нас с ним с тех пор установилась. Но мы относимся к ней всерьез. Он был ужасающе наивным парнем. Вначале. В армию он попал совсем незадолго до того. Ни с одним офицером близко дела не имел. (У меня к тому времени было за плечами уже шесть лет полкового опыта. Не говоря о более раннем.) Так что наивен он был до мозга костей. Однако порой ведь случается, что ты спросишь мнение своего слуги. Якоба я еще в

шестидесятом году сделал своим камердинером. Когда получил капитана, а он после контузии остался заикой, так что больше не мог быть сержантом действующей армии. И по своей наивности он простодушно общал мне свое мнение о том, что я спрашивал. Большею частью его мнение я знал заранее. Но все же не всегда. Иногда он говорил невероятные нелепости. Но порой и то, чего я боялся. А иногда он видел ситуацию с новой стороны. С существенной стороны. За нелепости я его ругал. Если он говорил то, чего я не желал слышать — тоже. Если в ответ на неприятный вопрос он молчал, я легонько подстегивал его. Хлыстом иронии. И так далее. Жизненная выучка. Годами складывалась система, которая теперь у нас существует. Я спрашиваю: «Якоб — как ты думаешь?» Он смотрит, если я при этом поднял большой палец левой руки, он говорит: «Т-т-так же к-к-как и ваше превосходительство полагают». Если я скрещиваю руки на груди, то возникает труднейшее положение, ибо он сам должен решить, что мне ответить. А если я поднимаю большой палец правой руки, он должен, не раздумывая, сказать мне свое истинное мнение. Причем на этот раз ругать его я не стану. Даже за самую большую нелепость. И я считаю, что эта система отлично защищает от меня его «права человека». Лучше, чем эти самые американцы защищают свои права при помощи декларации, которой они так сильно размахивают сейчас там, в Париже! Тук-тук-тук-тук!

— *Eintreten!*¹

— В-в-ваше п-п-през...

Якоб, завтра в два часа ночи. Приготовить мелкие дорожные принадлежности. Четырехместные сани с четверкой лошадей. Без кучера: я и ты. И все, что ты сегодня купил. Ясно?

Т-т-так т-т-точно в-в-ваше п-п-пр... И ордена и сапоги?

Орденов не надо. А валенки взять.

3

Ну, так и есть. В точности, как я писал — раз и по-дай! Сегодня ночью в два часа отсюда уедем, и са-

¹ Войдите (нем.).

мо собой, только один генерал знает, куда. А вот по какому делу, в этом у меня нет больше никаких сомнений. Ладно, сначала я думал, что свои шалости он здесь в Таллине начнет, ибо, как я читал в газете, здесь в зале Канута как раз дают представления итальянские комедианты, а из-за итальянских актрис он и раньше, случалось, курьерских лошадей загонял. А вот на тебе, выкуси. Теперь-то само собой ясно, что движем куда-нибудь в имение, только в какую сторону, этого я сейчас еще никак не могу знать. Потому что в этом смысле для нас ведь никакие дороги не заказаны — от Сааремаа до Саалузе или еще куда душа пожелает. Но раз уж мы берем с собой только мелкие дорожные принадлежности, можно думать, что наше путешествие весьма далеким быть не должно, хотя известно, другой раз случалось, что и с одной маленькой дорожной принадлежностью конец во сто верст отмахать могли. Но для меня вовсе удивительно то, что мы против нашего обыкновения в санях едем, потому что у нас всегда было в моде (не глядя на сугробы и распутицу, дожди и ломоту в мягком месте) верхом ездить — не ровен час, вдруг кто-нибудь сомневаться начнет в том, что мы все еще самый ловкий наездник во всем войске* нашей милостивой государыни императрицы, каковая слава за нами всеми признана, так что нам, по моему разумению, вовсе не требуется на каждом шагу с таким усердием это доказывать, как мы и посейчас это делаем. И то, что я по ихнему распоряжению сегодня здесь в Таллине закупил и что сегодня ночью с собой взять надлежит в этот раз тоже, по моему мнению, немножко такое, что... Само собой, я не могу знать, какие мелкие (но при том много сотен стоящие) бижутерии или драгоценности мы, может быть, еще в Санкт-Петербурге в портмоне сунули. Во всяком случае, в карманах камзола и кафтана ничего такого видать не было, так же как и носом я не учуял, чтоб мы дорогие французские духи для наших дам с собой брали. Так что с уверенностью я могу сейчас только о том писать, что я сегодня сам для них закупил. Когда поутру в город меня посылать стали, я думал (поскольку как раз объявления в свежем «Wöchentliches»¹ прочитал), что посылают меня к примеру вовсе

¹ «Еженедельник» (нем.).

на улицу Пикк, к той самой мадам Буали, которая продает дворянским дамам и горожанкам, как говорят, весьма отменную французскую помаду для волос, приготовленную из швейцарских трав, бычьих мозгов и сушеных пчел. Между прочим, дорогой брат, я полагаю, что тебе такая помада могла бы пригодиться, ибо городских дам, не говоря уже о барышнях, в городе Пайде много больше, как ты сам знаешь, чем вообще можно было бы предположить в таком крошечном городишке, да и в благородных дамах никогда недостатка во всей Ярвен не было. А швейцарские травы вполне можно набрать и на лугах вдоль реки Пайде, и за бычьими мозгами и пчелами, видит бог, далеко ходить не придется, при этом тебе следует знать, что за маленькую банку помады мадам Буали берет два, а за большую — четыре рубля серебром. Да, а еще я подумал, что может статься, пошлют меня к Хассе, на Новый рынок, скажем, за тонким заморским кашемиром или маленькими мейссенскими носорогами, которые теперь модно во всех будуарах на комоды ставить по шесть или двенадцать штук в ряд. Но вот уже второй раз за наше пребывание в Таллине, я пишу тебе, приходится мне сказать: не тут-то было!

Якоб, две бутылки можжевелевой водки и бутылку сладкой вишневой наливки! Ясно?

Само собой, ясно. Так что я сразу же смекнул, что на этот раз мы вообще не имеем дела со светскими благородными дамами. Крепкая можжевелевая водка и сладкая вишневая наливка, если обо всех этих обстоятельствах, так сказать, поразмыслить, задуманы не для чего иного, как только для услады папаш и мамаш каких-то девиц. Причем папаша, в самом лучшем случае, ну скажем, управитель, а скорей всего, ну, к примеру, кладовщик в имении, вряд ли выше. Как я, наверно, и раньше в своих письмах говорил, такие дела у нас случались и прежде, но не слишком часто, если подумать обо всех этих княжнах да графинях, с которыми мы имели дело. Нет, нет, в какой-нибудь слишком уж большой симпатии к носительницам юбок из низшего сословия я в самом деле ихнее превосходительство обвинить не могу. Так же как и выдуманно все это и напраслину говорят, будто мы вообще сторону простонародья держим и с ним якшаться склонны, как про нас

наши крепостные в Саалузе рассказывают, будто мы с ними заодно и по-всякому не раз их от окружных помещиков защищали. Ну, да сразу видать, что этот разговор пустой, какую же защиту может дать своим мужикам один барин от другого? Когда нам случилось однажды разругаться с Вастселийнаским господином Липхардом (тот прискакал прошлый год сам в Саалузе, ворвался во время утреннего кофе к нам на веранду и потребовал — и впрямь весьма непочтительным тоном — что мы, дескать, обязаны выпороть своего Юхана из Кергатсикюла за то, что он пустил наших быков в вастселийнаскую рожь, а сам оттуда ноги унес), да, тогда мы загремели на этого барина как из пушки со сломанным замком: черт подери, что он не знает, как ротмистр должен обращаться к своему генералу, а?! Так ведь гремели мы не столько из-за кергатсикюлаского Юхана, сколько по поводу собственной нашей генеральской чести. Но подействовало это, слава богу, так, что господин Липхард быстренько задом с нашей веранды ретировался и по сей день ни в Саалузе, ни где в другом месте к нам на глаза показаться не осмеливается. Или еще другой случай, о котором сейчас не помню, писал вам или нет, как там рядом с нашим помещьем в Лоови у пиндического Глазенапа в один год пять душ сразу сбежало — крепкие парни, все как молодые бычки, и пошли слухи (вовсе удивительное это дело, как такие разговоры появляются и дальше расходятся), мол, все беглые в армию приняты, государыне, как мужики своим грязным языком говорят, дыру заткнуть, но до того они, будто, к нам в Саалузе на своего помещика жаловаться приходили и у нас совета спрашивали, как им быть. Я поблизости был и своими ушами слышал, когда господин Глазенап у нас в Саалузе во время большого динэ, который ихняя светлость там давали, с ними об этом деле заговорил, само собой, весьма вежливо и ухмыляясь, что, мол, *видите ли, господин генерал, я слышал, говорят будто...* они ответили ему наполовину на чистом французском языке и таким голосом, что на весь зал было слышать:

Ах, так говорят! Ха-ха-ха! Mon cher baron, значит, ваши мужики думают точно так же, как и я. Пролить кровь за свою императрицу долг куда более высокий, чем возить навоз на поле своего помещика.

Но, господин генерал, если и ваши мужики начнут убегать в армию?!

Тогда я спрошу себя, *mon cher*, почему они так поступают, и устраню причину.

Или еще одна история случилась, будто представление в театре, которое сам я видел только в начале и под занавес, но середину и самое главное мне так подробно рассказывали, что я полностью понимаю, почему мужики в кабаках всего Рыгуского прихода много лет без устали только об этом и судачили... Это случилось у нас с Вийтинаским графом, которого в той округе зовут сумасшедшим графом за многие дурные привычки, между прочим, и за то, что у сего барина был обычай больше всех других на мужиков набрасываться, когда те не успевали достаточно быстро свернуть с дороги, по которой графская коляска ехала. Ну, да я-то знаю только, что одним весенним утром тысяча семьсот восьмидесятого года они приказали разыскать в нашем Саалузе самую загаженную навозную телегу и подать ее к подъезду имения! И когда телега была подана, они сами, стоя в генеральском мундире посреди залы, приказали принести себе самый большой какой ни на есть мужицкий армяк и широкополую деревенскую шляпу, армяк надели поверх мундира, шляпу на голову, в руки взяли кнут и, насвистывая, поехали на навозной телеге в сторону Рыуге. И уже на следующий день до поместья стали доходить пересуды, и они все росли и вскоре весь приход только и делал, что перемалывал эту историю, так что теперь наверняка и сам черт не разберет, каким образом в самом деле наше столкновение с Вийтинаским графом на большой дороге в версте от Рыгуской церкви произошло. Во всяком случае, навозная телега не посторонилась, когда навстречу ехал господин граф, мужик на телеге клевал носом и не обращал никакого внимания на громкие крики графского кучера. Тогда граф сам стал орать на спящего слепого черта, но и это не подействовало. Тут граф выпрыгнул из коляски с палкой в руке, подбежал к мужику и хотел дать ему по шее. И вдруг — это своими глазами видели многие, которые по обе стороны дороги уваживали поля Рыгуского поместья — тут вдруг из мужицкого армяка выскочил генерал, так что только сверкнул синий кафтан и за-

пылал красный камзол, вырвал у графа из руки палку, переломил ее пополам и обломки швырнул в пыль, а другие говорили, что еще хорошо графу при этом кнутом надавал, а третьи — что тут же на дороге избил графа, и еще четвертые — что до беспамятства катал графа туда-сюда по днищу своей телеги, пока доски совершенно от навоза не очистились. А кучер, само собой, не посмел вмешаться в дела таких высоких господ, он только снял шапку и после каждого рывка качал головой: аллилуйя... Я, как уже сказал, не знаю, что тут правда, а что — вранье. Только когда они в тот раз к обеду домой вернулись, все так же в навозной телеге и посвистывая, — шляпа на голове, армяк свернут и под себя подложен — и сняли кафтан, на нем в самом деле четырех золоченых пуговиц как не бывало и на правом рукаве под мышкой лопнул шов, и рубашка на спине у нас была мокрая от поту и пыльная, и лицо у них было как-то по-осбенному довольное. Само собой, потом говорили, что произошло-то вообще все не из-за того, что мужиков били, а вовсе из-за красивых глаз Казаритской помещицы барышни. И я тоже хочу думать, что это скорее на правду похоже.

Во всяком случае, очень даже удивительно из этой, и еще из других подобных историй вывод делать, что, мол, бог знает, почему мы вообще держим сторону этого глупого и упрямого простонародья, или даже утверждать (а у нас ведь про то говорили, только таким тихим шепотом, что я даже не могу сказать, до ихних собственных ушей дошло это или нет), будто после, в глубине души, они все же порой думали, что, может, по сути своей и по справедливости не была эта великая и кровавая война «сволочи» одним лишь только бесчестным делом... Ну, над этим-то я позволю себе без всякого стеснения смеяться! Конечно, даже в войске самого Разбойника были отдельные из низшего сословия, которым до офицера дослужиться удалось. Да и самому Разбойнику, каким он ни на есть темным да неграмотным был, до хорунжего казачьих войск подняться пособили, что соответствует званию подпоручика. Но мы-то ведь небось знаем, как в начале Семи-летней войны повышение в чинах шло: кто ранен был — тому сразу на два чина выше давали, так что легкое ранение самым желанным делом было, а другие и

вовсе без больших заслуг за три года от капитана до полковника подымались или еще выше... Ну бывало, что отдельные из низшего сословия и в младшем офицерском чине в войсках Разбойника встречались. Но я утверждаю: среди настоящих дворянских офицеров в более высоком чине ни одного не было, кто бы ему сочувствовал, потому что слишком уж ненатурально это было бы. А теперь вот — как это ни на есть глупо — про нашего генерала такие вещи шепчут. Я хочу у них спросить, если б это хоть в совсем малой доле правдой было, почему же тогда государыня-императрица именно его командующим особого корпуса, посланного против Разбойника, назначить изволили (в то время еще подполковника, так ведь), ежели они в цельной русской армии несколько сот полных полковников набрать могли, не говоря уже про генералов, которые все до единого, не сумлеваясь, супротив Разбойника рвали и метали? Нет, нет, тут уж все вместе — наша собственная удивительная офицерская храбрость, мудрый совет Потемкина и ясный ум государыни. И весь мир знает, что против Разбойника мы вели железную войну и через это его победили. А к нам успех пришел в первую очередь потому, что мы хорошо запомнили ошибки тех губернаторов и генералов, которые до нас против Разбойника свои силы пробовали. Которые из них (к примеру, Карр) были плачевно разбиты, другие, правда, и его били (как Бибииков, и Панин, и кто там еще), но потом на лаврах почили и стали в Санкт-Петербург реляции писать или своим войскам пировать и гулять разрешили и прохлаждались, вспомогательные войска и обоз ожидаючи. А Разбойник тем временем скакал с сотней своих людей в версте позади их, ходил, по своему обыкновению, с манифестом по деревням и фабрикам и через две недели у него под знаменем уже десяти тысячное войско было и он снова стоял с ним супротив армии государыни. А нам удалось с ним справиться потому, что ни себе, ни ему передышки не давали. Мы били его подряд — вчера и сегодня, и послезавтра, и наступали на него беспощадно и беспрестанно до тех пор, пока от всех его сил и войска у него и впрямь только несколько десятков жалких беглых оставалось. А генерал в то время вообще не думали ни о собственных наших мучениях, ни о мучениях своих людей. Нам

это стало в сорок дней походного марша и сражений при однодневной передышке. Ох, до самой смерти я не забуду, что это было за время и какая у нас была жизнь, начиная с мартовских морозов семьдесят четвертого года, всю весну до зноя позднего лета — жили мы голодом, не спавши, так что ото всего у меня в голове и памяти какая-то мешанина стала — жарница и снег, грязь и кровь, пожары в городах и деревнях, трупы, виселицы, степная пыль, грохот пушечных выстрелов, крики, вонь, лошадиный пот... И полевая палатка или разграбленная, сожженная усадьба, где я вечером для нас постель приготовить старался, а на заре — чистил ваксой сапоги и собирал дрова, чтобы согреть воды для бритья, а потом свист мушкетных пуль, грохот пушек, и взрыв, так что я весь согнулся и уши прижал. Сто раз мог я из-за вывиха в колене и страшного простудного кашля в обозе остаться или даже в лазарет попасть, ежели бы не видал, как они сами изо дня в день, с утра до вечера, — шляпа на затылке, воротник расстегнутый, часто с саблей наголо — носились в самом что ни на есть пекле, как подымали людей и за собой вели — глаза вытаращены, а на лице улыбка, и как их хватало в самый дерьмовый момент шутки шутить, как будто почти что ничего и не происходило. Помню, пятнадцатого июля у деревни Сухая Река мы пошли с двадцатью потрепанными ротами против двадцати пяти тысяч Разбойника. Сражение шло уже третий час, и Разбойник стал сильно огнем своих батарей на левый фланг майора Харина нажимать. Ихняя светлость стояли возле своего штаба на холме и следили в подзорную трубу за ходом сражения. А я ждал в нескольких шагах позади, на подносе у меня под белой салфеткой обед был, и вдруг страшный на меня кашель напал, вот уже несколько недель меня мучивший. А все-таки я заметил, как, наблюдая в подзорную трубу за нашим левым флангом, они сосали нижнюю губу, закусив ее зубами, будто хотели быстрее решение обстановки высосать. И тут, не отрывая глаз от подзорной трубы, ихнее превосходительство сказали: *Якоб, ты бы в сторону правого фланга кашлял: Тогда Разбойник решит, что у нас там гаубица с картечью, отвернет огонь от Харина и туда направит. И сразу же после того: Эй, гусарский резерв, ко мне! С шумом прискакали послед-*

ние сорок белых гусаров. Ихняя светлость схватили у меня из-под салфетки кусок жареной курицы и сказали: *Остальное, чтоб теплым было!* И с этой самой куриной ногой в зубах и саблей наголо прыгнули в седло и крикнули гусарам: «Ребятюшки, за мной!» Мы понеслись галопом с холма и — чудо это или нет — только теми самыми сорока гусарами, из которых пятнадцать при этом убито было, — нанесли правому флангу Разбойника удар такой силы, какой был нужен, чтобы сломить его фронт и вынудить к отступлению. И такое было не раз, и так каждый день, как я вам в свое время про это достаточно писал. Но тогда случилось, об чем тоже вы знаете, что, когда мы уже окончательно Разбойника разбили, его собственные оставшиеся товарищи сами его схватили (чтобы его шкурой себе кару полегче купить) и передали в руки генерал-поручика Суворова. И я хорошо помню, что они сделали, когда узнали, что командование корпусом им приказано вовсе передать Суворову и что ему надлежит заключенного Разбойника в Москву конвоировать. Они молча с минуту постояли у засиженного мухами окна в помещении нашего штаба в Царицыне и внимательно наблюдали, как во дворе старый гусак старался брюхом улечься в маленькую лужицу воды, блестящую среди грязи. Потом ихнее превосходительство сказали майору, который доставил донесение: *Можно идти!* И когда майор вышел, приказали: *Якоб, принеси два стакана и бутылку можжевелевой водки. Сам знаешь.* Наполнили оба стакана, своей рукой один подали мне и сказали: *Выпьем, Якоб. Пусть он будет тюремщиком Пугачева. А мы — победители Пугачева!*

О господи! Времени уже больше десяти, а мне в час на ногах быть, чтобы все приготовить уснуть...

4

Радостно быть в движении!

Хорошо, что я велел Иоахима сзади к саням привязать!

Но, но, но-о! Что ты, спишь, что ли? В зубах полно овса, а ленишься! Ах вот как! Еще зыркаешь на меня круглым глазом сквозь гриву! Не смотри на меня! Я тебя не обижаю. Но-о! По-о-шел, пошел, пошел! Так, так,

копыта уже не вязнут в снегу. Ну, теперь гони во весь дух! Но-о! Давай! *Gegadeaus! Galoppade!*¹ Лети! Туда, к горизонту. Да, да, да-а! Прибавь ходу, чтобы ушами пряссть некогда было! Радостно быть в движении!

Тащиться в саях с этим сонным Якобом — скука смертная! Двинем прямо, мы объедем Пайде прежде, чем Якоб догонит нас!

Какой унылый предрассветный час. А как прекрасно — все еще прекрасно, когда при быстрой скачке холод вдруг пронзит шубу и ёкнет сердце. Небо зелено-вато-серое. Как в то декабрьское утро под Позеном в семьдесят третьем, когда мне принесли приказ повернуть дула и идти на восток, все на восток, на восток...

Иоаким, держи прямо! Туда, на шпиль Козеской церкви и на соломенные крыши села. Потом будет Паункюла, Арду, Ныммкюла, Поято²... Какое дьявольское название. Но я-то ведь туда не поеду. Я направлюсь мимо новой церкви Анны, через город Пайде. Нам нет дела до деревни Поято... Ха-ха-ха-ха... Мы еще это докажем...

Какое-то поле там справа тянется до самого горизонта. Это — белое болото, оно кажется серым. А теперь там впереди занимается заря. Облака, как густой клубящийся дым артиллерийской стрельбы. А заря все пламенеет. Краснота разливается. Зарево растет. Прямо как пожар в Казани... Как в тот раз, когда они сказали, что я намеренно дал Пугачеву время полностью разграбить город, чтобы большей была добыча, которую я заграбастаю у него... Образ мыслей лизоблюдов... Тпруу! Здесь сугробы уже во всю ширину дороги. Иоаким, ты что, уже по самое брюхо увяз? Тяни, тяни! Вылезешь. Это из-за того, что здесь кладбищенская стена, сугробы такие высокие. Сможет ли Якоб за нами проехать? Сможет. Раз приказано. Ну что? Уже по грудь? Эй! Иоаким! Держи правее! Правее! Знаешь, что мы сделаем? Знает. Отлично знает! Вот именно! Теперь: *Saute! Saute!* Прыгай! Молодец! Вот мы и на стене. Что ты дрожишь, дурачок? Это ведь я тебя похвалил! Теперь пойдем вдоль сугроба по верху стены. Ха-ха-ха-ха! Крестьяне придут завтра в церковь и увидят: черт

¹ Прямо! (нем.) Галопом! (франц.)

² *Pojatu* (эст.) — бессыновная.

скакал по стене кладбища... Несомненно... Мужик во всякую ерунду верит. Ведь он верил, что Пугачев — Петр Третий. Это Емельян-то... Ему достаточно было раскрыть рот, чтобы и слепой понял — мужик. А мужик верил — император. Впрочем, какая там в сущности разница, мужик или император — мужик или генерал... Кроме того, разве русский мужик на самом деле верил слуху, что Пугачев — император? Едва ли. Верил настолько, насколько это нужно было его совести. Ни на йоту больше. Разве мужик на самом деле вообще во что-нибудь верит? Эх! Эстонский крестьянин там в этих рассыпанных по снегу деревнях под соломенными крышами, из которых, как кости, торчат стропила. Разве он верит? В то, что ему надлежит тянуть барщину на своего господина помещика и проливать кровь за государыню-императрицу, и тогда возлюбленный Иисус Христос отведет его за руку прямо в рай? Ха-ха-ха-ха. Во что он верит? В своих волов, на которых пашет. И в то, что у помещиков нужно воровать сколько сможешь, иначе не проживешь. Во что еще? По правде говоря: я и сам не знаю. Теперь я мало что о нем знаю. Давно я уже ничего о нем не знаю. В мой полк он попадает очень редко. Только случайно я узнаю, что был здешний человек. Когда нахожу его имя в списках убитых или околевших от холеры. Кроме того, ведь я — его помещик. Там, в Рыуге. Что может знать о нем его помещик? А все остальное?.. Честно говоря, а б ы в а е т с я... Ну, сегодня мы немного освежим это в памяти. Да. Но это, конечно, не то. И не может быть тем. Тпруу! Что за люди идут навстречу? Сколько их? Трое, четверо, пятеро? Пепельные тени на сером снегу. Крестьяне. В полушубках, в шапках с потертым лисьим околышем. С трудом выгаскивают ноги из сугробов. Один как-то странно впереди, остальные — сзади. И у одного из четвертых, идущих позади, на плече охотничий самопал. А, по-видимому, все ясно. Но все-таки. Любопытства ради.

Стой! Что вы за люди?

Только еще завидя меня, они почти остановились. Теперь четверо задних сняли шапки. Они снимают и с пятого, переднего, оставшегося в шапке. Стоят в сугробах и смотрят на меня. Не каждый же день увидишь на рассвете, как скачет призрак в шубе и треугольной

шляпе с генеральским плюмажем... Ветер сдувает снег с гребней сугробов и несет его по земле. Пять заросших щетиной лиц одинаково серые. Но уже настолько день, что я вижу, как сверкают белки их глаз. И настолько еще сумеречно, что порывы ветра, сильнее чем днем, доносят вонь дыма и пота от их одежды. Это мне неприятно. Мы с Иоахимом огибаем их на треть круга. Теперь ветер им в лицо несет запах моего хорошо вычищенного Иоахима, и запах ваксы от моих сапог, мыла, которым я брился, и утреннего кофе. И запах геновера, я только что отхлебнул из хрустального флакона, который храню в кармане седла, поскольку дует холодный ветер, а я вспотел.

Ну? Что за люди?

Господин Хатмейстера из Паункюла. По распоряжению управляющего. Беглый. К вечеру должны доставить его в Вайдаскую полицию.

Беглый. Конечно. Страна полна беглых крестьян. Так что поместьям, расположенным у большой дороги, беда с обязанностью их конвоировать. Не видно, чтобы этот беглый чем-то отличался от других. Я прищипориваю Иоахима и подъезжаю к нему совсем вплотную. Насколько близко, что он на шаг отстывает.

Высокий двадцатилетний парень с аккуратно подстриженными рыжеватыми волосами. Светло-серые мрачные, слегка навывкате глаза, в которых равнодушие и любопытство ведут между собой молчаливую борьбу. Руки в кандалах. Так что он не может сунуть их в рукава, чтобы согреть. Суставы пальцев посинели от холода.

Как тебя зовут?

Иона.

Чей ты?

Господин Дуборга.

(Не знаю, кто это.)

Я смотрю ему в глаза. В светло-серых глазах — замешательство. Это понятно. Но в них еще и упрямство. Какое-то заклятое холодное упрямство. Или это отражение серого леса и белого поля. Во всяком случае меня это раздражает. Я снова взглянул на синие от холода суставы.

Эй! Вы, там! Кто за него отвечает? Он отморожит себе руки! Болваны! Вы доставите его с отморожен-

ными руками. Какой от него прок будет хозяину? Кто отвечает — марш вперед! Крестьянин с охотничьим самопалом выходит вперед.

Сними с шеи тряпку и замотай ему руки! Быстро! Сначала тот не понимает. Потом понял и торопливо, но неуклюже стал выполнять приказание, так что это длится долго. Его торопливая медлительность злит меня. Я самому себе действую на нервы.

Отойти дальше! Всем четверым! Хочу с ним говорить!

Крестьяне отходят от беглого на пять шагов.

Еще дальше!

Отходят еще на пять шагов.

По правде говоря, мне и самому неясно, что я замышляю. Но у этого парня наверняка такое же лицо, как у одного другого парня. Одного парня... который никогда не существовал... Лицо одного парня, который давно...

Иона, ты хотел сбежать?

Я и сбежал.

Чертов парень. Он стоит того, чтобы дать ему по морде. Конечно, он не солдат моего полка. Ему не положено стоять передо мной во фронт. Впрочем, он ведь почти что так и стоит. Но его ответ, это просто наглость. Почему-то мне становится смешно: ха-ха-ха-ха!

Ха-ха-ха-ха! Далеко же ты ушел. Не правда ли? Давно бежал?

С неделю.

Хм. Мне все еще неясно, что мне с ним делать. И вдруг я понял. Точно. Johann von Michelsonen. Generalmajor und Ritter может это себе позволить. Если уж он может себе позволить такое, что он позволит себе сегодня вечером. По сравнению с тем то, что произойдет сейчас, совершенная ерунда. (Вообще необходимо — взвешивать, что мы можем себе позволить. Несомненно. Но тогда нужно и делать. Именно. «Ce Michelson, c'est un paysan sans manières. Et plein des idées extravagantes»¹.) Я уже отстегнул карман седла. У меня уже открыт bloc-notes на чистой странице. Уже в руке графитовая палочка.

¹ Этот Микельсон — невоспитанный мужик. У него вечно какие-то экстравагантные идеи (франц.).

Иона, я напишу твоим конвоирам свидетельство о доставке рекрута. Они отнесут ее своему Хагемейстеру в Паункюла. Понимаешь. Надень шапку, не то уши занесет снегом. (Он надевает шапку обеими скованными руками.) А ты пойдешь со мной. Я сделаю тебя солдатом своего конного лейб-гвардейского полка.

Он смотрит на меня во все свои светло-серые глаза. Ваше превосходительство... Я не хочу.

Ей-богу, я ошеломлен. Он, видимо, просто глуп. Но нет. Я вижу его потемневшие, сузившиеся глаза, он хорошо понимает, что он сказал.

Ах вот как, черт тебя дернул?! Ты лучше хочешь, чтобы тебя отвели обратно?..

На половине фразы я замечаю, что уже кричу на него. Меня берет злость и на крике я заканчиваю фразу:

...получить порку и дальше батрачить на своего господина?

*Hochgeboren befahlen die Leute sich zu entfernen. Aber jetzt hören sie uns doch. Wollen Hochgeboren vielleicht Deutsch sprechen!*¹

Теперь этот молокосос предписывает мне, на каком языке говорить! На языке, который, во всяком случае, больше мой, чем его. И я спрашиваю его нарочно громко и нарочно на местном языке:

Кто ты? Откуда?

Я из школы господина Дуборга.

Что это за школа?

Господин Дуборг — таллинский советник и камергер. Ваше превосходительство не слышали? Он скупает способных к музыке мальчиков. Посылает их в город учиться у капельмейстера и скрипачей в театре. И потом продает в десять раз дороже.

И ты там учился?

Восемь лет.

А теперь?

Теперь господин Дуборг хотел продать меня герцогине Кингстон.

(А, эта скандальная английская старуха, с которой

¹ Ваше превосходительство, прикажите людям отойти. Они ведь слышат нас. Может быть, ваше превосходительство желали бы говорить по-немецки? (нем.)

у Кати недавно завелась какая-то дружба. И где-то здесь ее поместье... Так, так, так. Ваоское поместье.)

А ты не хотел играть для герцогини?

Нет.

И куда же ты собирался идти?

Куда-нибудь, где бы я мог играть. Без того, чтобы меня покупали и продавали.

Хм. В Санкт-Петербурге?

Нет. В Русской империи меня повсюду выдали бы господину Дуборгу. В газете уже есть объявление о розыске.

Куда же?

Я хотел — за море. Но море уже замерзло и корабли больше не ходят. Я пошел в сторону Риги.

Теперь пойдешь в Санкт-Петербург, я назначу тебя в дивизионный оркестр. Ясно. Если господин Дуборг придет тебя требовать, — ого! — ты так сыграешь ему на барабане, что его мороз продерет по коже.

Ваше превосходительство, на барабане я не умею.

На чем же ты играешь?

На флейте. В дивизионном оркестре флейты нет.

Ветер сдувает снег с гребней сугробов и несет его по земле.

Черт! Я чувствую, что этот парень ускользает из моих рук. Я чувствую, что этот парень и не был в моих руках. (Иона, которого изрыгнул кит. Кит, которого Иона...) Парень, как камень. Как камень, говорящий тихим голосом. Он свободен. Он пойдет к своему Дуборгу и получит порку. Он свободен. Он не хочет того, что я ему предлагаю. Оскорбление, о котором было бы страшно даже подумать, если бы это не было крестьянской тупостью. Не могу же я его просить, черт подери, Иона, послушайся меня. Иона, ну что тебе стоит? Если ты восемь лет учился! Если у тебя есть хоть какие-то способности, перейди на фанфары! Это же проще простого. Станешь фанфаристом. Унтер-офицером. Капельмейстером. Почему бы и нет! Если у тебя есть способности. Если есть усердие. Беспощадное усердие одаренного крестьянского парня. В армии — уважают только дельных. Да-а. Я-то это знаю. Найдешь какого-нибудь барана-майора, идущего на пенсию, он тебя усыновит: получишь фамилию — и поручик готов! Все дороги открыты!.. Не могу же я просить тебя... Конеч-

но, я могу приказать этому мужику с самопалом сунуть руку за пазуху, вытащить ключ и снять наручники. Можно быть абсолютно уверенным, что мое приказание будет выполнено беспрекословно. Я могу сказать: отпустить беглеца! Конечно, они его отпустят. До тех пор, пока я буду виден. А потом они пойдут за ним и задержат снова. Убоявшись порки. Потому что кто-то должен ее получить. Если не он, то, значит, они. Порка — это единственное, что всегда выдают сполна. Но и я не могу приказать им отпустить его. Даже если бы они не стали его ловить. И я не мог бы. Есть вещи, которые даже генерал-майор Михельсон не может себе позволить. Единственная возможность, пойти к господину Дуборгу и купить у него этого парня. В этом случае, конечно, за дважды десятикратную цену. И тогда дать ему вольную, иди ко всем чертям! Иди! Играй на своей флейте! Деньги у меня на это есть. Денег у меня хватит на десяток, на сотню таких покупок. Но, господи боже мой, я ведь в самом деле не для того здесь. Мне бы пришлось отказаться тогда от всего, что я задумал! Teufel dreitausendmal! ¹ Нет!

Я должен еще что-нибудь сказать ему...

Вытерли порку... Иона...

Еще что-нибудь сказать... Еще что-нибудь сказать...

Весной море вскроется... Следовать дальше! Марш!

5

Господи боже мой! Дорогой брат, милая невестка! Ну как же мне сразу все рассказать вам! Двадцать лет не видались... И ничегошеньки не умею сказать. Да, время это ни для кого не прошло даром... Стойте-ка, подойдите сюда к окну, я разгляжу вас получше... Да... все мы за это время изменились... будто в щелочной реке искупались... И, гляди, на одного она действует так, а на другого — эдак. Брат, ты ровно стал больше и вроде обмяк, будто время в себя всосал..., а ты, Сидония, ты позволишь, чтобы я звал тебя, как встарь, Сисси, правда ведь? ты худой стала, и будто пушком покрылась, как тот серого цвета камень или асбест, что я на Урале в горах видал...

¹ Три тысячи чертей! (нем.)

А я? Как ты сказала? Как размокшая в баркасе селедка? Ой, Сисси, Сисси, а язык у тебя, слава богу, совсем такой же, как прежде.

Однако товаров у вас в лавке как будто сильно побавилось и дом ваш куда теснее стал, вроде бы наполовину в землю ушел... Но пахнет в нем все так же. Пахнет, ей-богу, точно так же, только еще пуще... Эх, кабы мне раньше знать... Сегодня ночью в два часа понеслись мы при луне вниз с Таллинского Вышгорода. Они сами взяли в руки вожжи, как у нас частенько водится. И только когда у озера на Тарту свернули, они соизволили сказать: *Якоб, сегодня и ты увидишь своих.* И вот теперь у меня нет для вас даже самого маленького подарочка с собой... просто срам... после двадцати-то лет... И письмо, что я вам всю неделю писал, в Таллине в незаконченном виде в комнате для прислуги лежит, в комендантском доме... Потому что ихняя светлость все-таки сообразовали мне сказать, что сегодня вечером обратно в Таллине будем... И от Марты нет у меня для вас ни привета, ни гостинца... Кабы она знала, так если уж чего другого не послала, то непременно спекла бы страсть какое вкусное санкт-петербургское пирожное с корицей, которое зовут кёрдекозак — казачье сердце значит, и мне для вас с собой дала... хотя и от вас тут таллинские ресторации да кондитеры не так уж далеко. А моя жизнь вообще?.. Нет, я не жалуясь... я уже писал про это в том незаконченном письме... может, она временами немного и чудная моя жизнь — то княжеские дворцы, то цыганский шатер... Поскольку с нашим генералом ты ни за что в жизни не узнаешь, где завтра будешь... но зато скучно не бывает, как в ам здесь, по-моему, должно быть... Ой, дорогие, чего я только за эти двадцать лет не навидался! Ну да... но зато для вас опять всего двадцать минут... Генерал сказали: *Двадцать минут, пока здешние полковые кавалеристы наших лошадей сменят.* А теперь, видишь, они сидят, там в лавке за маленьким столиком, — сквозь это зеленоватое стекло хорошо видать — и свой еневер попивают, пока лошадей сменят, и уже смотрят на золотые часы с брильянтами (сама государыня подарила)... Ах, как мы сегодня ехали-то? Ну, да что там говорить. У нас Иоахим был к саням привязан... Где-то между Колу и Куремаа при-

казали остановиться и разом вскочили в седло. *Езжай за мной на Пайде!* — говорят. Они же никогда не выдерживают долгого в санях сидения. Я сказал, что, может, тогда встретимся здесь у вас в лавке, и они вихрем понеслись, так что только снег взметнулся. И я был уверен, что увидимся только здесь. Но через несколько десятков верст они вдруг прискакали обратно, и такое странное лицо у них было, будто в дороге что-то приключилось, но я не смог доведаться, потому что как раз в это время застрял в сугробах у кладбища Анны. Один бог знает, как мы оттуда смогли выбраться, засел я, во всяком случае, намертво. Лопаты у нас, само собой, были взяты, и я стал быстро раскидывать снег. Но на дороге я, поди, немного задремал и лошади так глубоко увязли, что одному мне там в снегу на два локтя глубиной невесть сколько времени потребовалось бы. Как только они подъехали, тут же спешились. Я, конечно, сказал, что побегу в церковное имение и приведу помощь — оттуда, туда-сюда — и версты не будет, но они сказали: *Справимся вдвоем!* — и приказали мне кидать направо, а сами стали другой лопатой кидать налево. И, нечистый дух, как начали они такими бешеными взмахами метать, так у меня несколько раз в левом боку колотье начиналось, и думал я — вот-вот задохнусь, но откидывать медленнее или брать поменьше зараз мне ведь не пристало! Ну да, через час для лошадей дорога была расчищена — не зря два человека лопатами так махали, что с обеих пот градом катился, потому что они, правду говоря, вспотели ничуть не меньше меня. И опять направились в эту сторону и сюда все ж таки добрались. Последние десять верст лесом впереди ехал воз Мяэского поместья с водкой, и дорога для нас была уже проезжей... Но, дорогие... то, что вы мне здесь о нашем генерале сказали, что здесь рассказывают... у меня даже вообще язык не поворачивается тут при вас это повторить... будто он... крестьянский сын *... Ой-ой-ой! — об этом я взаправду не советую вам громко дальше пересказывать... знаете, это ведь то же самое, как и то, о чем в Санкт-Петербурге шепчутся*, будто великий князь... наш великий князь Павел Петрович, ну... будто он вовсе не сын покойного императора Петра Третьего, так вот... будто наша теперешняя императри-

ца в ту пору, когда она еще супругой великого князя Петра была, в пятьдесят четвертом или около того мертвое дитя родила. И императрица Елизавета будто повелела тогда в чухонских деревнях разыскивать молодух и доставлять их вместе с дитяи мужеского полу во дворец кормилицами, вот так-то, и тогда приказали их всех к себе привести и среди всех младенцев одного выбрали и велели объявить его сыном великого князя... А ту чухонскую женщину — мать этого ублюдка, то есть значит — нашего великого князя, — будто вместе со всей семьей в Сибирь заслали и вслед за ними — весь тамошний народ из той деревни вместе с ихним пастырем... И деревню ту (это было под Ораниенбаумом в Санкт-Петербургской губернии) — даже всю пустую деревню как есть — приказано было совсем с лица земли стереть... Видите, о чем смеют шептаться... Да ведь это же одно бесстыдное вранье — а как же иначе! Только если бы вы нашего великого князя видели так близко, как я (наш генерал пользуется, так сказать, особой милостью великого князя), вы и сами поняли бы, что великий князь с его костлявым угловатым лицом и задранным курносым носом в этом смысле должен быть более сомнительным, чем наш генерал со своими — я скажу, ей-богу, царскими повадками... Вон поглядите сами, как он вынимает там из кармана свои часы с брильянтами — ну что?

Да, а теперь мне надобно сбегать поглядеть, может, лошади уже поданы...

6

Я сказал Якобу: достаточно, если твой брат и невестка только поздороваются со мной. Никакого прислуживания или суетни вокруг меня не нужно. Кусок хлеба. Масло. Хорошая копченая колбаса. Чашка крепкого кофе. Кое-что покрепче у меня есть с собой. Я хочу десять минут спокойно подумать. Все. Сейчас они там за стеклянной дверью, а я — здесь.

Да, странно. Я сам сказал: радостно быть в движении. Но для того чтобы абсолютно ясно, кристально ясно что-то продумать, мне нужно находиться в покое.

Пара жалких полок с мелким товаром. Немного мануфактуры. Немного бумаги. Мешочки. Кульки.

Банки и коробки с пряностями. С теми самыми, из-за которых у брата Якоба уже семь лет тянутся ужасная тяжба и споры с аптекарем Веделем. Этот Ведель будто бы утверждает, что в городе Пайде только он один имеет право продавать такой товар. (У каждого свои масштабы борьбы. Ясно.) Между полками — окно с четырьмя малюсенькими квадратами стекол. В каждом заснеженном стекле — чистый кружок. В четырех кружках — снег Риттергассе, утопанный людьми, лошадьми и собаками. И бревенчатая стена противоположного дома с навесом черепичной крыши в снегу.

Кристалльно ясно продумать, как мне это сделать. Какие достаточно веские слова я скажу им. Потому что ведь нельзя же все построить на крепкой можжевеловой водке и сладкой вишневой наливке. Кхм. И все должно прсизойти добровольно. Ни о каком, даже самом незначительном принуждении не может быть и речи. Одиннадцать. Еще добрый час пути. И потом — обратная дорога до Таллина. И так...

Черт подери! Подъезжают какие-то закрытые барские сани. Кучер спрыгивает с облучка и направляется в лавку. Отсюда из окна его уже не видно, какой-то лошадоподобный господин высовывает из окна саней свое лошадиное лицо и что-то кричит кучеру вслед.

Тири-тири-трилль!

Хорошо, чертовски хорошо человеку в своей крепости, в своей непроницаемой коже! Сейчас в лавке никого нет: кучер топчется за дверью. Брат Якоба не успел еще прийти из задней комнаты, лошадиное лицо отъехало с санями назад, все равно ведь ему лавка не видна — даже если бы он умел видеть сквозь мою кожу... Нет, нет, нет... Я бесследно запрячу это в себе. Глубоко, где-нибудь между желудком и печенью. Я решительно сдавлю это в бесконечно маленький комок. Я это совершенно уничтожу в себе и развею пыль по ветру. Этого не было. Этого н и к о г д а не было. Этого вошедшего в плоть трепета перед тем лошадиным лицом... Едва заметного, но все же трепета перед лошадиным лицом, которое напоминает Иоахима. При виде лица, в память о котором Иоахим и получил свое имя. При виде Иоахима фон Розена. Которого я уже тридцать лет не видел... Этого трепета где-то глубоко под наградами за спасение Русской

империи, трепета мальчика на побегушках... Нет! нет! А кучер, который под звон колокольчика входит в лавку,— это Лууду. Конечно неузнаваемо состарившийся. Но бесспорно он. Покорный взгляд прищуренных глаз. Не для всех, не всегда, но при входе в немецкую лавку уездного города он таков. И серо-бурая шапка лисьего меха. Волосы у него теперь такие же серо-бурые, их почти невозможно отличить от шапки, которую он снял, входя в лавку. Нет, меня он не видит. Я сижу заслоненный полками с товаром, как в редуте, и вижу его между штуками ситца. Шестидесятилетнего, высохшего, жилистого, подвижного, с кривым плечом. И тридцатилетнего. К вышестоящим старательного, такого же подвижного, с таким же кривым плечом... К нижестоящим — не из самых плохих этот Лууду... Вижу Лууду в конюшне и каретнике, среди седелок и ремней... на ногах порыжевшие и сношенные до дыр капитанские сапоги времен Северной войны, принадлежавшие старому господину Андреасу... Смежная дверь скрипнула. Брат Якоба идет за прилавок.

Aa, guten Tag!

Kuuten taak, kuuten taak! Прошу для господина Иоахима два фунта, ну, да все того же сушеного изюму. Погрызть в дорогу. Мы торопимся.

Брат Якоба подходит к полке, чтобы достать изюм.

Куда же господин Иоахим спешат?

Да в Таллин, куда еще. Приказано явиться. На чествование этого, ну, Михельсона, этого господина генерала.

Брат Якоба стоит наверху, на трехступенчатой лестнице, в руке у него бочонок с изюмом. Он обращается к Лууду. Но он не успевает достаточно быстро обернуться. И Лууду говорит:

Я смерть как хотел бы поглядеть на этого генерала близко. А что, это правда, что он — наш бывший...

Т с с с!

Брат Якоба чуть не валится вместе со своей лестницей. Но все-таки удерживает равновесие. А Лууду смотрит через плечо испуганными прищуренными глазами. Потому что он понимает, что-то не так. А я не могу дальше сдерживаться. Ха-ха-ха-ха-хаа! Это завоеватель Ларга, победитель Пулаского, поко-

ритель Пугачева не может сдержаться! Конечно, я справился бы с собой. Если бы было нужно. И как еще! Непроницаемо. Несокруσιμο. Молча. Я же в своем уме. Но сегодня у меня другая цель. Не отречься от самого себя. Нет! Я ставлю серебряную стопку с гевевером на стол. Я с шумом хлопаю по столу рукой с толстыми растопыренными пальцами (два огромных перстня: один брильянтовый — подарен великим князем, второй, с рубинами, — Григорием Потемкиным). Я кричу:

Здравствуй, Лууду!

Лууду отскакивает на три шага назад и оборачивается на мой голос. Он смотрит мне прямо в глаза. Его кривые ноги становятся в коленях еще более раскоряченными. Он втягивает голову в кривые плечи. Он впиивается мне в лицо глазами, будто двумя тоненькими гвоздиками.

...Иисусе Христе...

В первое мгновение он готов рассмеяться. Но тут же снова становится серьезным. И больше оттуда ничего не доносится. Я наполняю серебряную стопку гевевером.

На-ка, пропусти! Погода суровая. И Расскажи, как живет народ в Вяйнъярве. Тридцать лет не видал.

Он молчит. Я пододвигаю ему стопку на другой конец стола. Теперь он подходит к столу. Протягивает руку к стопке. Но он не сводит глаз с моего лица. Его рука ощупью находит стопку. Он берет ее со стола. И тогда быстро и невнятно, но слишком громко он произносит:

Здрасьте! За здоровье господина генерала.

Я снова наполняю стопку:

Опрокинь вторую!

Он берет стопку. Я спрашиваю:

Ну как, твоя Майе еще жива?

Жива...

Передай привет, когда домой вернешься. Молодой — славная была. Тридцать лет назад.

Он выпивает вторую стопку.

Господин Иоахим ждут... мне надо...

Уноси ноги!

Он пытается сделать нечто среднее между резким поклоном и отдаванием чести и, втясь, выходит из

лавки. А мне вдруг становится легко и весело. Так легко и весело, как будто все уже свершилось. Едва успели сани господина Розена проскрежетать мимо окна, как подъехал Якоб с моими. Я кладу золотой полуимпериал * рядом с пустой кофейной чашкой. Я машу рукой брату Якоба. Мне не хочется видеть, какое впечатление произвела на него моя встреча с Лууду. Я сажусь в сани. Хватаю вожжи, и оставшиеся полторы мили белая земля со свистом мчится мимо меня. Я проношусь через Палуское имение. Я сворачиваю налево. Я не думаю о том, что произошло со мной здесь, в этой роще, под этой склоненной ивой двадцать лет назад. Но я чувствую, что в моей памяти это живет. Якоб рядом со мной борется с дремотой. Он ничего об этом не знает. В тот раз его со мной не было. В то сентябрьское утро тысяча семьсот шестьдесят третьего года. Я ехал верхом оттуда в направлении Палу. Было уже больше шести. Солнце пылало у меня за спиной над Мюслерскими лесами. От росы вся зелень искрилась. Как-то волнующе. Как всегда в сентябре. Там, под этой ивой (которую я теперь миновал), впереди меня съехались господин Иоахим, который скакал справа, и палуский Мейендорф, скакавший слева. Они схватили мою лошадь под уздцы. Меня окружило несколько десятков егерей. Господин Иоахим сказал:

Ты никакой не офицер. Хоть на тебе и офицерский мундир. Ты, свинья, мой беглый холоп Иоханн. Я задерживаю тебя по праву помещика.

Прошло три, четыре, пять дьявольски долгих секунд, пока я ответил (наверно, это было моим самым важным в жизни тактическим решением, во всяком случае, самым трудным было не выхватить саблю, которая висела у меня на боку, и не отрубить эту лошадиную голову, к чему я был очень близок, или Мейендорфову брюкву с рыжими усами, чего я тоже не сделал, и ответить им именно так, как я ответил, с улыбкой, хотя, боюсь, что с побелевшим лицом):

Господа, я — майор ее императорского величества Екатерины Второй Астраханского гренадерского полка Иоханн Михельсон. Если господа сомневаются, пусть господа возьмут на себя труд в этом убедиться.

И они взяли на себя этот труд. Три недели я сидел в башне Германа в Пайде, где в то время находилась

городская тюрьма. Разумеется, фогт не имел права меня туда сажать. Но фогт был шавкой мяэского Штакельберга. А Штакельберг был друг-приятель господина Розена. Целых три недели. Но я нашел людей, которые доставили мое письмо в Санкт-Петербург и вручили его непосредственно в руки Григорию Орлову. Я знал его уже майором (это было не так давно — он тогда и года еще не был графом). Во всяком случае — бойкий и веселый парень. Через три убийственно долгие недели (что при нашем делопроизводстве было быстрее молнии) господин Розен получил из Санкт-Петербурга приказ: немедленно освободить задержанного майора. И кроме того, бумагу, гласившую, что господином Розеном в тысяча семьсот пятьдесят четвертом году в войска ее величества было поставлено одним рекрутом больше, чем значилось до сих пор...

Кустарник. Белые поля. За деревней Палу полчаса барахтаемся в сугробах и едем дальше на Куривере. И там, где низкие, засыпанные снегом, леса начинают спускаться к реке Пыхьяко, среди ольхового кустарника появляется заснеженная соломенная крыша и полосатая от снега бревенчатая стена лачуги.

Тпруу!

Та самая дверь. Все на тех же деревянных петлях дверь, из которой я в последний раз вышел... В то сентябрьское утро тысяча семьсот шестьдесят третьего года. Та самая дверь. Ее притолока достает мне как раз до Георгиевского креста. Должен признаться, я вдруг заторопился. Больше, чем хотел бы показать. Я настежь распахиваю скрипящую дверь. Я наклоняюсь. С клубами пара вхожу в темноту. В ботфортах с отворотами из медвежьего меха я иду по земляному полу, моя голова под самыми жердями, в клубящемся сером дыму. Из-за маленького стола у окна встает одна тень. Вторая, в свете очага, поворачивается в мою сторону. Я слышу — мой голос не дрогнул. Я чувствую — он близок к тому, чтобы задрожать.

Батюшка... Матушка...

На одно мгновение где-то глубоко в сознании возникает тревожный вопрос. Не стал ли этот язык, два слова в этом языке, за тридцать лет в моих устах чужими, не звучат ли они по-немецки резко или по-русски тягуче, так что мне было бы стыдно сказать их отцу и ма-

тери. Нет, нет... эти слова, во всяком случае, еще звучат, как прежде. Я обнимаю. Я быстро их обнимаю. Двух неуклюжих, остолбеневших, почти онемевших стариков, пахнувших дымом, потом и баннным веником.

...Господи помилуй... сын... Ты... Ж и в о й... Ты наверняка голодный... О, господи... У нас только пареная брюква... Но хлеб свежий. Да, свежий хлеб! Ведь поди уж где-то около сретенья господня в имении было слышать, будто ты в наши края собираешься. Только мы не чаяли, что ты под нашу кровлю заглянешь. И спасибо тебе за все, что ты присылал нам... Что ты говоришь, сын... как же это не стоит. Упаси боже, целых пять империалов каждый год... А чего тебе стоили наши вольные...

(...Батюшка... Матушка... Двадцать лет... Кто же я в сущности?)

...А скажи, они нынче-то не могут тебя больше в тюрьму посадить...

Ха-ха-ха-ха! Нынче — нет. Больше не могут. (Но кто же я в сущности?..) Да, да, чтобы и это сразу было сделано: это вам! Я сую им в руки маленький бархатный кошелек. В нем двадцать золотых империалов.

Двадцать лет. Двадцать золотых империалов. (Но кто же я в сущности?..) Что-то во мне обрывается. Неловко. Как по-библейски завеса в храме, разодралось надвое, сверху донизу. Как нательная рубашка. В шубе, в орденах, в шелковой сорочке — я наг. Я хочу освободиться от этого чувства. Я хочу направить свое внимание на что-то другое. Я громко кричу Якобу, чтобы он зашел.

Мой слуга Якоб. Знает и местный язык. Мой отец. Моя мать.

Интересно смотреть, как ведет себя Якоб. Мне известно, что он уже давно знает. Или, по крайней мере, — догадывается. Несомненно. Но то, что я сам его к этому допускаю, для него — знак огромного доверия. Его делают почти членом семьи. Не так ли? Пусть какая угодно семья, но ведь это семья его генерала.

Якоб кланяется. С убийственно серьезным лицом. Быстро. Низко. Отцу. Матери. И становится навытяжку.

Поставь бутылки на стол, Якоб. Матушка, принеси

несколько коновок! Да, и свою брюкву тоже подай, и хлеб! И тогда станем разговаривать.

Я вешаю шубу на крюк. Я быстро сажусь на низкий табурет, чтобы не задохнуться, у пола меньше дыма. Мне щиплет глаза. Я вижу угловатую скулу и острую бородку отца при свете открытого очага. И пылающие глаза матери под острым углом платка (будто под сводом церковного окна). Мать ставит на стол хлеб и брюкву. Якоб ставит на стол бутылки. Я наполняю можжевеловые коновки. Три — крепкой можжевеловой водкой, одну — сладкой вишневой наливкой.

...Господи, даже от этого сумасшедшего Павла Петровича я всегда добивался чего хотел. И от Кати, целеустремленность которой непрерывна, как змеиный след, а настроение изменчиво, как взмахи павлиньего хвоста. И от этой Кати, Господи, научи меня, как мне получить согласие отца и матери! На то, что я задумал!

7

Хорошие кони. Ей-богу! Задницы такие, аж шлепнуть охота. И бегут лихо, ровно легавые. Гонит их Юхан бессовестно. Хотя казенные, ну мне-то ведь только разок так и мчатся. А все-таки... И какие богатые да легкие сани. Только лежи да лети, заднице мягко, и дуй себе через зубы в нос хороший дух можжевеловки. А доски-то в санях как здорово пригнаны! И тоненькие какие, истинное чудо. Саници Рооснаского барина рядом с этими — хэ... что твоя ладья на Эмайыги... Та самая, что привозила всякое строительное добро в Пыльтсамаа, когда Рооснаский барин посылал меня к Лаувскому по плотницкой части. А я ведь столяр, да еще какой! Ну да... к резьбе-то меня и близко не подпустили, между нами говоря... Зато все стояла в коровнике замка — моя работа. И в телятнике, в дубильне, на стекольном да зеркальном заводе — половину скамей и наличников я делал. Дюже большое дело у этого Лаувского барина. А замо́к какой... Говорят, во всей северной Лифляндии другого такого не сыщешь. Наши Рооснаские господа хвалились, будто Пыльтсамаа, что твой Петергоф, что твой царский дворец, только размером поменьше будет. Да

так оно, конечно, и есть. Я сам ведь своими глазами видал. Зря не скажу. Да-а! Только хозяин-то всего этого огромного добра, этот самый Лаув, этот господин Вольдемар, ни больше, ни меньше, а всего-навсего майор. (Сейчас, говорят, со всеми своими фабриками, с обучением деревенского народа, да с газетами на местном языке почти что обанкротился.) А там кто сидит? Хе-хе-хе-хе... там на переднем сиденье, рядом с этим слугой, с этим Грау Якобом? А? Это мой малый! Да-а! Георгиевский крест на шее, огромный, о восьми углах пряник на груди, пуговицы, как господня молния, сверкают! Не майор, а генерал-майор, это побольше будет, чем все государынины майоришки вместе взятые! Уж он-то не обанкротится! А ведь знаю, кабы я сейчас обо всем этом не про себя думал, так что ни одна душа не слышит, а говорил бы вслух так, чтобы до ушей моей Мадли доходило, она бы вмиг меня обрезала: *чего ты загадешься-то старик?* А какого же черта я не имею полного права задаваться? Будто в самом деле не из-за чего! Во всем приходе нет другого человека, который сумел бы такого сына вырастить. Спросить бы Мадли, что, будто она сама этого не знает! Кабы не знала, так чего же у нее такое лицо сейчас здесь рядом со мной, ровно причащаться идет... Знает... Только гордость ей и заикнуться не позволяет. И акромья того, эта дурацкая женская забота... Как давеча: *А скажи, они нынче уже больше не могут тебя в тюрьму посадить?* Слушать противно такие бабьи разговоры! Где это слыхано, чтобы генерала в тюрьму сажали? Майора еще куда ни шло, можно и посадить. Редко, правда, но все же случается. Или еще скажем, ну, как его — да разве ихние дьявольские имена упомнишь, тех, что там высоко вокруг царского престола кружатся, да как же его, ага — этого лууньяского Мюнника*, ну дак это давно было, и так далее... Но генерал — это такая громадина, что его уже никто никогда в жизни в тюрьму не посадит. Если уж ему счастье привалило до генерала подняться. А в Юхане этот дух с самого начала был. От бога это. Само собой... А и я ведь сметливым парнем был. Помню, когда, бывало, быков мустъялаского господина пастора ходил пасти, кистер всегда говорил, что смотри, мол, генерал рогатого войска... Хе-хе-хе-хе. Гляди теперь-

то как оправдалось. Да мы ведь здесь в Ярвамаа тогда всего-то несколько лет жили, моему Юхану всего пятнадцать годочков сравнялось, и сперва старый Рооспасский барин взял его на побегушки к барчукам, все за его расторопность, да за то, что чистым ходил. Когда этот тонконогий господин Котлиб — ну, учитель молодых барчуков — мне на дороге в деревне повстречался (он уже выучился лопотать по-нашему), хлопнул он меня по плечу, постучал себя по лбу и сказал:

Юхан, у этого тфоево мальшика, у него прильянты ф колофа... И теперь мой Юхан через эти самые «прильянты» таким вот на всю Российскую империю известным человеком стал, что... И сегодняшней день его можно ставить на одну доску со всеми здешними господами. ...Ах ты, шельма!.. Сперва у меня с перепугу будто спину обожгло, когда он там у миски с брюквой сразу бухнул, что мне, мол, нужно по такому случаю вместе со старухой перед глазами всего ландтага явиться. Но когда он мне это дело за коновочками можжевеловки разъяснил (и какими коновочками!), тогда я понял. Ну что ж, раз надо, значит, надо. Требуют: покажи своих отца с матерью либо свидетельство об ихней смерти и чтобы с подписью пастора. Ну дак что ж это в самом-то деле, из-за того, что отец струхнул, мой сын не будет в барских списках! Что мало я в своей жизни перед разными господами спину гнул, от мустьялаского Штакельбера до Розенов и Лаувов с большой земли, тьфу!.. не говоря уже про то, что у меня за спиной сын был, перед которым все они теперь сами согнувшись стоят... Мадли, само собой, сказала: старик, не сходи с ума! Что, мол, она ни за что на свете на это не пойдет!.. Но тогда Юхан стал с ней так хорошо говорить, пододвинул к ней поближе коновочку с наливкой, Мадли пригубила, а Юхан ей все говорил и говорил в самое лицо гляючи, а потом что-то еще на ухо шептал, и, смотри, какое чудо случилось, Мадли сказала, что, мол, если уже непременно надо поехать, то куда же денешься. И тогда Юхан вытащил из кармана свои часы с дорогими камнями (государынины), поглядел на них, тут же вскочил и крикнул, что теперь самое время двинуться в дорогу, иначе мы запоздаем и вовсе все пойдет насмарку. Так и поехали в спешке, едва успели тулупы натянуть, да

варежки схватить, а сапоги свои, что к обедне жожу, так и не надел, и Маддины башмаки остались под кроватю. Вот мы и едем в постолах... Ну, да что с того? Будто господа, перед которыми мы должны Юхана своим сыном признать, прежде не видывали, что деревенский народ на ногах носит!

8

Радостно быть в движении!

Даже в санях. Когда сам правлю. Когда лошади это чувствуют. (Они это всегда чувствуют, впрочем, и люди тоже.) Когда вот так потуже натянешь. Когда поскрипывают оглобли четверика. Когда чувствуешь, как движения лошадиных лопаток через оглобли передаются саням. Когда за санями, стуча копытами, бежит Иоахим и громко дышит в маленькое заднее оконце. Когда четырех красивых лошадейпустишь впритруску, как говорят саалузеские мужики. Когда снег звенит под полозьями. Когда впереди цель.

Сумерки всасывают в себя белые леса. Странная синяя пыль... Сине-серая пыль в сухой степи, взвихренная маршем десятитысячного войска, оседающая, все поглощает. Под верхом саней темно. Я уже не вижу батюшкиных скул, раскрасневшихся от можжевелевой водки. И сжатого в кружок рта матушки. Я уже не могу теперь увидеть, что промелькнуло в глазах батюшки. Я уже не вижу, шевельнулся ли на самом деле безмолвный рот матушки. Было это насмешкой, или радостью, или гордостью, или сомнением? Слишком темно. Их лица уже не могут мне помочь. Если бы я спросил себя, что я в самом деле затеваю. Хорошо это или дурно? Кому от этого будет хорошо и кому — плохо? Значительно это или мелко?.. Но я себя не спрашиваю. Я ведь себя никогда не спрашивал. Я всегда следовал заманчивой идее. Или я сам сбиваю себя с толку? Ибо — какой же из меня мог быть тактик, если бы любая вздорная идея могла вызывать у меня течку? Про меня ведь говорят: *Ce Michelson, c'est un tacticien superbe*¹ (однако не припоминаю, чтобы даль-

¹ Этот Михельсон — великолепный тактик (франц.).

ше шло *mais un stratégiste misérable*¹...). Говорят — это значит определенные типы, которые меня не выносят, говорят (однако в высших кругах, ставших теперь моими, много ли тех, кто выносит друг друга, и кажется, внизу с этим обстояло, насколько помнится, лучше) — да, некоторые типы говорят даже, что я лукавая и хитрая лиса...^{*} Например, Гарновский, эта форменная сорока... По его словам, как мне передали, я не ладил с женой. И потом мы вдруг поладили. А почему? Да потому, будто, что в это время мадам Бенкендорф подружилась с великой княгиней. Да-а. А моя жена, будто бы, тоже подруга мадам Бенкендорф. И я, мол, только то и делаю, что посылаю жену в *Kränzchen madame Бенкендорф*. Чтобы таким способом стать своим человеком у великого князя... И что только благодаря этому наладились мои отношения с женой, только поэтому! А вовсе не потому, что жена родила мне сына.. Идиоты, как будто что-то всегда должно возникать или по той, или по другой причине. И никогда, как по той, так и по другой. Будто человек может быть только или расчетливым, или азартным, или дворянином, или мужиком... и так далее. ...В действительности же в одном всегда отражается другое. Как в зеркалах, стоящих одно напротив другого, там, в Катиных залах.. Постой-ка, как же это называется? Впервые услышал я это слово еще от Готлиба и запомнил его таким способом (чертово слово, до сих пор приходится тем же способом вспоминать...) Крот роет ход — рококо! Ха-ха-ха-хаа!.. Постыжение мира... А эти хижинки там, в сугробах, и хлева, и этот белый дом в пятнах под черепичной крышей с несколькими освещенными окнами — это должно быть Вайдаское поместье. Если это еще не Вайда, значит, мы опаздываем на наш спектакль. Да, это Вайда. И она наверняка уже там!.. Где-нибудь в подвале в доме управляющего... Сидит на корточках на трухлявой соломе, жует хлеб из отрубей и прихлебывает остывшую капустную похлебку... А я — *Johann von Michelsonen, Generalmajor und Ritter*, я в драгиваю, когда вспоминаю его. Какого черта, в самом деле?.. Последний глоток, что я отпил из флакона, ударил мне в голову. А ну, лошадки! Эгей! Когда

¹ Но плохой стратег... (франц.)

приедем в Таллин, голова у меня будет уже совершенно ясная... (Вжииуу — вжик! Вжииуу — вжик!) Абсолютно ясная. Но сейчас этот вопрос едет вместе со мною в санях. И я не могу вытолкать его в снег: кто же я в самом деле? Во имя чего я существую?.. Эти двое старичков за моей спиной, обутые в постолы (бесконечно свои и постыдно чужие), — мое начало. Крот роет ход (ха-ха-хаа!). Шелудивый мальчишка вгрызается в мир. Знания накапливались, как шиллинги, как марки, как копейки. Опыт (похвалы и подзатыльники старого господина Андреаса, да оплеухи молодого господина Андреаса, пинок господина Иоахима...). Опыт — как талеры, как рубли, как полу- и как полные импералы. Мир — страсть накопления. Открытие (не было ли это услышано каким-нибудь весенним утром в комнате барчуков из уст Готлиба?), что хорошее выполнение приказа означает освобождение от приказа... Ergo¹: карьера генерала на морали камердинера — не так ли? Касается это меня? Или это вообще так? Меняет ли масштаб суть дела? Непременно! Мой faculté de réagir², как это назвал Готлиб, дал мне государственный масштаб. Когда Потемкин обратил на это внимание и под мое командование дали корпус. Или это произошло все-таки... по совсем другим причинам? Именно так, как мне дали когда-то понять те, что шипят на меня, как змеи под забором? Что другом Потемкина был граф Брюс. Что этот самый Брюс был старым приятелем Иоахима Розена. Так что никто иной, а именно Иоахим Розен через Брюса подал Потемкину идею моего назначения. Чтобы отомстить сбежавшему и ставшему неуловимым холопу. Конечно, в надежде, что Пугачев разобьет меня в пух и прах. Зная, что тогда легко будет обвинить меня в бездарности, причина которой в том... черт его знает в чем... Зная, что если вопреки предположениям произойдет чудо, то душеителем русской «сволочи» окажется лифляндская «сволочь»... Конечно, мне приходилось трудно. Но я в этом не признавался. Я никогда в этом не признавался. Во всяком случае — другим. Себе самому — очень редко, только когда скакал во весь опор в темноте, на одно

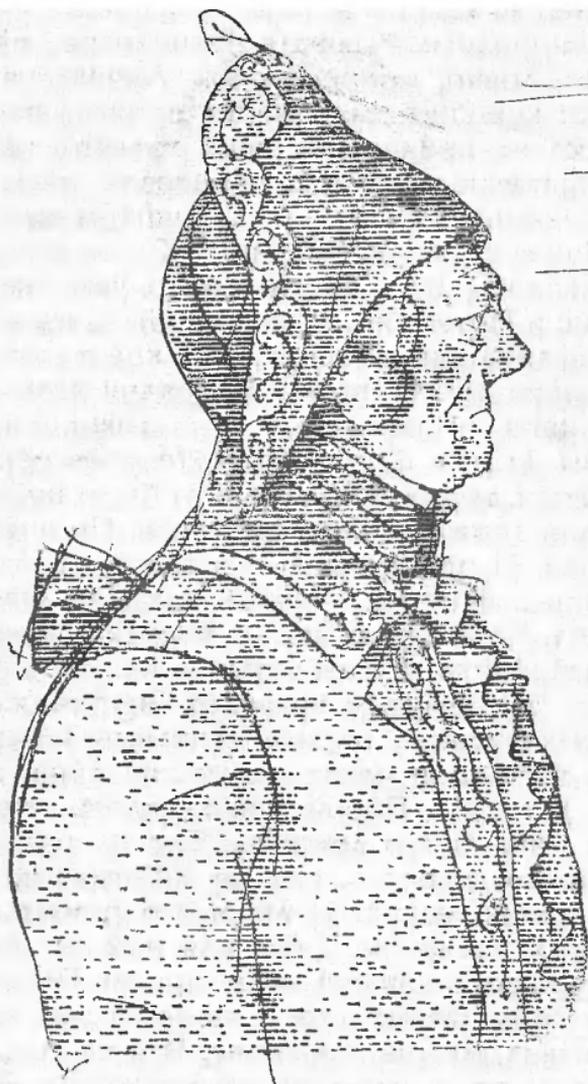
¹ Следовательно (лат.).

² Умение реагировать (франц.).

неуловимое мгновение. Тогда у меня была только одна философия — не философствовать. Выполнять приказ. Стремительно, ловко, молниеносно. Лучше, чем они ожидали. Ибо: хорошее выполнение приказа означает освобождение от приказа. У меня только один путь: через идеальное выполнение приказов подниматься над приказами! Вначале я был слишком ничтожен, чтобы не обожествлять повышение. Кроме того, я мог себе это позволить, потому что кое о чем знали только Розен, Брюс и Потемкин. А вообще было известно, что я — «из лифляндских дворян»... Да, кое о чем не предполагала ни одна душа, только благодаря этому и можно было говорить именно так, как говорилось: *Ce Michelson, c'est le type d'un aventuriste sans gêne!*. И моя забота о своих людях. Конечно, это было нужно для того, чтобы они держались и сражались. Но постепенно забота росла. И это бросалось в глаза, об этом стали поговаривать... Идиоты... Помню, как под Уфой, на поле Арса, под Казанью, повсюду я скакал среди убитых людей Разбойника. Я разглядывал их... борздатых, ненавидящих, застигнутых врасплох, испуганных, в рваных холщовых рубахах, окровавленных — замерзшие скрюченные трупы... и искал среди них лица, напоминавшие мне детство... Порой мне казалось, что у всех у них были лица моего детства... Так их растака! Что же мне оставалось делать, как не заботиться, по крайней мере, о своих людях. И люди это понимали, этим я заслужил их уважение. Хотя для них я был немец. Но (чего никто не знает), воюя против Пугачева, я стремился к тому, чтобы и он — ха-ха-ха-хаа, чтобы и он почувствовал ко мне уважение. И я не только победил его самого, но и завоевал его уважение. Это я знаю. (Признаюсь, скача во весь опор в темноте, на одно мгновение, я вдруг почувствовал: мое уважение к самому себе было все же не таким, как я бы того хотел...) Уважение Пугачева. Да. Я это знаю.

Я вел против него восемнадцать сражений. Но ни разу я не видел его самого. В Симбирске, во время следствия, я пошел к нему в кремль вместе с Руничем. Пугачев сидел на табурете в сыром холодном подвале. Посреди подвала. Сверху, из забранного решеткой ок-

¹ Этот Михельсон — это тип бесстыдного авантюриста (франц.).



на на его лицо падал свет. Четыре солдата днем и ночью несли караул. Когда я вошел, он встал... О нем впоследствии писали, будто во время ареста он потерял всякое достоинство. Ну, я думаю, хорошо было бы, если половина самых значительных людей, окажись они в его положении, сохранили бы большее чувство собственного достоинства. Половина самых значительных людей. В его положении. Я подошел к нему совсем вплотную и внимательно на него посмотрел. Господи боже! Если кому-нибудь, хоть кому-нибудь во всей им-



перии есть до него дело, то это мне! И он глядел на меня. Проницательными черными глазами. Слегка косящими. Из-под темных, остриженных под горшок волос. Я подумал: он на пять или шесть лет старше меня, а выглядит сейчас на двадцать лет страше. Но он несколько не был похож лицом на моего отца. Слава богу... Я спросил:

Емельян, ты меня знаешь?

Нет. Кто вы, ваше превосходительство?

Я — Михельсон.

Он вздрогнул. Побледнел. Опустил глаза. Он не сказал ни слова. Потом он поднял взгляд. С минуту мы смотрели друг на друга. Он не стал хвалить мою военную мудрость. Так, прямо в лицо. Как Панину он хвалил панинскую мудрость. Потому что со мной он был честен. Из уважения. Он ничего не сказал. И я молчал. Две «сволочи» смотрели одна другой в глаза. Долго. Так долго, что Рунич кашлянул. Рунич — потомственный дворянин и в недалеком будущем сенатор. Я отвернулся. Отошел и стал рассматривать заклепки обитых железом дверей. Я слышал, как Емельян вполголоса сказал охранникам: *Надо было попросить у него шубу. Все одно ведь он забрал их больше, чем может сносить.* Попроси он у меня прямо, я послал бы ему шубу.

Вжиуу — вжик! Опять метель поднялась. *Батюшка, тебе не холодно? А тебе, матушка?* Батюшка не отвечает. Батюшка задремал. *Глупости,—* говорит матушка, — *в тулупе из эдакого меха разве по такой погоде озябнешь.*

Вжиуу — вжик! Вжиууу — вжик! Мы мчимся в темноте вниз с Ласнамяги. Проносимся мимо богадельни. У Рижских ворот Вышгорода караульный офицер отдает честь, заметив промелькнувший белый генеральский плюмаж. Мы мчимся в гору и въезжаем прямо во двор фон Эссена. Батюшка проснулся. Матушка, известно, и не засыпала. Мы проходим через засыпанный снегом двор, через коридор, побеленный известью, в отведенные для меня покои.

Адъютант! Парадный мундир! Раз-два! Кучер, погать сменных лошадей! Раз-два-три! Мы немедленно едем дальше. Якоб остается и отдыхает.

Я распахиваю двери комнаты с серебряными лилиями. Я говорю батюшке и матушке: *Чувствуйте себя как дома!* С опозданием я понимаю, что в этом есть нечто ложное. А батюшка усаживается в угол затрепавшего под ним диванчика Людовика XV, достает трубку, огниво и кисет с доморощенным табаком. Я никак не пойму, где граница между его собственной смелостью и отвагой можжевелевой водки. А матушка осторожно садится подле батюшки. Поближе к батюшке, как она подседа бы к нему и дома. Этот едва заметный знак их совместности (хм!) меня даже трогает. Они глядят на

меня и осторожно осматриваются, постолы на турецком ковре, ступни в постолах почти внутрь... Батюшка разжигает трубку. Из-за вонючего синего облака раздается вопрос:

Что, уже штить надобно?

Немедленно.

Эка слешка с этим?..

Да, спешно.

Ну, а ежели они нас чего спросят?

Отвечайте гак, как есть.

...В точности как есть?

В точности Якоб! Одеваться!

Мы с Якобом выходим в соседнюю комнату. Якоб приносит большой фаянсовый таз ледяной воды. Я ополаскиваю все тело. Я надеваю свежую шелковую сорочку.

Придворный кафтан! Придворный шарф!

На грудь красную, шелковую, шестидюймовой ширины ленту! Придворные аксельбанты. Все ордена. Якоб помогает их прикрепить. Все ордена и звезды. Придворный парик. Слегка напудренный. Как на самые торжественные празднества во дворце.

Меняя парик, я вижу в зеркале свои коротко остриженные, с проседью волосы. И тут мне приходит в голову самое главное! А, может быть, и не самое главное. А все же.

Якоб, поди скажи кучеру: парадная упряжка. Я уверен, что он запряг в обычную. Распрячь лошадей! Сменить упряжь!

Якоб уходит. У меня есть еще три минуты. Я быстро перекидываю содержимое карманов в придворный мундир. Из левого потайного кармана вседневного кафтана я вынимаю маленький серебряный флакон. Я отворачиваю пробку, величиной с наперсток. Я наливаю полную пробку изумрудно-зеленой жидкости с легким запахом одеколона. Волшебная жидкость, которую я купил в прошлом году в Санкт-Петербурге у этого сицилийского графа*. Пять таких флаконов — двадцать пять империалов. Весь двор покупал. Вздор, конечно, что она дает вечную молодость (у самого графа было весьма увядшее лицо). Но глоток явно освежает и придает чувство уверенности в себе. Я выпиваю полную пробку. Мгновение я стою и прислушиваюсь, как

по всему телу разливается эта уверенность (воображаемая или подлинная, черт его знает). Затем наливаю пробку второй раз и иду с ней в смежную комнату.

Батюшка, на, выпей.

Батюшка пьет и разочарованно кривится.

Матушка, и ты тоже.

А я-то чего?

Быстро, быстро. От нее пьяной не будешь. А на сердце становится легко, когда нужно.

Матушка пьет.

Тьфу!.. Ровно твой овсяный кисель.

Так. Пошли.

Якоб вернулся с моей выдровой шубой. Я набрасываю шубу на плечи. Якоб идет со свечой впереди. Батюшка и матушка следом за ним. Я иду последним. Адъютант, поручик фон Толь, присоединяется к нам в коридоре. Тени колышутся на побеленных стенах. Караульный унтер-офицер становится во фрунт. Сани поданы к подъезду. Сверкает парадная упряжь, ветер раскачивает пламя свечей. Я усаживаю батюшку и матушку в сани.

До свидания, Якоб!

До с-с-свидания! Ввв-ппп-ввв... везут отца и мать в г-г-дворянское с-с-собрание?

Да. Я окажу дворянскому собранию эту честь.

Я сажусь в сани. Я выхватываю у кучера вожжи. Сани стремительно трогаются с места.

Радостно быть в движении!

9

Ну посуди сам, дорогой брат, зачем им это понадобилось? И так по свету судачат про разные ужасные дела (о чем я тебе еще в Пайде говорил). Так чего ради нам нужно было всякие пересуды, которые про нас ходят, так упрямо и подтверждать! Ну скажи, кому от этого прок будет? Все осталось бы на своем месте, как и было все эти тридцать лет: одни говорят, другие не говорят, а кто говорит, так говорит тихо и никогда никто ничего толком не знает, да некому и незачем больше-то знать. А мы... и разъясни мне, для чего? По

нашему нраву мы вовсе не из тех так называемых страдальцев за правду, кто просто стерпеть не может, чтоб какие-то дела, о которых он случаем узнал, до других ушей еще не дошли. Несмотря на все проделки, во всем, что касается правды, ихнее превосходительство — человек с крепким замком, иначе как бы могли они так высоко подняться и уважение заслужить. Потому что — ну да (как они теперь сами таким непонятным образом всему высокому обществу раструбили): они ведь не из тех счастливчиков (не знаю уж, может, иногда и вовсе несчастных), кто хлоп! так сразу и родился знатным, а что касемо уважения — то уж как придется. А ведь сами-то из тех, кому, чтобы высоко подняться, прежде высокое уважение заслужить требуется. А это весьма трудное дело, хотя в этом случае у кого большое упрямство есть, чтоб первый конец ухватить, тому, по большей части, и второй прибрать удастся, а в дальнейшем оба конца у того в руках. А вот что теперь с нами дальше будет, об этом я сейчас и думать не могу: ты ведь, дорогой брат, еще и половины дела не знаешь! Не только то, что они себе там, у тебя в лавке, со старым Лууду позволили! (Сисси все слыхала в дверную щелку и сразу ко мне на конюшню прибежала, где я лошадей в это время поил, и мне рассказала.) Ну пусть! Лууду и весь тамошний народ все одно думали, что хотели! Но они оттуда, из Пыхьяко, из дремучего леса, сюда, в Таллин, своих отца с матерью привезли и с собой на пир взяли, который дворянское собрание в ихнюю честь устраивает, где они сейчас вместе с ними и находятся. Значит, они вместе со своими — как бы это сказать! Ну скажу, как они сами говорят — со своими *батюшкой и матушкой* на торжестве в дворянском собрании находятся, а я тут наверху, в комнате для прислуги в комендантском доме, все еще это самое письмо пишу, которое, оттого что мы с места на место носимся, никак закончить не успеваю. Время от времени я встаю из-за своего колченогого стола, подхожу к окну, дышу на заросшее льдом стекло, прислушиваюсь и стараюсь разглядеть улицу, и все жду, что вот-вот услышу свист кнутов и визг саней, несущихся со стороны Домской церкви. Потому что все, кто едут из Дома дворянского собрания, должны мимо моего окошка через Дворцо-

вую площадь проехать, а они непременно скоро разъезжаться станут. Потому что никак это невозможно, чтобы наш предводитель дворянства да ландраты и именитые дворяне, графы, князья, бароны и их супруги, их сыновья и дочери, одним словом, крем нашего общества (как по-французски говорят) себе в лицо плевать позволили и такое бесстыдство стерпели, каким мы (прости господи нам нашу сумасшедшую проделку) их угощаем. И опять же я все спросить хочу — зачем? зачем? зачем? Разве нам того мало, что мы и сами точно знаем: им и без этого известно, что мы в деревенской лачуге родились, а они перед нашими блестящими заслугами и личным пожеланием государыни склоняются и делают вид, будто знать ничего не знают... Да, в своей любезности они даже так далеко идут, что готовы записать в своем матрикуле (который для них важней и святей, чем для евреев этот самый свиток, который, как я слышал, в синагоге в самом святом месте хранится и торой называется), они беспрекословно готовы записать всю эту чистую ложь, которую про нас официально говорить принято: что, мы, мол, сын шведского генерала фон Михельсона (какого вообще-то никогда и не было), и при этом еще умильное лицо делают!

Правда, я никак не пойму, как это мы могли вдруг до такой степени трезвого рассудка лишиться, что нам мало стало любезности высшего дворянства, и за их любезность мы им все равно как по морде дать захотели. Потому что такого мы себе раньше никогда не позволяли. Никогда в жизни. Конечно, разные проделки у нас было в обычае время от времени устраивать... как я вам уже про некоторые истории писал и еще могу написать... К примеру — мы могли предложить пьющей офицерской компании, уже более менее пьяной, а сами-то мы как всегда только чуток захмелевши были, могли предложить: давайте сядем на лошадей и будем состязаться!..

Я помню под Краковом мы устроили такую проделку весной семьдесят второго года. Мы находились вместе с несколькими офицерами нашего полка, где-то в имении на Рудаве и пили шампань муссэ, несколько корзин которого в подвале имения оказались, и вдруг ихнее превосходительство крикнули:

Господа! Предлагаю верхом доскакать до селения, вокруг церкви и обратно! Кому потребуется на это больше пяти минут, тот в виде штрафа должен каждому, кому потребовалось меньше, бутылку муссэ поставить и в седле проехать бродом через Ругаву! Согласны?

Конечно, все сразу закричали и зашумели, что согласны. А результат был таксй (прямо смех берет!), что они, один-единственный, получили двадцать семь бутылок муссэ и двадцать семь офицеров — разные Остен-Сакены и Розены и Штакельберги в том числе, — по уши были в речной грязи... Позже, когда наша слава наездника уже слишком известной стала, никто больше на такие шутки не попадался. Но тогда мы выдумывали новые проделки. Вот в том году я сам видал в нашем собственном доме в Санкт-Петербурге, как сорок развеселившихся господ, большей частью из лифляндских дворян — среди них генералы, сенаторы, графы — собственной рукой об стенку свои карманные часы швыряли (а серебряных среди них вовсе не было ни одних, все чистое золото да брильянты, того гляди, что некоторые, может, даже из платины), какие из них ломались, а какие и вовсе вдребезги — а мы подстрекали и смотрели, у кого самая точная рука... Сорок мужчин стали длинным рядом на лестнице в вестибюле и бросали часы плашмя по мраморному полу к стене., а до стены было семь или восемь сажен. Кто, из осторожности, кидал так тихо, что часы, не долетев до стены, среди пола останавливались, тому надо было снова бросать. Чьи часы, ударившись об стену, больше не тикали, тот из игры выбывал. После первого же броска пятнадцать или шестнадцать штук часов из игры выбыли: какие стали, какие сломались, половина и вовсе разбилась. И так далее. Последними остались играть генерал-поручик фон Гантвиг и они сами. На пятом или шестом броске игры вдвоем нервы фон Гантвига сдали, и он так разбил свои часы, что только звон пошел. Так что, само собой, победили они. Значит — кроме удовольствия от победы они ровно ничего не получили, а мне досталось весьма порядочно. Я выиграл в этой игре сто и тридцать рублей! Потому что многие господа себя утруждать не стали и свои разбитые часы так и оставили. А я рисовой метелкой подмел пол, собрал

поломанные футляры и колесики, и пружинки, и брильянты, и рубины, и осколки стекла, и на следующий день, с нашего дозволения и по нашему распоряжению, продал все это часовщику. Вот как... Но на проделке, какую мы сегодня учиняем, я ничегошеньки не заработаю, не говоря уже про их самих. У обоих у нас будет такой ужасный проигрыш, что в данный момент я еще по-настоящему себе этого и представить не могу. Во всяком случае, у меня все внутри застыло, и когда я дышу на стекло, то и свои пальцы стараюсь дыханием согреть, и это вовсе не только потому, что вода в моей камерке наверняка к утру льдом покроется, а потому еще, что и вокруг сердца у меня ледяная корка... Пойдите-ка! Уже слышно, как первые сани сверху едут...

10

Итак — сейчас мы поднимаемся по лестнице нашего дворянского собрания и идем в парадный зал. Ха-ха-ха-ха! Когда мы подъехали, из парадной двери выбежали пажы, чтобы отстегнуть полость. Другие в это время держали фонари. И я отчетливо видел, как они в недоумении отступили на три шага назад, когда я помог матушке, а адъютант — батюшке выбраться из саней... Само собой понятно, что они ничего не предприняли. Когда мы вошли в ярко освещенный вестибюль, нам навстречу с поклоном вышли два гардеробщика в ливреях, чтобы принять у нас шубы. Они замерли на половине поклона. Наш квартет производил такое впечатление, что они не решались ни закончить поклон, ни выпрямиться и застыть. Один успел прошипеть за моей спиной: «Фы, опорфанцы, кута?..» Взмахом перчатки я отстранил его, повернулся и помог матушке снять тулуп. Уверен, что это было впервые в ее жизни. Я прошептал ей на ухо: *Теперь слушайся меня и не обращай внимания!* — чтобы она поняла, чего я хочу, и не пугалась. В то же время адъютант помог снять тулуп батюшке. (С адъютантом я условился об этом еще в санях. Не зря же он третий год мой адъютант. Я почти что сделал из него человека.)

Я не стал утруждать себя наблюдением за тем, что происходило вокруг нас во время этой церемонии,

Я имею в виду лица пажей и слуг, которые сначала спешили нам навстречу, но затем останавливались на полпути. Я сам своей рукой подал этому министру в ливрее гардеробщика матушкин тулуп и взглянул старику в глаза. Конечно, тулуп он у меня взял. У него просто не было другого выхода. Своими длинными сухими пальцами в коричневых пятнах он с таким видом прикоснулся к старой, пропахшей дымом, землей и гумном овчине, будто это был клубок змей. Уже одно это мне было чертовски приятно видеть. А когда он понес тулуп на вешалку, то старался держать его подальше от себя, как бы он его не ужалил. (Правду говоря, когда я сам держал тулуп с таким видом, будто мне и в голову не приходит, что он может запачкать мне руки, то делал это намеренно, и это стоило мне известного усилия. К сожалению.) Но глаз старого гардеробщика мне так и не удалось увидеть. Ибо они были у него плотно зажмурены, и казалось, что он ходит во сне. Второй гардеробщик в это время проделал то же самое с батюшкиным тулупом, и теперь они, понимая кивая друг другу, поспешили к нам обратно: слава богу — это уже не похоже на кошмарный сон, это вполне отвечает их достоинству и привычкам — генерал, адъютант которого подает им выдровую шубу и треуголку с плюмажем...

А теперь мы шагаем по парадной лестнице в парадный зал. Ха-ха-ха-ха-ха! Наверху музыканты играют туш. (Не знаю, есть ли флейтист среди музыкантов, играющих туш?) Несколько дверей в зале открыты настежь. Несколько более молодых и любопытных гостей спешат к дверям. Я допускаю, что какой-то неясный слух о чем-то необычайном успел дойти до зала. Но я не смотрю на лица тех, кто стоит в дверях. Несколько кельнеров, нанятых на сегодняшний вечер из гостиницы «Stadt Hamburg»*, остановились и стоят на полдороге посреди зала со своими сервировочными столиками. При виде нас они вздрагивают. Я не смотрю на лица кельнеров. Мы шагаем по лестнице. Я иду впереди, чтобы избежать недоразумений. Могут подбежать какие-нибудь особо приверженные порядку слуги и вытолкать батюшку и матушку с лестницы. Поэтому я иду впереди. Для того чтобы все было совершенно ясно, до конца ясно, как железо и стекло, — я держу

своей правой рукой левую руку батюшки и левой рукой — правую руку матушки. (И еще для того, чтобы удержать их, если в последний момент они вздумали бы бежать от этого — я и сам знаю — отчаянного положения.) Мы поднимаемся по лестнице. Из всех моих атак — наше восхождение — самая медленная. Но не менее острая. Я шагаю посредине. Матушку и батюшку мне приходится слегка вести за собой. Они не делают попытки бежать, нет. Но я чувствую, что ноги их сопротивляются. Ступни в постолах с трудом переступают с одной ступени покрытой ковром лестницы на другую. Мне приходится их вести. Я шагаю в середине. Я похож на фрегат, буксирующий две немые плавучие батареи. Как фрегат, в кильватере которого идет огромный флот. С немыми пушками. В ожидании заряда. Против течения. Ей-богу, у меня такое чувство, будто я совершаю нечто замечательное. Я всегда был тщеславен. Господи, прости меня.

Мы уже на последней ступеньке. Я тащу батюшку и матушку за собой. В десяти шагах перед нами распахиваются обе створки центральной двери зала. Мне видны люстры в зале и стена, увешанная гербами: забрала, панцири, кивера, сабли, под гербами и люстрами — господин Мориц Энгельбрехт фон Курсель. Его красные, как рождественские яблоки, скулы краснее, чем обычно. Два ландрата стоят по обе руки от него, образуя полукруг. За ними виднеется пиршественный стол. Хрусталь. Вскочившие со своих мест мужчины. Даже поднявшиеся дамы. Пылающие декольте. Ордена на мундирах. Парики. Прически. Глаза. Мы переступаем порог. Мы стоим в зале. Туш неожиданно смолкает.

Er ist da!

Der Held ist angelangt!

Hoch! Hoch!

Tssss...

*Was ist los? Was ist los?*¹

Где-то на дальнем конце стола по ошибке раздаются и сразу смолкают аплодисменты. Мы видны не отовсюду. Господин фон Курсель уставился на нас остановившимися серыми глазами. Господин фон Курсель не знает, что сказать. В привычной обстановке воспитание

¹ Он прибыл! Герой уже здесь! Ура! Ура! Тсс... Что случилось? Что случилось? (нем.)

придает уверенность, а в непривычной — лишает ее. Уже в силу этого я выше их. Мне приходится напомнить господину Курселю, что он собирался что-то сказать. Я беру руководство в свои руки. Я говорю:

Господин предводитель, я предполагаю, что вы хотите мне что-нибудь сказать?

Господин предводитель все еще не знает, поверить ли в то, что привело его в ужас, или надеяться, что сия чаша его минует. Надежда помогает ему овладеть собой. В надежде он предлагает мне эту возможность. В отношении чаши. Он обращается ко мне с небольшой речью:

— *Высокопочтимый господин генерал! Позвольте приветствовать вас от имени дворянского собрания Эстляндии! Позвольте, в связи с вашим прибытием в этот зал, вручить вам (он берет у стоящего справа ландрата — я знаю, это имперский граф Бернхард Тизенхаузен — пергаментный свиток и разворачивает его) — позвольте вручить вам нижеследующую выписку из Матрикула эстляндского дворянства, в согласии с которой, по прямому повелению и личной воле нашей всемилостившей императрицы Екатерины Второй... (я слышу, как его голос становится громче, как слова «по прямому повелению и личной воле» он произносит с особым ударением. Это не угроза Нет. Это — намек. Но мне это и без того известно. Это меня не трогает. Я выше этого. Я смотрю в зал. Я смотрю на присутствующих. Я чувствую свое превосходство. Господи, да когда же мне быть в себе более уверенным, как не сейчас?! Я стискиваю кисть батюшкиной руки, я сжимаю руку матушки. Чтобы они не растерялись. Чтобы они принимали все так, как нужно. Щеками, бровями, плечами я чувствую действие волшебного напитка. Я ощущаю прилив сил. Я уверенно смотрю на мужчин в зале. Их новые, в начале этого года предписанные распоряжением *Statthalterschaft'a* * мундиры еще куда ни шло: голубая материя, синие полустоячие воротники, синие реверы, белая подкладка, белые жилеты, белые панталоны, белые подвязки, белые чулки. Ряды светлых металлических пуговиц. Пышный набор орденов. У них тоже! Ха-ха-ха-ха-ха! И все-таки в осанке большинства из них — высокомерная расхлябанность окаянных цивилистов. Но глаза их, как серые каменные ядра, что*

выглядывают из жерл старых пушек. Их испуг одновременно и злит, и смешит меня. Все именно так, как я и ожидал. Впрочем, я осматриваю зал и немного пугаюсь— это демонстрация. Демонстрация против меня, опередившая мою демонстрацию. Все мужчины, все, чье звание ниже моего или равно моему, в цивильном платье, или в этих проклятых цивильных мундирах (которые они и сами ненавидят, как символ нового правления, однако, ерго, ненавидят все же меньше, чем меня). Только на тех, чье звание выше моего, военные мундиры, то есть на трех генерал-лейтенантах, включая коменданта города Эссена и губернатора Гротенхельма *. Того самого, для визита к которому у меня сегодня утром не нашлось времени... Но когда же — ха-ха-ха-ха,— когда же мне быть более в себе уверенным, если не сейчас?! — — — в согласии с которой по прямому повелению и личной воле государыни императрицы Екатерины Второй сегодня, февраля восемнадцатого дня одна тысяча семьсот восемьдесят третьего года в Матрикул эстляндского дворянства записан генерал-майор Иоханн фон Михельсонен — — — (Я разглядываю присутствующих в зале женщин. Почтенные матроны и замужние дамы, молоденькие девушки и совсем юные, у которых так часто с самого рождения печать старой девы на лбу. Женщины, которые рано становятся седыми дряхлыми старухами. Женщины чаще всего деревянные, будто столовые часы. И девушек среди них так много неуклюжих, холодных, малокровных. Женщины, сестрам которых по воле моей странной судьбы мне самому пришлось делать детей. Моих законных детей. Конечно, здесь есть несколько девиц, смотреть на которых — одно удовольствие!) — *Генерал-майор Иоханн фон Михельсонен* — — — (Голос господина фон Курселя становится глубоким, проникновенным, доверительным, почти умоляющим — и он заканчивает.) — — — *генерал-майор Иоханн фон Михельсонен, достопочтенный сын Иоханна фон Михельсона, в прошлом генерал-майора шведской королевской армии.*

Я смеюсь. Не громко. Но так, что слышно: ха-ха-ха-ха-ха! Я выпускаю батюшкину руку. Я принимаю пергаментный свиток и, не взглянув на него, в то же мгновение, передаю его адъютанту, стоящему за моей спиной. Я снова беру батюшкину руку.

Благодарю вас, господа. С вашего любезного позволения я со своей стороны привел двоих гостей. Вот они: в недавнем прошлом крепостной господина фон Розена Юхан из Вайнъярвесского поместья, по теперешней вольной фамилии Михельсон, мой отец, и его жена Магдалина, которую принято называть Магли,— моя мать.

Воцаряется такое глубокое молчание, что мне приходится оставить руководство в своих руках. Я говорю:

Господин предводитель, господа ландраты, возьмите на себя труд представить нас присутствующим.

Я отпускаю батюшкину руку и обнимаю господина фон Курселя за плечи. Я поворачиваю его лицом к столу и тащу за нами матушку и батюшку. Я смотрю господину Курселю и сидящим за столом по очереди прямо в глаза. Улыбаясь, настойчиво улыбаясь. Я крепко сжимаю челюсти. Чтобы моя улыбка была возможно убедительнее. Чтобы и моя улыбка и я сам излучали магнетическую силу, которая, по мнению одного венского или парижского врача, таится в каждом человеке (как его звали, этого дьявола,— ага, Месмер!). Теперь я пытаюсь поймать взгляд губернатора Гротенхельма. Я смотрю на его слегка желтое, угловатое, умудренное житейским опытом и все же смущенное лицо. Я обхожу конец стола и направляюсь к нему. Батюшка взял матушку за руку. (Да, есть что-то сходное между стариками и детьми!)левой рукой я держу батюшкину правую руку, а правой показываю на господина фон Курселя. Какая-то дама на левой стороне стола пытается вскочить и взвизгивает: *Aber so etwas ist ja unerhört!* Ха-ха-ха-ха! Конечно, *ist so etwas unerhört*. (И конечно же, как всегда, самые худосочные оказываются самыми принципиальными!) Но супруг сажает ее обратно на стул и с хрипом говорит (уши у меня все еще как у жеребенка): *Emmi, ich bitte dich...*² И сразу же обращается к соседям, как бы с извинением: *Frauen... keine Ahnung von Staatsräson*³. Я спрашиваю себя: отчего это происходит, что женщины действуют свободнее, чем мужчины? Что именно мужчины в государственном

¹ Но это же неслыханно (нем.).

² Эмми, прошу тебя... (нем.)

³ Женщины... никакого представления о государственной мудрости (нем.).

смысле принадлежат к более умному (это значит — более раболепному) племени?! В то же время я не перестаю улыбаться и не отвожу своего взгляда от глаз господина Гротенхельма. И не теряю уверенности, что подчиню его своей воле. Господин Гротенхельм в частной жизни веселый старый холостяк. Сейчас по правую руку от него сидит восьмидесятилетняя матрона со злобным сморщенным лицом и фальшивыми волосами в сверкающем малиновом платье, старая госпожа Гротенхельм, мать губернатора (только недавно мне стало известно, что на самом деле мачеха). Я продвигаюсь вместе с господином фон Курселем, прихватив батюшку и матушку, по направлению к господину фон Гротенхельму. Глазами я неотрывно держу его взгляд и взглядом говорю ему: ты, ты сам на четверть швед и наполовину выходец из Померании, или кто ты там еще, ты, чей собственный род только тридцать лет, как внесен в здешний матрикул, ты, который еще не слишком испорчен здешней несправедливостью, ты, которого Катя назначила сюда губернатором, чтобы доказать просвещенный дух своего правления, ты, который вслед за Катей прочел этого милого старого дуралея, похвала которого доставила ей почти половое наслаждение, этого Вольтера и его сказку про равенство людей, ты понимаешь, что сейчас ты должен эту сказку сделать правдой, в одно мгновение, одним движением, во имя настоящего и будущего, во имя моего самолюбия, которое так велико, что любовь всего мира благодаря ему станет действительностью... Я подхожу к стулу старой дамы. Господин фон Курсель невнятно бормочет: *Madame, это генерал-майор фон Михельсон...* Я не понимаю, хочет ли он еще что-нибудь добавить. Я снова принимаю руководство на себя. Я беру обжигающе сухую, украшенную тремя золотыми кольцами и *Arm-band*'ом¹ руку старой дамы... *se pausan sans manières* — ха-ха-ха-ха! — беру руку старой дамы. Я заглядываю в ее колючие глаза, в которых черные зерна зрачков плавают в сером соусе любопытства. Я улыбаюсь ей. Мгновение. И снова стараюсь поймать взгляд господина Гротенхельма. Я держу руку старой дамы и говорю, глядя в глаза ее сыну: *Madame, je*

¹ Браслет (нем.).

*vous felicite de Monsieur notre lils, que est notre khoumir!*¹ Я держу сухую руку старой дамы. Я смотрю ее сыну в глаза и медленно склоняюсь в поклоне. И этот в четвертом поколении потомок волгастских крестьян, этот читавший Вольтера генерал-лейтенант, этот на самом деле толковый человек, этот по существу добрый малый (и этот знаток Катиных капризов, который и меня считает одним из них) сдается. В то время как я целую вымытую лавандовым мылом руку его матери, он берет в свою руку моей матушки. Он не кланяется так низко, как я. Ну что ж. Но он поднимает красную от мытья подошников матушкину руку на уровень своего ордена Святой Анны и прикасается к ней своими губернаторскими губами. Он спрашивает: *Que puisse traduire?*² Какой-то молодой господин выходит вперед. Совсем невзрачный, но юркий малый в чиновничьем мундире, он улыбается мне так приветливо, как будто он мой союзник по заговору, а глаза его говорят мне: великолепная сцена, она слишком хороша даже для самой лучшей комедии... (Впрочем, когда я потом спросил, кто этот малый, то мне сказали: молокосос из мещанского сословия, отъявленный карьерист, в должности всего только ассесора апелляционного суда, но в самом скором времени зять фон Эссена, да-а! Некий Аугуст Коцебу.*) А теперь губернатор говорит этому Коцебу: *Alors—transmettez à Madame Michelson de ma part fidèlement les mêmes mots, donts son illustre fils a félicité ma mère. A l'adresse de Madame ils ne seront pas moins, ils seront plus à leur place*³.

Аплодисменты встречают приближение губернатора. Аплодисменты нарастают не сразу, но все же быстро и уверенно и победоносно охватывают весь стол. Какая это великолепная вещь — светская приспособляемость! Ха-ха-ха-ха! Мне приходит на память: в

¹ Мадам, я поздравляю вас с таким сыном, мы считаем его своим кумиром. (Кстати, русское слово кумир, употребленное во французской фразе, свидетельствует, в какой степени Михельсон владел как русским, так и французским языком.)

² Кто бы мог перевести? (франц.)

³ Итак, передайте от меня мадам Михельсон те же самые слова, которыми ее знаменитый сын поздравил мою мать. По отношению к госпоже Михельсон они не в меньшей, а в еще большей степени уместны (франц.).

Пруссии, в Кенигсберге жил какой-то чудак * (вращаясь при дворе, всякого вздора наслушаешься), который, говорят, написал множество книг и по его вечерней прогулке жители города сверяли свои часы. Он будто бы сказал, что высшая степень приспособляемости и есть то, что отличает человека от животного... (А также в большинстве случаев, но не всегда, не всегда — офицера от солдата, это уже говорю я.) Аплодисменты стихают. Господин фон Курсель снова становится слышен. Ох, как молодо звучит его голос. Он представляет нас супругам ландратов, своей собственной супруге. И еще какой-то дюжине серьезных важных личностей. Это становится утомительно. Для батюшки и матушки наверняка еще больше, чем для меня. Но ведь я именно тот, кому надлежит их немножко расшевелить, а они именно те, кого следует расшевелить.

Ах, фаш син?

Наш сын, ага.

Wunderbar¹...

Какой Held!

Чего? Ох, да он, когда еще гусей пасти ходил, ловкий был, ровно брючная пуговка.

Hochinteressant²...

Однако хватит.

Merci, Mesdames! Merci, Messieurs! Quelle délicatesse! O-là-là!

Хватит. Мы садимся за стол. На почетное место, между Гротенхельмом и предводителем. В брюхе у меня совершенно пусто. Признаюсь: у меня гудят колени, а немного повыше в ляжках приятная боль расслабленности после минувшего волнения и напряжения. Точно такая, какая бывает после рискованной конной атаки. За моей спиной и за спинами стариков начинают суетиться кельнеры из «Stadt Hamburg». Нам подают тосты с лососьей икрой, жаркое из оленины и тушеные в уксусе яблоки. Ну, это, конечно, не потемкинский ужин. Но все же неплохо. Весьма даже неплохо. Адъютант заботится о стариках. Я ведь уже сказал, что условился с ним. И что за два с половиной года сделал из

¹ Чудесно (нем.).

² Чрезвычайно интересно (нем.).

³ Благодарю вас, дамы и господа. Как любезно... (франц.)

него стоящего парня. Иногда это и из фон Толей можно сделать. Мы запиваем великолепным chambertin'ом. Не нужно беспокоиться, что бабушке оно слишком понравится. Кроме того, рядом с ним матушка. Видно, что он старается почувствовать себя человеком. Бедный старик, прости меня! Он достает свою трубочку, кiset с самосадам и огниво. Граф Штенбок поспешно предлагает ему сигару, думая, очевидно, пусть уж мужик курит в присутствии дам, только не чадит так ужасно, но он отрицательно качает головой и разжигает свою трубку. Ха-ха-ха-ха-ха! Мне хочется похлопать его по плечу. Я оставляю его на попечение матушки, адъютанта и кашляющих ландратов. Я встаю и направляюсь к левому концу стола.

Быть может, мой триумф немного вскружил мне голову. Вполне может быть. Я выпил полтора стакана chambertin'a. Я никогда не пью больше. Я всю жизнь был совершенно трезвым. Все скоро уже пятьдесят лет. Не считая отдельных минут. Рядом со сладкой девочкой, ночью, в постели. Отдельные, редкие минуты. Но сейчас я совсем не уверен, что трезв. Потому что точно не знаю, чего я хочу. А господь так странно снисходит до меня и до моих неясных намерений. Мне даже как-то боязно хвататься за это снисхождение. И все-таки я за него хватаюсь. Хотя понимаю, что совсем неизвестно, к чему это приведет. Когда я иду к левому концу стола, я затылком чувствую направленные на меня взгляды половины сидящего за столом общества. Я вижу, что за столом сидит в прошлом мой однополчанин — ротмистр Карл Адольф фон Рамм. Веселый, ленивый веснушчатый падишеский Рамм. На спинке его стула висит знаменитая раммовская трость — позор и гордость рода Раммов (мне вдруг показалось, что это относится и ко многим другим), но еще того больше — их корысть. Та самая индийская бамбуковая трость, история которой здесь, в зале, никому не известна. Трость Петра Первого. Которой шестьдесят лет тому назад Петр Первый высек в Падишеском имени деда Карла фон Рамма — Рейнхольда. За что — об этом никогда не говорилось (да и смысла нет говорить, поскольку речь идет о царской порке). Трость, которой Петр, во всяком случае, так высек старого Рамма, что ему самому стало настолько не по себе, что, еще не опустив

трость, Петр спросил, что он мог бы сделать для господина Рамма. И господин Рамм (опустившись, говорят, на правое колено) попросил эту трость себе в качестве прощального подарка. Порка и коленопреклонение, за счет которых Раммы вошли в число семей, пользующихся наибольшим доверием царского двора... Та самая трость. Я пожимаю Карлу руку. *Ну, хороший спектакль ты нам сегодня устроил...* Я снимаю трость со спинки его стула. *Карл, я возьму ее на пять минут. И сразу направляюсь к господину фон Розену.*

Господин Розен неотступно следит за моим приближением. Теперь он встает. Не с тем достоинством, с каким встал Пугачев, когда я приходил к нему в подвал в Симбирском кремле. Рывком, испуганно. Кстати, почему он вообще-то пришел сегодня сюда? Приказали, как сказал Лууду? Глупости. Пригласили? Ну, хорошо. Но никто не мог его обязать. Он здесь добровольно. Может быть, он приехал, чтобы спастись от насмешек своего брата Андреаса, когда тот вернется из-за границы,— этого вечного брюзги: *Ах, звали, но ты, известно, не посмел пойти!* Может быть, он пришел для того, чтобы себе самому доказать, что капитан фон Розен не избегает встреч с генералом, которому он давал пинки? Потому что тот, кто был у него на побегушках, навсегда останется ниже его. Или, может быть, его заставило прийти слепое высокомерие? Во всяком случае, господин Иоахим фон Розен встает. Его длинное серое лошадиное лицо неподвижно. Так неподвижно, что я начинаю сомневаться, в самом ли деле он встал так растерянно, как мне вначале показалось. Не рано ли я обрадовался его растерянности? Я стою перед господином Розеном. В пятьдесят третьем, когда, приехав вместе с господами Андреасом и Иоахимом в Санкт-Петербург, я сбежал от них и оставил их без слуги, сам на полгода попал в цирк. Это до того, как завербоваться на прусскую войну. За полгода смысленный малый может в цирке такому выучиться, чего за тридцать лет не забудет. Я беру царскую палку за середину и держу ее плашмя. Я поднимаю палку на уровень лошадиного лица господина фон Розена. В тот миг, когда мне стало уже ясно, что я сделаю (хотя для чего — я и сам не знаю), — он протягивает мне руку:

Здравствуйте, господин генерал!

Нет! Большим пальцем руки я начинаю с такой быстротой вращать палку, что она только жужжит. Между нами, как стена, вдруг возник зримый, переливающийся стеклянный круг. Еще тогда, тридцать лет назад, Рудольфо признался, что этот простой номер мне удастся лучше, чем ему самому. Трость жужжа вращается между мной и господином Розеном подобно крылу ветряной мельницы на горе в Мустьяла при сильном северном ветре с моря. И господин Розен стоит по ту сторону жужжащей преграды еще более серый, чем прежде. А я смеюсь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! *Садитесь, капитан. К чему стоять?* Но господин Розен продолжает стоять. Бледный от гнева. Костлявый. Неуклюжий. Кривой. Жалкий провинциальный помещик. В плохо сшитом цивильном сюртуке, реверы которого он уже успел закапать. Я вижу, его скулы дергаются от злости. Но ему придется это проглотить. Затылком я чувствую, как за моей спиной клокочет злоба. На лицах, во взглядах, в позах. За случайными нейтральными фразами. Как шипящая черная волна во время северного шторма у обрыва в Мустьяла. Но ведь я здесь для того и нахожусь, чтобы эту злобу вызвать. Я здесь ради того, чтобы насладиться этой злобой. А теперь с меня хватит. Если бы я еще дольше стал смотреть на господина Розена, мне стало бы его жаль. Ха-ха-ха-ха. Я поворачиваюсь. Я вешаю царскую трость-розгу обратно на спину Карлова стула. Я возвращаюсь к батюшке и матушке, к губернатору и ландратам:

Так. Мы досыта наелись. Мы позволили себя честновать. Пора. Merci, Mesdames. Merci, Messieurs! Quelle délicatesse! O-là-là. Au revoir.

Зажмурив глаза, гардеробщики подают матушке и батюшке их тулупы. Мы садимся в сани. Мы мчимся обратно к дому коменданта. Несколько минут мне в лицо дует свежий зимний ночной ветер.

Один только бог знает, где все это было, во сне, али на самом деле... А что сейчас-то происходит — сон ли, явь ли — здесь, в комнате, при лунном свете... Комната

что твоя зала в имении... Над кроватью чудная крыша, в точности навес над козьим сеном... На картине у господина Ринне дева Мария с Иосифом и Иисусом под такой крышей... и волхвы стоят кругом их. Видать, все-таки наяву... Старый Юхан спит, борода торчком, а лицо блаженное... Удивительным питьем угощали там за господским столом. А старику-то оно, видать, сверх меры приглянулось. Ихние господские вина огнем играют, сверкучие. Чарки сияют, светятся ровно глаза у ангела. А голову с ума сводят одинаково. Не могла ж я ему стакан рукой прикрыть. В праздник молодого Юхана. А старик-то охочь до разговоров, будто молодой. Как знать, много ль с того, что он там с хмельной башки изъяснял, господам пондравилось. Что Юхан был у нас парень с золотой головой — это верно. Но что он, мол, не единственный генерал из деревенского люда был бы, ежели бы господа больше снисхождения деревенским ребятам давали... Я толкала старика под столом... Да рази ж он со своей разогретой башкой услышит... А молодой Юхан только слушал да смеялся. Не видать было, чтобы его это хоть сколько заботило. Дома-то он сказал, чтоб я во что ни стало вместе со стариком в город ехала. Что, мол, кому же другому его в узде держать, ежели он налакается и пойдет языком трепать... Ну да это мне всю жисть делать приходилось... Да, а теперича вот мы тут, и я не знаю, приходила ли альтпыллуская Анн, как обещалась, и подоила ли Бурену вчерась в обед и вечер. Да нашла ли она для вечернего удою подойник. Ведь только утром мы отсюда обратно тронемся. Хоть бы Юхан приказал опять такого же жару лошадям задать, как сюда едучи, тогда мы все ж опосля обеда дома будем. А завтрашний утренний и обеденный удой нужно ведь тоже куда-то девать... Да, до высокой чести наш Юхан-то поднялся. Все большие господа, Иисусе Христе, господин губернатор с этим самым костистым лицом, что со мной рядом сидел, и другие, все такие же важные, с им совсем как с равным, того гляди, будто на его даже маленько снизу вверх поглядывают. И кто ж такое мог бы подумать, когда он у меня эдакой махонькой пискун в узелке был, как они все... И когда у груди лежал... А жадный был сосать, самый жадный из всех их шестерых, которых господь дал нам и взял от нас... А все ж таки

кто бы мог подумать... когда он двухлетним мальком был, глаза у его заболели, и несколько месяцев все гной бржал, и ни от какого снадобья никакого проку не было... пока одним вечером взяла я его на руки и отправилась в путь и на заре пришла к Хийенийдускому источнику, нацарапала серебра со своего сыльга источнику в жертву (прости меня, господи!) и чисто-начисто вымыла ему глаза ключевой водой, так они у его с тех самых пор чистыми и остались, и по сей день блестят так, ровно... Сегодня-то я ведь прилежно глядела. И видала, как несколько господских барышень да молодиц все ему в глаза старались заглянуть... А только счастливый ли он от всего этого, того мое сердце не ведает, нет... Да разве ж я могу чего знать о его женах. В глаза не видала я ни первой, ни этой теперешней его жены, этой госпожи Шарлотты. Да и что бы я поняла о такой ученой женщине, кабы даже и совсем близко глядела... Совсем-то вблизи она показалась бы мне больше в тумане, чем издали... Только что в глаза поглядев, может, почуяла бы, злое у ее или доброе сердце... А рождение сына в позапрошлом году было для Юхана большой радостью... Это, видать, было по той проделке, что он по этому случаю учинил. Господи боже мой, господин Ринне — пастор Петровской церкви — присылает однажды (да еще в сильнуций осенний дождь) за нами кистера и велит звать нас со стариком в церковное имение, сын, мол, п и с ь м о прислал. Первое почти что за тридцать лет. Потому что империялы, которые он слал нам кажный год, все через того же господина Ринне, приходили только с приветами. А тут вдруг п и с ь м о... И господин Ринне читал нам его в своей комнате для письменных занятий, за закрытыми дверями: *Дорогие отец и маты! Много у меня государственных и военных дел, и поэтому я пишу вам редко. Но об одном я не хочу оставить вас в неизвестности, что в нынешнем одна тысяча семьсот восемьдесят первом году, сентября девятого дня в городе Санкт-Петербурге родился у вас внук, нареченный Иоханном Михельсоном. Будьте здоровы. Ваш сын Иоханн. Генерал-майор.* И видать, что написано оно было от счастья. Да только... я не знаю. Среди важных господ много ведь и завистников. И пусть они по воле государыни запишут его в этот свой трикульный список, но все

одно, не станут они от этого его своим признавать. А в особенности еще потому, что свое низкое происхождение он им сегодня в нашем лице доказал, и мне думается, что сделано это было больше ради того, чтобы подразнить их, чем по необходимости... Я все старалась рассмотреть ихние лица. С нами они были обходительнее, чем можно было про их думать. И разговоры ихние тоже... Ну да с такой, как я, много ли они себя разговором-то утруждали, так, праздная болтовня была, пустая, конечно: много ли вина у меня мой старик пьет? (А я, мол, — только в меру.) И еще: наверно, мол, стали господа Розены с нами ласковыми с того времени, как наш сын генералом стал? (А какими они до того были, того они не спросили, нет.) И был ли наш сын с детства себе на уме. На что я сказала, мол, да, с малолетства он был таким чудным и делал все точь-в-точь, как ты ему прикажешь, даже ежели сам он того не желал, и точь-в-точь все, что ты ему запретишь, ежели сам он того пожелает. На это они все громко смеялись, а один сказал, что и теперь он делает все точь-в-точь так же. И смех этот был почти что совсем обходительный. Но разговоры, что они промеж себя вели, когда Юхан отошел, показались мне (хотя я их и не понимала) сумнительными. Потому что ни лица своего, ни голоса они не сумели за чужим языком спрятать. Про некоторые слова, что до меня доходили, я осмелилась спрашивать у этого господина дьютана. Потому что Юхан сказал, что это порядочный молодой господин и у его можно спрашивать про все, чего только захочешь... Тогда он мне разъяснил, про что ворковала, глядя Юхану вслед, одна госпожа с лицом в муке, что, мол, у государыни очень хороший вкус, когда она своих офицеров выбирает. Но что, к примеру, сказала одна козлиная борода со злыми глазами, того он мне не разъяснил, а когда я спросила, то весь с лица покраснел, ровно конфирман. Так я и не узнала, хотя эти немецкие слова у меня и посеичас в ушах стоят. («Unerträglich, wie der Schurke sich breit macht»¹.) Только я, конечно, не умею их повторить, чтобы у Юхана самого спросить... Так что часом так и екает мое сердце от страха за Юхана... как вдруг подумаю, что и

¹ Нестерпимо, как этот плут наглеет (нем.).

вся-то жизнь Юхана — хождение по тонкому льду над неведомым морем, и как спрошу себя, а может, этот лед, по которому он ходит, еще куда тоньше, чем все они располагают?.. И когда я другой раз подумаю, до чего же мало я знаю и понимаю всю его жизнь и все его дела, до того мало, что даже страх мой за него рассыпается в душе пустой пылью, вот в особенности тогда находит на меня жалость к нему и страх за его... И когда вечерами, в темноте, уже лежа на койке, я все эти думы одна думаю (хоть и рядом со стариком, а все одно одна-одинешенька) и после того засыпаю, всегда ко мне эти страшные сны приходят... Будто они подъезжают к ему в темном лесу. Хватают его коня за узду, а самого стаскивают с седла и валят на землю. Они волокут его на лавку для порки, секут его длинными хлыстами и обратно в башню сажают. Только это уже не Пайдеский Герман, а страсть какая громадная да высоченная и темнущая-претемнущая башня... Сама Вавилонская башня... А я все хожу и хожу, брожу и брожу вокруг этих каменных лисьих нор и ищущу, куда они его подевали, и отовсюду гонют меня глумливые солдаты с собачьими мордами, и не знаю я, где он и что они с им сделали. ...И тогда я просыпаюсь в темнущей избе вся в холодном поту и с великим облегчением соображаю, что все это был сон и что стена, по которой моя рука во тьме над койкой шарит, вправдашняя и что Юхан, с божьей помощью, на самом деле большой человек в городе Санкт-Петербурге. И тогда, вслед за минуткой облегчения, приходит мне в голову одна дума, она не легче, чем этот сон... как же это было все-таки с великой победой моего Юхана над этим самым окаянннм Разбойником?.. Про дела его никто здесь ничего толком не знает, акромья ужасов, про которые иной раз в церкви говорят, да разных слухов, что из кабаков да с ярманок бродячий народ на языке в деревню приносит... По слухам, должно быть, это вправду большая война была, и господа в России от ее дюже дрожали... Ох, трудная да развилчатая эта дума... все семь аль восемь лет столько раз я про то думала, что дорожка эта, поди, мне уж знакома должна быть, а каждый раз как вспомню, будто по открытой трясине в топком болоте иду, и страх меня берет. Не умела я сама на мой вопрос ответить. Только вопрос

этот в уме своем столько лет я все терла, что он блещит ровно нож. Не стоял ли мой Юхан, который на этой войне победу для господ выиграл, не стоял он в этой войне на чужой стороне? ... Может, конечно, Разбойник и в самом деле разбойником был... Я того не знаю вовсе... А старик другой раз говорит: гляди, ежели бы они нынче свои подушные подати требовать стали, как в разговорах опасаются, тогда весь деревенский народ во всей Лифляндии против их как один человек встал бы, и поднялся бы такой мятеж, какого прежде никогда не случалось... А, правда, и то известно, что мятежников разбойниками зовут. Только не посмела я у старика спросить: скажи, мол, что случилось бы, ежели б взаправду до этого дошло и ежели бы государыня послала сюда нашего Юхана народное вознегодование душить?.. А ежели бы тогда разом пришла к нам вся округа — таккасаареские молодой Паап и старый Паап, и альтпыллуские Танель и Мику, и альтпыллуская Анн — шальная баба, и другие все за ими (ох, не знаю, нашла ль она в чулане подошник-то молока надойть) — ежели бы все они пришли, на плечах косы с привязанными кольями, в глазах ненависть, ровно тлеющий в мокрых дровах огонь (я ведь хорошо помню, какие они были, эти отряды, двадцать и больше лет назад, после того, как войско ушло в Бранденбург), явились бы к нам на двор и спросили: *Послушайте-ка, вы — куузикусские, что это, на самом деле правда, что это ваш Юхан, которого государыня прислала вешать и душить нас за то, что мы противимся ей подушную подать платить?*.. Не посмела я спросить старика, что бы тогда было... Потому что... Ну, да и что старик-то мог бы мне ответить...

Ох! Помогите, господа, вот сейчас вдруг поняла я — будто кто-то взял мое сердце в руки и сдавил — не для того ли господь послал меня сюда, в эту комнату (я слышу, как Юхан в соседней вовсе еще не спит, только все сопит, да взад-назад ходит) — да, не для того ли господь послал меня сюда, в эту комнату, чтобы я встала с постели, осенила себя крестным знаменем и пошла к самому Юхану:

Сын, прости свою глупую мать, но скажи мне по чистой совести...

Денщик генерала фон Эссена спит в коридоре. В комнате с лилиями мокрые поленья в камине погасли. Окна все больше зарастают льдом. И море — тоже. И море — тоже.

Ха-ха-ха-ха! Но что же я мог ответить матушке... Может, вообще твоя жизнь.. хождение по тонкому льду над неведомым морем? (А, впрочем, у кого она иная? И бывает ли она другой? Сколько приходится убитых солдат... на каждого живого солдата? *Et ceterá*)... Правду говоря, по поводу льда я не тревожусь. Уже давно. Хорошо иной раз каблуком стукнуть! Ударить шпорой и слушать, как звенит. И взглянуть: дал трещину или выдержал! Выдержал! По поводу льда я сказал: *Не тревожься, матушка. Я не делаю таких больших глупостей, чтобы лед подо мной треснул. Если уж сегодняшнюю выдержал, ...как ты сама видела. Ха-ха-ха-ха!*

Но что я мог ответить матушке, когда она посмотрела своими светлыми старушечьими глазами мне прямо в глаза и сказала: *Я темная деревенская старуха. И, поди, глупо мне у тебя спрашивать. Но ответь мне по чистой совести: на чистом ли подножье ты стоишь в своей жизни и твоих делах, и на правильном ли месте? Господи боже, что было мне ответить?! На чистом ли подножье... Мамочка... Я взял в свои руки ее проворную, шершавую и озябшую в холодной комнате руку, ее стропивую старую руку, ту самую, которую целовал губернатор... На чистом ли подножье — а что это такое? Мне хотелось сказать ей: конечно — например, убитый Петр Третий (чтобы далеко не ходить) убит рукой почти что моего друга Алексея Орлова (идиот, смерти которого все ждали — разве за это я в ответе?) — наши придворные интриги, наша офицерская зависть, известная доля пролитой в пугачевщине крови, наши кутежи, казнокрадство... — конечно... Но, в конце концов, каждое ведро выжимок, тайно вынесенное из винокурни, которое ты скармливаешь теленку Бурены... Я подумал об этом, я почти уже готов был это сказать! В самое последнее мгновение я вспомнил, как кто-то совсем недавно мысленно себя спрашивал: *Меняет ли масштаб суть**

дела? и сам же крикнул: *Непременно! Непременно!* Мой faculté de réagir. Да-а; мой faculté de réagir покинул меня на мгновение (и этим мгновением я наслаждался, втайне)... На чистом ли подножье... матушка... как бы тебе сказать... не совсем, действительно не совсем... если мерить евангельской меркой — ха-ха-ха-ха... Но если ты спрашиваешь, на своем ли месте я стою — то в ответ я спрошу тебя (я чувствовал, что мой вопрос мог прозвучать резче, чем я того хотел, и я понимал, что тем самым ответил бы не только ей и не только на то, о чем она меня спросила, а возразил бы себе в одном давнем споре с самим собой — в ответ я спрошу тебя: *Не считаешь ли ты, наконец, что я вообще должен был стать лифляндским Пугачевым? Не считаешь ли ты, что и здесь нашлись бы люди, во главе которых мог бы стоять я? Их было бы мало! Или ты считаешь, что лучше бы меня привезли в Таллин в деревянной клетке — одного, как перст одного! Чтобы на Иерусалимской горе меня четвертовали?!*) Нет, ничего я у тебя не спрошу...

Мой faculté de réagir снова у меня в руках (и мне немного стыдно).

Матушка, ложись спать! Не мучь свою старую голову. Тебе не развязать этого узла. И мне тоже. Никто его не развяжет...

Она ушла. Я слышу, как рядом в комнате дышит батюшка. А матушка притихла, как мышка. Я стою у окна, отсюда виден Длинный Герман. Окно все больше зарастает льдом. Море тоже. Завтра на рассвете будет сильный мороз. Когда Якоб с батюшкой и матушкой на заре доедут до Ласнамяги, по белой равнине навстречу саням пойдут пятеро мужчин... И она, а не забыли твои конвоиры обвязать тебе руки тряпкой? Черт бы их взял, если забыли, отморозишь руки, какой же флейтист выйдет из тебя по эту ли, по ту ли сторону моря... Море все больше зарастает льдом... Никому не развязать этого узла... Но у тебя-то ведь узла нет. Только голые, боящиеся холода руки. И флейта... Чертов парень! Ты свободен... Тебе только снести побои и ждать. Весной море вскрыется!

Ха-ха-ха! Johann von Michelsonen, Generalmajor und Ritter, Generalleutnant in spe. General der Kavallerie in

*spe. General en chef in spe*¹ — стоит у заросшего льдом окна и спрашивает себя: Herr General! Что произойдет на льду с пешеходом весной, когда вскроется море? Herr General не знает. Есть вещи, которых даже Herr General не знает. Но одно он знает, одно он твердо знает: полтора стакана chambertin'a и сомнительный триумф не смеют лишать человека кристально ясного мышления, Herr General!

Спать, марш!

¹ Иоханн фон Михельсон, генерал-майор и кавалер орденов, генерал-лейтенант в будущем, генерал от кавалерии в будущем, генерал-аншеф в будущем...

ОТ АВТОРА

Большую долю ответственности за то, о чем рассказывалось, я вправе переложить на узкие, но сильные плечи Фридриха Руссова. Узловое событие этой истории изложено в примечании к его фельетону, напечатанному в «Ревальше Цейтунг» сто лет назад. Кроме того, я хотел бы поблагодарить доктора Лео Лезсмента за множество сведений и указаний, которые содержатся как в его в свое время напечатанных работах, так и в неопубликованных записях. Здесь же будет уместно выразить благодарность Вольдемару Миллеру за то, что он привлек мое внимание к случайно им обнаруженным следам крепостнического музыкально-культурного предприятия Петера Дуборга. Само собой разумеется, что при всех остальных событиях, разговорах и рассуждениях изложенной истории автор непосредственно присутствовал сам. Как это бывает со всеми описываю(запутываю)щими исторические истории.

ПОЯСНЕНИЯ

для тех, кому комментарий доставляет особое удовольствие
и которых, если автору будет дозволено судить по себе,
не так уж мало

- стр. 58. ...Кунерсдорфа и Кракова...—В этих местах в 1759 году и позже Михельсон сражался с пруссаками и поляками.
- стр. 62. В комнате для гостей коменданта города...—Эта комната находилась, само собой разумеется, в Вышгороде, в служебном здании коменданта города, в том самом доме, хозяином которого за тридцать лет до того был Ганнибал, знаменитый прадед Пушкина.
- стр. 64. На площади за Домской церковью. В новом с иголочки доме Дворянского собрания—т. е. в доме, который впоследствии подвергался неоднократным и основательным переделкам и в котором в настоящее время помещается Государственная республиканская библиотека имени Фр. Р. Крейцвальда.
- стр. 67. ... самый ловкий наездник во всем вой-

- ске... — Такую, или почти такую, оценку дает Михельсону в своих воспоминаниях генерал Лаажерон.
- стр. 83. ... крестьянский сын... — Документов о крепостном происхождении Михельсона в нашем распоряжении нет. Но имеется ряд данных, в свете которых возможность такого происхождения кажется вероятной. Одна из версий приводится в статье Фридриха Руссова в «Ревальше Цейтунг» от 15 марта 1864 года, о чем уже шла речь выше. Затем сообщение Хельбига в его книге «Руссисхе Гюнстлинге» (1809 г.), где говорится, будто отцом Михельсона был некий плотник с острова Эзель. Кроме того, в народных преданиях Вырумааской округи, где находились поместья Михельсона, о нем рассказывается как о помещике, более чем странно относившемся к своим крестьянам и к соседям из дворянства. И наконец, по данным исследователя биографии Михельсона профессора Л. Лезсмента, Михельсон не мог происходить от некоего шведского офицера, ибо в тот период офицеров с фамилией Михельсон в шведской службе не значилось...
- ... о чем в Санкт-Петербурге шепчутся... — Последнее опубликованное сообщение о тогдашних слухах содержится в статье Н. Эйдельмана («Новый мир», 1970 г., № 5).
- стр. 88. Золотой полумпернал — монета пятирублевого достоинства.
- стр. 92. Лууньяский Мюник — генерал-фельдмаршал Буркхард фон Миних (1683—1767), владелец поместья в Луунье, во время царствования Анны Иоанновны был одним из влиятельнейших вельмож, при Елизавете сослан в Сибирь.
- стр. 95. ... что я лукавая и хитрая лиса... — Этот выпад против Михельсона содержится в мемуарах Гарновского — мажордома Григория Потемкина.
- стр. 101. Сицилийский граф — Имеется в виду, несомненно, пресловутый Калиостро, который в 1780 году приезжал в Петербург из Курляндии и при помощи своего «эликсира вечной молодости» стал сенсацией.
- стр. 107. «Stadt Hamburg» — открытые в 1774 году на улице Нигулисте кафе, ресторан и гостиница.
- стр. 109. ... предписанные распоряжением Statthaltertschaft'a — Statthalterschaft — букв. наместничество (нем.). Начиная с 1783 года в течение двенадцати лет действовавший новый административный порядок, который

преследовал цель в какой-то мере сблизить прибалтийский особый порядок с централизованным административным порядком Российской империи

- стр. 110. Губернатор Гротенхельм (1721—1795) — помещик из Харьюмаа, владелец имения в Колу; его отец происходил из семьи Гроотов, получивших дворянство еще при Густаве-Адольфе, мать (девичья фамилия — Маркс) — из простой померанской семьи.
- стр. 113. Некий Аугуст Коцебу... — Несомненно, все тот же самый калейдоскопический тип, ставший душой и активным деятелем немецкого театра в Таллине, самый ловкий немецкий драматург, оставивший двести шестнадцать пьес, высокооплачиваемый агент русского правительства в Германии, впоследствии высланный в Сибирь, в какой-то степени был повивальной бабкой эстонской драматургии; отец множества сыновей, попавших в энциклопедические словари (путешественники, военные, писатели, художники).
- стр. 114. ...в Кенигсберге жил какой-то чудак... — Явно, что среди прочей придворной болтовни Михельсон слышал и барские анекдоты о личности и философии Иммануила Канта, отвечавшие невежеству придворного общества.



**ИСТОРИЯ ДВУХ
УТРАЧЕННЫХ ЗАПИСОК**





Наменная скамья у стены старой важни в начале сентября была приятно нагрета утренним солнцем. Это сразу чувствовалось сквозь тонкие панталоны из серого коленкора.

Присев на скамью, молодой человек несколько мгновений неподвижно сидел в странной позе: его ноги были как-то неловко сдвинуты вместе, а длинные тощие голени были поставлены немного вкось к длинным тощим ляжкам. Когда надежность опоры передалась в суставы и тепло за день нагретой плитняковой скамьи дошло до его с утра пустого желудка, он выпянул вперед правую ногу и огляделся.

Рынка сегодня не было. Рыжая пятнистая дворняга рыночного зрителя, зажмурив глаза, лежала на булыжнике под пустой коновязью. Со стороны Сайякяйка шли две барские служанки, в руках у них покачивались корзины с сайками. Немного подалее, под раздвоенным фонарем, на желтеющей кучке конского навоза чирикали воробьи. Оттуда только что отправился дилижанс в Петербург. А почтовой кареты на Хаалсалу еще не было.

Молодой человек надвинул плоскую жесткую шляпу на самые брови, чтобы яркий свет не слепил глаза,

и стал критически разглядывать свою руку: несмотря на то что он прилежно ее мыл, сустав среднего пальца был в чернилах, а под ногтями оставались следы мела. Он сунул руку в карман и вытащил свежие газеты.

«Revalsche Wöchentliche Nachrichten»¹ и позднее не была ни поучительным, ни развлекательным чтением, а тем более — в 1824 году. Молодой человек положил утром газеты в карман, чтобы взглянуть, не требуется ли в Петербурге домашний учитель. Правда, теперь это ему уже не было нужно, потому что, с божьей помощью, место у него есть, и на следующей неделе ему надлежит прибыть в город на Неве. А там только и делай, что наставляй бог знает каких барчуков и барышень... Сейчас даже думать об этом не хочется.

Ни одного места домашнего учителя в газете не предлагалось, наоборот, его искали. Вот, здесь можно было прочитать: Молодой человек свое многолетним опытом приобретенное умение на поприще воспитания и обучения хотел бы применить в качестве домашнего учителя. Спросить в таком-то доме на улице Харью...

Он скользнул глазами по объявлениям:

Майер и К^о доводят до сведения достопочтенной публики, что всегда имеются в продаже хорошие вина Medoc, старое Graves и Haut-Souterne в бутылках... А в винной лавке Васво на улице Ратасказву имеется отличное вишневое вино, и у Ризенкампа только что получены исключительно вкусные маринованные миноги и угри.

Рот его наполнился слюной, и он стал быстро читать дальше:

Губернский ветеринарный врач Байерсдорф позаклад англизирует и холостит лошадей, начиная с 1-го сентября... Несомненно, и ремесло лошадиного доктора — дело не плохое, хоть и приходится англизировать под заклад. И своих миног этот Байерсдорф время от времени пробует, а если и не запивает их Медос'ом, то уж на васвоское вишневое вино копейка

¹ «Таллинские недельные известия». Еженедельная газета, издававшаяся в Таллине начиная с 1772 года.

у него всегда найдется. Чего об учителе начальных классов элементарной школы за последние три года никак нельзя сказать. А вот Императорская медико-хирургическая академия — тут был бы уже совсем другой табак. Да-а... Докторша Борнеман у Татарской слободы продает луковицы махровых нарциссов по две копейки за штуку, и на улице Рютли, против церкви Нигулисте, даются напрокат настоящие пьявки... В самом деле пьявки вошли теперь в моду и у наших докторов, фельдшеров и кровопускателей. Почти так же, как в Англии. Недавно где-то было написано, что в Лондоне, в котором проживают восемьсот тысяч человеческих душ, используется в год целых восемь миллионов пьявок!

Он быстро перевернул страницу, где был напечатан вводимый в действие указ о конфискации контрабанды в пользу государства, и тут ему бросился в глаза указ Правительственного сената о том, что Попов, директор Департамента народного просвещения, по собственному желанию освобожден от занимаемого поста и всемилостивейше назначен... кем же теперь? Начальником личной канцелярии директора Почтового департамента, действительного тайного советника князя Голицына, с сохранением прежнего содержания, то есть шесть тысяч рублей в год, и еще какая-то непонятная надбавка в две тысячи пятьсот рублей в год... Способность проворно считать — один из купеческих талантов, который совсем отсутствовал у молодого человека, но все же он принялся высчитывать. В Петербурге он будет получать шестьсот рублей в год. А господин Попов получает восемь с половиной тысяч. Следовательно, он — в десять... в одиннадцать... в двенадцать... в тринадцать... в четырнадцать раз меньше, чем господин Попов. Ну да. Так это, как говорится, установлено самим господом богом... Он обернулся и взглянул на ратушу. Если бы он сейчас перешел через площадь и стал спиной к стене ратуши, то голова его не доставала бы даже и до половины окна крендельной лавки. А голова господина Попова была бы на высоте десяти сажен, так высоко, что свинцовый водосток с головой змеи, журча, лил бы воду прямо ему за шиворот. Так это, как говорится, установлено самим господом богом... Молодой человек поднял к солнцу

худощавое лицо с рыжеватыми бакенбардами и большим чувственным носом и, полузакрыв серые глаза, едва заметно усмехнулся. Сразу же на переносице появилась глубокая складка. Постой, постой... Как же так? В четырнадцать раз? Но ведь этот господин Попов примерно такой же человек, как и его новый петербургский хозяин. Которому нужен не только шестисотрублевый домашний учитель, но еще и восьмисотрублевая француженка к детям, и тысячерублевая компаньонка для супруги, и еще учитель музыки, и учитель танцев, и учитель пения, и домашний доктор, и вдобавок, по крайней мере, еще шестерка лошадей. А если даже слуги, горничные, кухонные девки, повара, кучера и писцы, включая и самого мажордома, как крепостные жалованья и не получают, то ведь одеть и накормить их нужно всех до единого! И при этом сей господин всего только в четырнадцать раз больше, чем его «немец» в коленкоровых панталонах здесь, на каменной скамье у стены важни? Нет... Что-то в этом расчете неверно... Некоторое время он смотрел перед собой в пространство и непонимающе покачивал головой, затем снова стал читать... *Полицмейстер уведомляет, что разыскивается беглый холоп Яан Равный, родом из волости Вастсемыйза, которого подозревают в том, что он убил своего хозяина Михкеля Хлебного...* Михкель Хлебный и Яан Равный... Какие странные имена... Яан Равный, который убил Михкеля Хлебного... Как же передать на нашем языке это пресловутое французское слово *égalité*¹... Для многих нужных понятий нет на нашем языке слов. И для этого нет... Или, может быть, в конце концов все же есть?..

Его взгляд упал на графу: «Прибывшие пассажиры», где сперва были названы военные, потом — гражданские лица: *Из Москвы прибыли... Из Риги прибыли... Из Петербурга прибыли...* несколько полковников, несколько государственных советников с супругами, несколько купцов, все немецкие, шведские, русские, польские фамилии... И вдруг, рядом, совсем рядом (для этого ведь нет слова на местном языке (?)) *Из Москвы прибыл подполковник прусский принц Виль-*

¹ Равенство (франц.).

гельм, и из Рязани прибыл поручик в отставке Юрисон! Благодаря сыновьям вдруг оказались рядом — прусский король и старик в постелах, по имени Юри!..

Хи-хи-хи-хи!!!

Вздрыгнув, он поднял голову и увидел две пары зеленых глаз, два веснушчатых курносых носа и две извивающиеся рыжие косы, которые исчезли за углом улицы Мунди. Ну, конечно, две дылды школьного служителя Фрея, две самые сумасбродные хохотуны на школьном дворе, куда выходят окна класса, где еще вчера ему пришлось в последний раз на свое мучение учить арифметике. Молодой человек быстро уткнулся в газету и почувствовал, как краска заливает его большие уши и разливается по всему лицу... *Из Раквере уведомяют... Из Раквере уведомяют... Из Выру уведомяют...* От негодования он не мог сосредоточиться, от него ускользал смысл сообщений. Несколько успокоившись, он механически подумал: *Выру?.. Выру?.. Это где-то в Лифляндии, за Тарту...* Удивительно, как много на земле мелких захолустий, у которых есть одно только название и куда ты никогда в жизни не попадешь и не узнаешь, чем там пахнет... Но в Кейле он будет уже сегодня, а на следующей неделе уедет в Петербург. В Кейлу он поедет потому, что так ему вздумалось, а в Петербург — потому, что там у него есть место. И потому еще, что там находится Императорская медико-хирургическая академия. Может быть, все-таки посчастливится, и он поступит... *Убывшие пассажиры... в Ригу — гусарский майор фон Паткуль, в Москву — корпусной адъютант, поручик Бахгароновский, в Тарту — господин фон Сиверс...* А напишут ли на будущей неделе: *в Петербург — домашний учитель Крейцвальд!* Конечно, нет. Кто станет утруждать себя этим!

Часы на ратуше пробили восемь, однако кареты на Хаапсалу все еще не было. На тротуаре, неподалеку от каменной скамьи появились еще два человека, которые явно намеревались ехать той же самой поч-

¹ Крейцвальд, Фридрих Рейнгольд (1803—1882) — медик по образованию, эстонский писатель, просветитель, фольклорист, переводчик, зачинатель эстонской литературы.

товой каретой. Веселый молодой человек в коричневом сюртуке и серой веллингтоновой шляпе, насвистывая гавот, стоял, скрестив руки, возле плетенной из ивы дорожной корзины. А вокруг молодого человека по вытянутой орбите двигался старикашка в брезентовом пыльнике, с кислым, как недозревшее яблоко, лицом и ватерпасом, в локоть длиной, под мышкой. Дойдя до крайней точки орбиты, шагах в двадцати от молодого человека, он оборачивался, останавливался, что-то громко и недовольно пояснял и затем молча семенил обратно в сторону молодого человека, проходил мимо него, удалялся и на повороте, в противоположной крайней точке орбиты, снова принимался что-то объяснять. Когда старик поравнялся с каменной скамьей, находившейся между крайними точками орбиты, он крикнул молодому человеку:

— Ну извольте! Ну извольте! Я вам выстрою. Решено. Но толку от этого не будет никакого! Это я вам заранее говорю. Графу не скажу, а вам говорю!

Он опять торопливо засеменял к дальней точке орбиты, продолжая что-то говорить, чего с каменной скамьи уже нельзя было разобрать. И снова дошел до поворотной точки. Здесь он выхватил из-под мышки ватерпас и, тыча им в сторону молодого человека, крикнул:

— Вам удалось уговорить графа! Ну, извольте, доктор! Ну, извольте! Я построю. Но только граф выбрасывает деньги на ветер! Ни одна человеческая душа не поедет к вам туда, сидеть голой задницей в грязи! Где такое слыхано!

Доктор досвистел мотив до конца и весело ответил, все так же со скрещенными руками:

— Непременно поедут, и непременно об этом услышат.

Старик не успел ничего ответить, в это время с улицы Вооримехе со стуком и скрежетом выехала громадная почтовая карета, запряженная четверкой, и направилась к ожидающим. Доктор и старик в пыльнике быстро и дружно поставили ивовую корзину на раму багажника позади кареты, ямщик с красным облупившимся носом слез вниз и привязал ее куском веревки.

Когда все три пассажира уже сидели в карете — доктор и строитель на заднем сидении, а домашний учитель напротив них — и карета, согрясаясь, поехала по булыжной мостовой к Харьбюским воротам, старик произнес:

— Совершенно безумное предприятие!

Доктор, которому, несмотря на тряску, удалось высечь из огнива искру, зажег свою фарфоровую трубку с янтарным мундштуком и усмехнулся:

— Несомненно здешний средний обыватель считает нас дураками. А вот крестьянам, живущим там, у залива, известно по этому поводу больше. Из поколения в поколение лечат они горячей грязью свой ревматизм. Я несколько лет это изучал. Так что не следует тревожиться за графские деньги. В Германии про нас уже — он вынул из кармана газету — видите, что пишут!

— Пишут? В Германии?

— Именно.

— И не высмеивают?

— Прочтите сами.

— Ни за что не поверю.

Старик схватил газету и стал рыться во всех карманах — в пыльнике, в сюртуке, в брюках.

— Черт подери! Забыл очки!

— Я вам прочту.

Старик скривил в усмешке рот и мельком, искоса взглянул на доктора.

— Вы же из речистого купеческого рода, что угодно скажете... До тех пор, пока сам не увижу, откуда я буду знать, что вы мне там прочитаете...

Было видно, как доктор вздрогнул. Окажись с ним рядом какой-нибудь *confrater*¹ из корпорации «Эстония», дело наверняка дошло бы до драки на рапирах. А теперь он мгновение смотрел сквозь табачный дым на своего соседа в обшарпанной брезентовой хламиде, затем взглянул на сидевшего визави спутника в коленкорových панталонах и сдержанно обратился к нему:

— Простите, я полагаю, что вас мой сосед не заподозрит в принадлежности к мошенническому пле-

¹ Собрат, член (лат.).

мени купцов. Может быть, вы будете так любезны и прочитаете вслух вот этот кусочек,— он указал пальцем на газетный столбец.

Будущий домашний учитель в это время наблюдал из окна, как карета, миновав Харьюские ворота, проехала вдоль обсаженной тополями аллеи и стала поворачивать вокруг Тоомпеа на Палдиское шоссе. Разговор спутников еще в большей степени, чем вид пригородных осенних огородов, заставил его сосредоточенно смотреть в окно. Слегка вспыхнув, он обернулся и увидел перед собой узкую энергичную руку с тщательно ухоженным указательным пальцем, который показывал на статью в «Иенаэр альгемейне цейгунг».

— Пожалуйста...— Он взял газету и вслух прочитал: *Из Таллина уведомляют. Один просвещенный эстляндский дворянин, граф Магнус де ла Гарди, приступил в городе Хаапсалу к строительству заведения грязевых ванн. Чудесную лечебную силу местной морской грязи основательно изучил dr. med. Карл Хунниус — талантливый молодой воспитанник знаменитого Дерптского университета. Он доказал, что местная морская грязь по своим качествам превосходит даже известные грязи Цингста и Уседома. Хаапсалуское заведение грязевых ванн будет первым на восточном берегу Балтийского моря..*

— Ну, теперь верите? — обратился доктор к старику.

— Что в газете так написано, этому я вполне верю.

— Но?

— Но что из этого дела толк будет, этому я в жизни не поверю!

Они снова принялись спорить, а домашний учитель заглянул в оставшуюся в его руках газету. *Из Петербурга уведомляют. Ученые с давних пор обращают внимание на то, что несколько народов, живущих на севере и в центральной России, как-то: лопландцы, зыряне, вогулы, черемисы, чуваша, мордва и другие... по языку и обычаям сродни финнам и эстонцам, которые населяют побережье Балтийского моря.*

Да, правильно... Об этом он и раньше где-то слышал. Но что этих родственных народов так много, это

уже новость. Несколько лет назад он разговорился на Раквереской ярмарке с двумя водскими бочарами, и впрямь они говорили почти что на нашем языке... Финский языковед Шёгрэн¹, который последние годы был в Петербурге домашним учителем... — вон оно что! В Петербурге даже такие домашние учителя встречаются, что про них в немецких газетах пишут!.. — в июне месяце нынешнего года, с любезного соизволения и при поддержке Российского императора Александра Первого, отправился в путь, чтобы на месте основательно изучить языки, обычаи и древние предания всех этих народов... Вот как! Язык и обычаи лапландцев и вогулов... на месте и основательно... Как будто здесь у эстонцев все это уже толком изучено... Один собрал зернышко оттуда, другой — отсюда, немножко Хупель, немножко Мазинг и еще третий-четвертый, ничего не упомянув о нескольких сказаниях Тоа-Якоба и про обрывок песни из прихода Хагери, которые у него в ящике стола лежат... При любезном соизволении и поддержке императора... Он опустил окно кареты и глубоко вдохнул сочный запах моря. Небо и вчерашние лужи на дороге отливали синевой, с залива Копли через луга и шоссе дул соленый ветер. Между Копли и Какумяз до самого горизонта простиралось зеленоватое море... Шёгрэн... Если ему повезет, он вернется обратно и... академик готов...

Домашний учитель снова поднял стекло: морской ветер был прохладным и ему не хотелось, чтобы доктор попросил его закрыть окно. А доктор и старик все еще перебранивались, и «Иенаэр альгемейне цейтунг» по-прежнему лежала на том же продавленном и истертом докрасна кожаном сидении.

...Из Парижа уведомляют. В присутствии его королевского высочества графа г'Артуа сегодня в Сен-Клу был поднят в воздух наполненный водородным газом воздушный шар, снабженный корзиной, в которой один французский офицер благополучно поднялся на

¹ Шёгрэн, Андреас Иоханн (1794—1855) — финский языковед и этнограф, совершивший в 1824—1829 гг. путешествие до самого Урала с целью изучения финно-угорских народностей и ставший, как и предполагал Крейцвальд, в 1832 году экстраординарным, а в 1844 году ординарным академиком.

высоту почти десять тысяч футов. Невозможно описать словами картину, открывшуюся его взору...

Когда почтовая карета миновала озеро Харку и фыркающие лошади медленно потащили ее вверх по первому крутому плитняковому склону, молодой человек подумал: вот эта огромная гладь синего озера, и эти белые проселочные дороги, и коричневые замшелые крыши изб, и серые сжатые поля — интересно, как бы все это выглядело, если подняться на высоту десяти тысяч футов и посмотреть вниз? Озеро было бы как спина синей рубашки, поля — как небеленые льняные полотнища, избы — как овечий помет, а дороги — как белые нити. И то тут, то там вдоль дороги полз бы изредка какой-нибудь муравей, здесь вот ползет ленивый красный муравей, а вдали, по ниткам проселочных дорог — крошечные коричневые и черные песчаные муравьи. А если перегнуть через край корзины и направить на них подзорную трубу, то одновременно можно было бы увидеть здесь на дороге почтовую карету, и там, в северо-западной части Харью, на плитняке, поросшем кустарником, деревенские телеги с деревянными колесами... Поди догадайся, куда едет какой-нибудь крестьянин и о чем он думает, понукая клячу и шагая рядом с возом в шуршащих постолах с вожжами в руках, низко надвинув на глаза старую выдавшую виды шляпу, или полулежа на прыгающем мешке соломы и попыхивая чубуком, торчащим из заросшего щетиной лица; о чем он думает, когда смотрит серыми прищуренными глазами на серые сжатые поля, или на серый ольховник, или на серую поверхность моря. Поди догадайся... глядя на него в подзорную трубу с высоты трех верст.

Если бы молодой человек, находясь на воздушном шаре, внимательно смотрел вниз, он в самом деле увидел бы, что почтовая карета как красный муравей ползет вдоль белой нитки шоссе в сторону Кейлы и, наверно, заметил бы, что и песчаный муравей — деревенская телега — тоже держит путь в сторону Кейлы и поворачивает из Лохусалуского леса на церковный тракт. А если бы молодой человек, находясь на воздушном шаре, посмотрел в подзорную трубу, он уви-

дел бы шагающего рядом с возом дров Ийбу Мадиса, коренастого человека с серой, как железо, окладистой бородой. Время от времени он сплевывает в сердцах сквозь зубы прямо в вереск на обочине дороги. А если бы подозрная труба давала возможность не только лучше видеть, но и лучше слышать, молодой человек знал бы, что Мадис вполголоса бормочет: «Чертов пробст!...»

А если бы подозрная труба к тому же еще сделала доступными и размышления Мадиса, то молодой человек познакомился бы со следующим рассуждением.

Все уже доставлено, часть еще прежде, чем Мэри закончила конфирмацию, остальное — сразу после вербного воскресенья. Все как положено. Полчетверика овса, от которого даже еще прелым не пахло, две курицы, которые, может, и не неслись, ну так они все одно на мясо пошли, десяток яиц, совсем свежих, может, правда, и не самых крупных, и пара синих в крапинку варежек, ни разу не надеванных, что позапрошлый год Лээни связала. Все в аккурате, как всегда. И вдобавок еще бочонок копченых миног, пять фунтов весом, чего никаким обычаем не предусмотрено. А таперича эта церковная треска велит кистеру через батрака сказать, будто, мол, уже четвертый месяц, как воз дров не доставлен за конфирмацию дочки Мадиса... Воз дров! А за что же тогда миноги были?!

Чертов пробст!..

Вместо того, чтобы отправиться вечером вместе с сыновьями и батраком в Пакерорт, ставить на подводные камни сети на кильку, топай вот таперича рядом с возом в Кейлу. Потому что воз этот он хочет беспрерывно сам доставить пробсту и сказать при этом несколько подходящих слов. Шагая по дороге, он принимается высчитывать:

«Мальчишек-конфирмантов старый Хольц благословил весной двести двенадцать штук, девчонок — сто и восемьдесят четыре. Вместе составляет...» Он рывкнул кобыле «тпруу!» и долго царапал кнутовищем в песке на обочине палочки, наконец махнул ру-

¹ Пробст — старший пастор у лютеран.

кой, крикнул «Юсо!» и зашагал дальше — «вместе составляет почти что четыреста возов дров, двести четвериков овса, восемьсот кур, четыре тысячи яиц, двести пар варежек, двести метелок и двести ложек... Так что своим товаром от конфирмации он один может заполнить пол-ярмарки в михайлов день! Не говоря уже про доходы от крещений, от венчаний, от помолвок, от почти что сотни десятин церковной мызы, от ржи, ячменя, овса и льна; а солома, и ветчина, и рыба, которые должен доставлять приход, а барщинные дни, когда приходу надлежит работать на мызе, а уборка снега, а девки, которых приход обязан присылать...»

Ничего не скажешь, барон и есть барон. Как и то, что он Отто, и Рейнхольд, и фон. И старый Тынис знал, что в равной мере пошел он как в отца своего — пастора, так и в деда — офицера. Так что дрожью в голосе исторгает слезы из глаз, а как закричит — у всего прихода дрожь по спине.

В то самое время, когда Ийбу Мадис не оглядываясь миновал все четыре корчмы на главном церковном тракте, почтовая карета, катившаяся из Таллина в Кейлу, шесть раз останавливалась перед корчмой, чтобы дать пассажирам сойти или взять новых, и теперь она добралась уже до Вяэна-пости.

Почтовая станция, она же питейный дом «Золотое солнце», стояла скособоченная на голом придорожном плитняке и напоминала огромную в черных пятнах свинью, а сбоку примостились в ряд восемь здоровенных белых колонн, будто вскочившие на задние ножки сосущие поросята. Почтовая карета стояла перед самой корчмой, вожжи на коновязи. Доктор со своим строительным мастером зашел в «Золотое солнце» испить хмельной влаги, ямщик во дворе перед конюшнями вместе с батраками покуривал трубку. Лошади хрупали овес со дна торбы, за окном кареты свистел ветер. И молодой человек, который один оставался в карете, вдруг спросил себя, какого черта, собственно, он едет туда, в Кейлу?!

Из вежливости? Бряд ли. Правда, господин Хольц учил его эстонской грамматике и ради этого два года по два раза в неделю ездил из Кейлы в Таллин. Для старого человека поистине нелегкое занятие. Все-та-

ки — пробст, и советник консистории, и ему почти семьдесят лет. И тем не менее отношения между учеником и учителем теплыми не были. Трудно даже сказать почему. Вряд ли причиной было то, почти не осязаемое, потаскивание за волосы на затылке, когда ученик перевел на свой язык отрывок из столь богохульной пьесы, как «Разбойники» Шиллера. Скорее холодность проистекала от недовольства и собой и пробстом, потому что хотя учитель был человеком другой национальности и, кроме того, глухим к языку, но в каком-то отношении эстонский язык он знал лучше, чем его ученик, и еще потому, что он был так подавляюще авторитетен благодаря книгам, им написанным, законам, им переведенным (и потому, казалось, от него исходившим), и орденами, которые он за все это получил. Густой голос учителя, его представительная фигура и почти гневное выражение лица, по правде говоря, нагоняли на ученика известный страх. Об этом гневном лице недавно прибывший из Германии школьный учитель Ульрики с удивлением сказал: «Лицо точно такое, как у одного профессора, которого проездом через Берлин я однажды слушал, по фамилии Гегель...» И еще угнетала безапелляционность, с которой господин Хольц изрек, когда ученик осмелился заикнуться об университете:

— Это чудовищно дорого стоит. А кто поручится, что вообще из тебя получится духовный пастырь?

— Духовный пастырь? Почему именно пастырь?

— А кто же еще?! Не забивай себе голову. Из одной благодарности к господу — если бы господь пожелал тебе в этом помочь.

До сих пор господь ему все же помогал... Почтовая карета остановилась на перекрестке, откуда шла дорога к кейласкому пасторату. И так как у молодого человека, который намеревался здесь сойти, не было с собой никакого багажа, а сам он был в коленкорových панталонах и совершенно выгоревшей шляпе, то ямщик не стал слезать с облучка, он просто постучал кнутовищем в переднее окошко.

Карета покатила дальше, а молодой человек зашагал вдоль аллеи, обсаженной двадцатилетними ясе-

нями, в сторону пасторага. Ветер дул с реки через пустые луга и пытался сорвать с него вылинявшую шляпу, как будто уже здесь надлежало обнажить голову, и сразу ему стало как-то неловко туда идти. Что же, собственно говоря, он хотел сказать этому пробсту?

С каждым шагом церковная мыза все приближалась. Тяжелая громада из плитнякового камня была так велика, что ее на самом деле пришлось строить целых семь лет — с того года, когда во Франции вспыхнул великий мятеж, и до того, когда в России на трон вступил покойный император Павел. Однако войти в парадную дверь от этого легче не стало. В полутемной прихожей навстречу ему вышла какая-то служанка. Ах, к господину пастору? Да, сегодня день приемный, но господина пастора нет. Как нет? А смерть ведь не считается с приемными часами и делает свое дело, когда вздумает. Как, неужели господин пастор?.. Да вы с ума сошли, конечно, нет! Один хуторянин, где-то у Харку... Вот именно. И господина пастора позвали, чтобы дать причастие. Нет, раньше вечера ждать не приходится.

Домашний учитель почувствовал, как его залила волна огромного облегчения, она почти приподняла его над полом, но снова опустила на подводные камни разочарования. Он стоял в сумерках коридора и в смятении переносил скромный вес своего тела с одной ноги на другую. Вдруг ему в голову пришла мысль.

— Если можно, — я написал бы господину пробсту небольшое письмо? — Все-таки я ведь из Таллина приехал...

— Пожалуйста.

Он поднялся вслед за служанкой по дубовой лестнице, его провели в кабинет пробста — если он приехал из Таллина, — значит, с каким-то важным делом. С большого письменного стола пробста девушка принесла ему на маленький диванный столик чернильницу, перо и бумагу. Домашний учитель присел на край плюшевого дивана и обмакнул гусиное перо в чернила.

Он чувствовал, что сзади за ним, на всякий случай, следит служанка. А спереди, с висевшего между

двумя высокими окнами портрета, смотрел на него сам хозяин. И вокруг в шкафах за шлифованными стеклами стояли переплетенные в кожу книги — толстые и тонкие, большие и маленькие, с золотым тиснением и без него, наверное несколько сотен — Библии и Катехизисы, книги псалмов и проповедей — теологические премудрости Грейфсвальда и Тюбингена, и Шталь, и Тор-Хелле, и Хупель, и «Положение об эстляндских крестьянах», и «Чтения... для наставления души», написанные самим хозяином, а в маленькой витрине красного дерева, под стеклом в золоте и эмали — его ордена, те самые, что были изображены масляными красками на портрете.

Немного помедлив, домашний учитель прикоснулся пером, которое держала его жилистая рука, к белой бумаге и начал писать (писать по-немецки, потому что легче было стерпеть, когда господин Хольц исправлял свой собственный, а не его родной язык):

Достопочтенный господин пробст!

К несчастью, Ваш долг отозвал Вас, в силу чего я вынужден в письменной форме просить Вас принять мою благодарность и слова прощания. Дозвольте, чтобы прощание происходило на немецком языке, тем более, что мои знания в местном языке, за совершенствованием которых Вы несколько лет с достойным благодарности радением наблюдали, теперь, первоначально, должны оставаться без применения. Ибо после долгих раздумий — «ты взвешен на весах и найден очень легким» — или, быть может, это и не так, об этом не осмеливаюсь судить — я принял решение совершенно отказаться от намерений стать пастором и предпринять попытку вступить в Петербургскую медико-хирургическую академию. Это происходит вопреки Вашему совету, а также и многих других моих доброжелателей. Я все же полагаю, что телесные недуги причиняют здешнему народу страданий не меньше, чем его душевные невзгоды, и если, в согласии с Вашим мнением, наряду с заботой о его душе, мне надлежало время от времени находить минуту для его ума, то, быть может, я найду ее и борясь с его телесными бедами. Так или иначе, послезавтра я покину с божьей помощью Таллин, и я жажду и там, на чужби-

не, всегда от всего сердца оставаться Вам благодарным —

Щелки его сощуренных серых глаз снова расширились, и, чуть улыбнувшись, он поставил подпись. Кстати, если бы ему были знакомы графологические премудрости, он мог бы, покачивая головой, сказать о своем письме: странно — подпись знакомая, все такая же по-детски крупная и ясная, а само письмо написано как будто гораздо более взрослым почерком, скептически острым, критически мелким, упрямым от жизненного опыта и даже насмешливо-горьким, со странно цепким логическим рисунком, в котором все же встречаются милые наивные пропуски. Он мог бы со вздохом подумать: какое пророческое письмо... Но обо всем этом у него не было ни малейшего представления. Служанка принесла ему с письменного стола пробста песочницу, и в тот момент, когда он посыпал песком мокрые строчки своего письма, в открытое окно послышался скрип деревянных осей, и Ийбу Мадис въехал со своим возом дров на задний двор пастората.

К этому времени Мадис уже успел прийти в полную ярость. Он подвел лошадь прямо к длинному ряду полениц осиновых и березовых дров, с ожесточением поспешно столкнул с воза верхние поленья, вслед за ними — средние, подложил ладони под кузов, напрягся и руками приподнял телегу настолько, что нижние поленья с грохотом скатились вслед за предыдущими. Затем он со стуком опустил колесо на траву, смачно плюнул и сказал управляющему, который как раз в это время вышел:

— Воз дров доставлен. Попросил бы записать, чтобы потом опять не было разговоров, — и, притоптывая постоломи, двинулся не спеша мимо управляющего, обдав его холодком, и, не сняв шапки, вошел в парадную дверь.

В то время, когда он шагал по каменному полу прихожей и поднимался по лестнице, на языке у него вертелась фраза, которую он прежде всего намеревался сказать там, наверху: «Господин пробст велели че-

рез батрака сказать, что в пасторате дрова кончились и все миноги съедены...»

Он был так занят этой мыслью, что на повороте лестницы почти столкнулся с комнатной мамзелью, как раз в это время провожавшей вниз какого-то тощего молодого господина.

— Ууу... безглазый, куда ты ломишься, чудовище?! — обругала мамзель Мадиса, хотя столкновения не произошло и хотя именно Мадис посторонился.

— Господин пробст велели через батрака сказать...

— Велели сказать, велели сказать! — передразнила его мамзель и снова принялась расписывать ту же самую историю, которую уже раньше сообщила домашнему учителю, только еще пространнее и еще быстрее. После чего мгновенно исчезла в какой-то двери, а Мадис и незнакомый молодой человек вышли из полутемной прихожей на солнечный свет и взглянули друг на друга.

Домашний учитель был не из тех, кто легко заводит разговор с первым встречным. Но этот кряжистый как пень человек, шагавший с ним рядом, казался таким разочарованным и взъерошенным, что молодому человеку очень захотелось сказать ему что-нибудь в утешение.

— Ничего не поделаешь. Я вот тоже приехал издалека, а теперь остается только назад вернуться.

Собственно говоря, и у Мадиса не было никакого желания пускаться в разговоры, но поскольку такого господского вида человек сам начал, тут уж не положено долго сопеть с ответом.

— Откуда изволит быть молодой господин? — спросил он, подумав при этом, что, может, тот с какой-нибудь мызы — поди знай всех ветрогонов со всего прихода.

— Из Таллина на этот раз. А откуда хозяин?

«Гм, — подумал Мадис, — если молодой господин аж из Таллина прибыл и пробста не застал, то мне и подавно ворчать не годится». И он ответил совсем мирно:

— Э, я отсюда вон, из-под Ложусаба¹.

¹ Saba — хвост (эст.).



— А что это за Лохусаба? Что это за хвост такой?

— Ну, по-другому коса, али полуостров, аль как там сказать

— Ах вот как. А из какой деревни?

— Лохусалу называется.

— Так это что же, рыбацкая деревня?

— И по-рыбу у нас ходят, и хлеб тоже сеют,—
сказал Мадис и при этом подумал: «Странный какой
господин, ишь чего спрашивает. И на нашем языке



так чисто говорит, еще почище, чем сам господин Хольц... И на вид не гордый...»

— А деревня большая? — спросил молодой человек, а про себя подумал: «Смотрите-ка, какой хороший язык у старика, так дельно отвечает, что любо слушать...»

— Какая там большая, — ответил Мадис, — ну, восемь-то труб все же будет. — И для уточнения добавил: — дворов только пять, да три лачуги...

Беседуя, они спустились с крыльца пастората и пошли вдоль аллеи; поскольку у странного барина вопросов больше, видимо, не было, Мадис прошел через калитку в живой изгороди и повернул направо, на задний двор, где у него стояла лошадь. Отвязывая вожжи от коновязи, он вдруг заметил большой черный замок, висевший на дверях амбара церковной мызы, потом посмотрел на сам амбар — огромный и неуклюжий, потом на хлев и на яблони в саду, которые уже краснели от яблок, на господский дом, на десятисаженный ряд поленниц и на здесь же лежавшую горку им самим привезенных дров, на своего гнедого в оглоблях, который, стоня мух, тряс кожей, как будто дрожал от холода. И когда Мадис все это оглядел, у него вдруг защемило сердце и промелькнула странная мысль, что все это словно вроде бы большая обида по отношению к нему и, почему-то еще, ко всемудохусалускому люду. И будто он еще и сам способствовал этой обиде тем, что добровольно перед чужим молодым господином урезал восемь труб своей деревни до пяти...

Сидя на краю телеги и негодуяще попыхивая трубкой, Мадис доехал до перекрестка и, когда стал сворачивать на большой тракт, увидел, что молодой господин не так-то уж далеко успел уйти; глядя себе под ноги, он еще брел по селению. Заслышав стук телеги, он поднял голову и — странный человек — улыбнулся Мадису, будто старому знакомому. Если бы не эта улыбка, Мадис сопя носом проехал бы мимо. А так, он остановил лошадь и неожиданно сказал:

— В старые времена у нас все ж таки сорок труб было.

— Ах, так много! — удивился молодой человек, как будто как раз в это время считал, сколько их могло быть, и словно ему, в самом деле, приятно было услышать, что в старину труб было так много. Он вдруг шагнул в сторону Мадиса, оперся узкими, но жилистыми руками на край телеги и спросил:

— А у вас не рассказывают историй про старину?

— Каких же это?

— Ну, про клады, про жертвенники, про древние городища?

Мадис некоторое время чесал мундштуком бороду. Клады? Ну что ты ответишь на такой вопрос? Или как дурак принимайся рассказывать теперича эту самую историю про шведского принца и Мику Сальме? Нет, это одно хвастовство старика Мику и больше ничего. А жертвенники? Поди, начни теперича говорить про то, что они про сторожевую гору рассказывают, будто ежели там во время проповеди ненароком задремлешь, так беспреречно пробудишься... А про городища? Не слышать об них, ни об одном не слышать, а про то, что возле Лауриского пастбища под можжевеликами место есть, где мыза была, так про то и говорить не стоит...

— Нет... ничего на память не приходит.

Станный незнакомец уже не знал, что еще сказать, да и у Мадиса не было желания дальше разговаривать. Трубку он как раз в это время докурил. И тут незнакомец спросил, как бы продолжая прежний разговор и тыча при этом носком своего стоптанного сапога в деревянное колесо телеги:

— А про богатырей у вас тоже ничего не слышали?

— Не, не слышали.

— И про такого не слышали, которого Калевипозг зовут?

— Не, не слышали. А-а, про этого...— Мадис вынул изо рта потухшую трубку, чтобы не мешала.— Про Калевипозга, про его слышали.

— Правда?— Незнакомец почему-то удивился.

— Да, про его слышали. Здоровенный камень и посеичас у нас за гаванью Мяннисааре на берегу лежит.

— Который Калевипозг бросил?

— Он самый, ага. Оттудова с берега Лээтсе бросил, через весь залив Лахелере.

— А это далеко?

— Верст шесть добрых будет.

— А камень большой?

— Две сажени высотой, да с лихвой три в толщину будет.

— А куда же он целился? Про это не говорят?

— Не, этого не слышал.

— А злой дух не бродил там в ваших местах? Может, в него метил?

— Этого вот не знаю.

— Ну, а в какую сторону света бросил?

— Кажись, на северо-восток.

— Гм. Может, он сюда, в Кейласкую церковь, метил, да промахнулся. Этого не слышал?

— Нет, того никак не слышал. Что же это он, в церкви камни бросал?

— Случалось и так. Даже в чужих странах не оставлял церкви в покое. Слышал про город Турку в Финляндии?

— Почему же не слышал. В прежние времена лодкой туда из нашей деревни ходили.

— Вот в Финляндии первую церковь построили в городе Турку. С того времени прошло добрых шестисот лет. А Калевипоэгу это не понравилось. И он запустил в нее отсюда, с нашего берега, громадным камнем.

— Во, должно быть, мужчина был.

— Да уж что говорить.

— А попал или мимо?

— Нет, не попал. А все ж таки даже с такого расстояния только на несколько сот шагов промахнулся. Когда в море против гавани находишься, его до сих пор показывают.— И, чтобы не показалось, будто он изображает из себя много ездившего человека, он добавил: — Сам-то я там не был. А вот мужики вашей деревни, может, когда-нибудь проходили там на парусниках и видели.

— Ежели дотоль не случилось слышать, так ведь только половину дела видишь,— медленно произнес Мадис и положил трубку в карман.— Так что этот Калевипоэг взаправду такой сильный мужик был?

— Взаправду.

— А про него и в других местах знают?

— Да, во многих краях.

— А какие дела он еще делал так, чтобы следы оставались?

— Я и сам многого не знаю. А если заранее не случилось слышать, так ведь только половину дела видишь. Может быть, когда-нибудь и доведется побольше разузнать да повидать.

— Может, и доведется.— произнес Мадис не сразу и очень тихо, еще немного помолчал, потом гаркнул своему гнедому «н-ноо» и затрясся по направлению к дому.

А домашний учитель сел здесь же на камень, достал маленькую записную книжку в деревянном переплете, карандаш и на коленях записал на чистом листке:

О КАЛЕВИПОЭГЕ

на косе Лоххосабба

id, близ деревни Лоххосалло на берегу

большой камень (2×3с)

что К. метнул с берега Лээтси (Лээтце)

*Ziel unbekannt*¹.

В тот самый вечерний час, когда домашний учитель в комнате, нанятой им в Таллине, уложил в дорожную корзину среди прочих пожитков и записную книжку в деревянном переплете, чтобы на следующее утро спозаранок отправиться дилижансом в Петербург, в Кейле господин Хольц вошел в свой кабинет. Он был утомлен длительной должностной поездкой по проселочным дорогам и поэтому зол. Он тяжело опустился в кресло с дугообразной спинкой, стоявшее перед письменным столом, и равнодушно взглянул на какое-то письмо, которое лежало на столе.

*Richtig*²— служанка ему говорила.

Он взял письмо, поднес его к свече, и, держа далеко от своих серых, с синевою, немного стеклянистых глаз, стал читать.

Он еще раз внимательно прочитал письмо, потом громко засопел, сжал письмо в руке и довольно долго сидел, поставив на стол локоть, со смятым листком в

¹ Цель неизвестна (нем.).

² Правильно (нем.).

кулаке. Пламя свечи отбрасывало на стену тень, напоминавшую большую взлетающую птицу.

Через некоторое время он бросил письмо в корзину для бумаг и буркнул:

— Lunatiker...¹

Четыре дня спустя домашний учитель, в сопровождении старшего слуги своего хозяина, вошел в мансарду размером в сажень, где ему надлежало теперь жить на его новой службе. Старший слуга критически оглядел дорожную корзину, которую домашний учитель держал под мышкой.

«Тут плятц мало. В подвале — ин келэр — плятц есть».

И корзина была поставлена в подвал, где лежал всякий хлам, принадлежавший слугам господского дома. Там она простояла всего два месяца. Вечером шестого ноября в Петербурге поднялся сильный западный ветер. Он постепенно крепчал, он превратился в бурю, и буря все росла. Как Пушкин позже о ней написал:

Погода пуще свирепела,
Нева вздувалась и ревела,
Котлом клокоча и клубясь,
И вдруг, как зверь остервенясь,
На город кинулась. Пред нею
Все побежало, все вокруг
Вдруг опустело — воды вдруг
Втекли в подземные подвалы,
К решеткам хлынули каналы,
И всплыл Петрополь, как Тритон,
По пояс в воду погружен.

Осада! приступ! злые волны,
Как воры, лезут в окна. Челлы
С разбега стекла бьют кормой.
Лотки под мокрой пеленой,
Обломки хижин, бревна, кровли,
Товар запасливой торговли,
Пожитки бледной нищеты...

¹ Лунатик (нем.).

«Пожитки бледной нищеты!..» среди них десятки, сотни всевозможных корзин... В том числе — ивовая дорожная корзина домашнего учителя, в которой завернутая в пангалоны, связанные из домашней шерсти, хранилась записная книжка в деревянном переплете с заметкой о камне Калевипоэга на берегу Лохусалу...

Вот почему даже доцент Лаугасте только прошлым летом узнал о том, что существует камень Калевипоэга.

ПОЯСНЕНИЯ

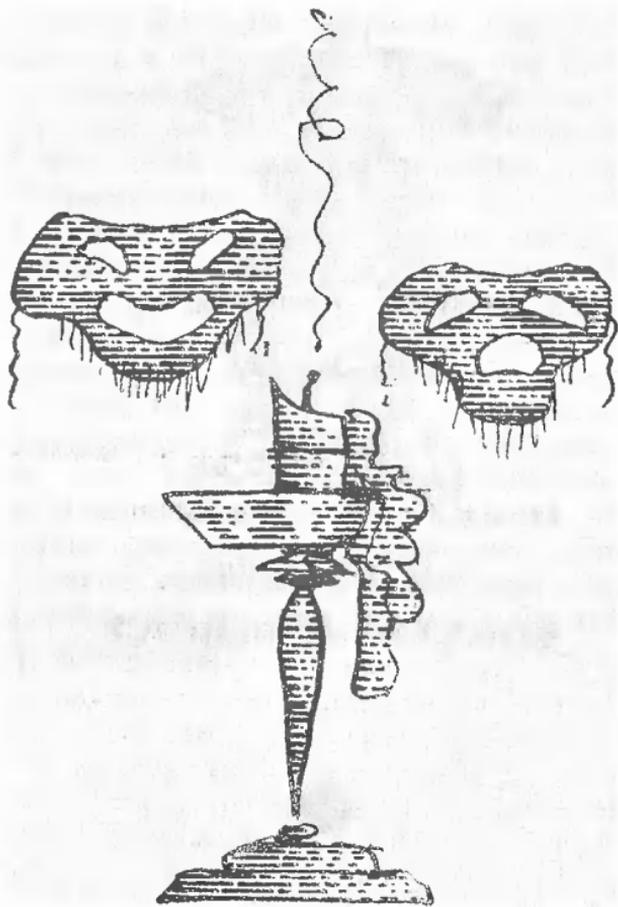
Этот эпюг, в основу которого положено событие, относящееся к молодым годам человека, записавшего эстонский народный эпос «Калевипоэг», обрывается, по мнению автора, крайне своевременно: Крейцвальд уезжает в Петербург. Для автора, так же как и для биографов, следы Крейцвальда здесь теряются, чтобы снова возникнуть в 1826 году в Тарту, где Крейцвальд уже студент-медик. До сих пор не удалось установить, в чьем доме он был домашним учителем в Петербурге в 1824—1825 годах. Неизвестно также, при каких обстоятельствах он оттуда уехал. Известно только, что он там находился в весьма чреватое историческими событиями время. Не исключено, что 14 декабря он своими ушами слышал роковую стрельбу на Сенатской площади и даже — а почему бы и нет — своими глазами видел действовавших там людей... Не исключено также, что он был как-то связан — до или после — с происшедшими там событиями, ибо его работодателем мог ведь оказаться, например, даже...

Да-а, автор испытывает особую радость от того, что эта история своевременно оборвалась, ибо трудно вообразить, какие соблазны для биографической импровизации могли бы возникнуть, если бы он позволил себе ее продолжить...



час на стуле,
который вращается





Wenn man die Geschichte schreiben
könnte,
Wie sie wirklich ist!¹

Койгула

Also² — теперь мне придется все же взять
перо, бумагу и приняться за письмо.

Э-эх!.. Ведь происходило все это пятьдесят или даже
шестьдесят лет тому назад (подумать только, у нас
сейчас уже тысяча девятьсот тридцатый...) И зачем ме-
ня вынуждают снова в этих делах копаться! Что зна-
чит копаться?! Никакого копания! Нет, ни в коем
случае — этому молодому человеку в угоду! Как же
его бесстыжее имя?.. Опять у меня очки запотели, а
замшу Аннага возле пресс-папье не положила. Придет-
ся главному доктору носовым платком... х-х-х, х-х-х...
Немного почище стали... У меня несомненно conjuncti-
vitis. От первого снега. Но в сильной мере и склероз
сетчатки. И склероз. Так как же его имя?.. Пальм...

¹ Если бы только можно было писать историю такой, какая она
есть! (нем.)

² Итак (нем.)

Не слышал о таком. Ну — eine Siegespalme — пальма победы не вырастет для этого господина после его статьи. Нет!

Итак:

Милостивый государь...

Я — ныне еще здравствующий сын Иоганна Вольдемара Янсена, который гордится трудом своего отца на благо народа, по старости лет и по слабости здоровья уже не в силах хвататься за перо в попытке защитить имя и честь своей семьи от посягательств разных лиц. Однако, ежели Вы изволите утверждать, что будто бы Карлу Роберту Якобсону было известно, что будто бы даже дети Янсена знали, что Янсен-отец получал от дворянства деньги тысячами за то, что издавал «Ээсти постимээс» в духе, угодном немцам, то я все же позволю себе спросить Вас, от куда Вы получили эти сведения. Fragezeichen! Ausrufungszeichen!¹

Так. Да. Под всем этим поставить свою подпись не составит для меня ни малейшего труда. Дальше.

Что же касается Якобсона, который для него авторитет, то я хочу удовольствоваться лишь тем, чтобы привести ему на память... привести ему на память то, что писал о нем один из самых больших его тогдашних почитателей... Август Китц-берг. Август Китцберг. Я цитирую:

«Смерть Якобсона была своевременной для его чести и славы. Проживи он дольше, закатилось бы его солнце. Так было со всеми нашими ведущими умами, так будет продолжаться и впредь: у всех у нас слишком много рабства в крови и зависти друг к другу, мы не умеем быть единогодушными и во взаимных суждениях — уравнивать хорошим дурное. Мы тонем в критике и ниспровержении»*.

До сих пор. Да... А дальше?..

Удобная это штука все же — вертящееся кресло: сиди себе за письменным столом, пиши — надоело — поверни немного торс, скрип! — и ты сидишь за роялем... играешь.

¹ Вопросительный знак! Восклицательный знак! (нем)



...А известно ли вообще этому господину Пальма-победы, кто мы, Янсены?! А?

Известно ли этому господину, что наш отец был основателем первой большой газеты эстонского народа? Известно. А известно ли ему, что значит для народа его первая большая газета? Что народ рождается вместе со своей первой настоящей газетой? Известно? Нет, не известно! Что у народа на долгие-долгие времена, может быть, даже навсегда, остается то лицо, какое было присуще его первой большой газете? Известно ли ему, что наш отец был... ну... как широкий сосуд, полный сверкающей жизнерадостности с кисловатым запахом земли, полный добрых намерений и деятельного духа. Не известно!! А какой он был юморист! Известно ли этому господину, что все прославленные немецкие *Sprachvögel*'и¹ по сравнению с ним — бесталанный мусор?! А Лидия? Разве не была Лидия самым большим поэтом, когда-либо рожденным этим народом?! Да. Самым большим. Ну это, надо думать, сему господину известно. А Харри? * Знает ли сей господин, что сорок лет назад Харри был одним из самых блистательных европейских журналистов? Нет, об этом у сего господина нет, конечно, ни малейшего представления! Затоптать в грязь честь Янсенов — это он может! А как до сих пор говорят о Харри старые почтенные люди в Будапеште и Берлине, про это он не

¹ Шутник (нем.).

спрашивает! А Эжени! Разве не была Эжени одной из самых остроумных женщин своего времени, по крайней мере, в нашей стране?! Ибо, разве не от матери унаследовал Эльмар * свою, быть может, еще большую одаренность! Или, может быть, напрасно избирали ее сына Эльмара членом десяти заграничных ученых обществ и профессором Варшавского и Ростовского университетов?! Позвольте, однако же, спросить, какой из университетов удостоил господина Пальма пальмой победы? А?

...Я-то, вне всяких сомнений, самый маленький человек среди Янсенов... Отец был — энергия, труд, песня, шутка — и хитрость тоже! — сок, дрожжи, соль... Лидия — музыка и эспри. Музыка и эспри в такой концентрации, как будто у здешнего мужицкого народа невесть какая древняя культура! И ведь три четверти всех цветов этой культуры расцвели на древе одной этой девушки... А Харри — он тоже был особенный. Несомненно. Пунктирные ассоциации, логичность, аналогии. Континентальный взгляд! (Неустойчивость, податливость — это у него тоже было.) Но какой магнетизм, какой *charme*... Отец был естество этого народа, Лидия и Харри — его культура. Для меня уже мало что осталось. Ну да: *doctor medicinae*, офтальмолог, хирург. Но таких — сотни. Конечно, господину Пальму следовало бы знать: при трех царях я все же дошел до коллежского советника. А здесь — в республике господина Тыниссона — меня произвели в полковники медицинской службы. Хотя эти самые молодые оболтусы с сине-черно-белыми повязками из Эстонского студенческого общества (от которых я, по правде говоря, не считая тех лет, когда был цензором, оставался в стороне...), хотя эти самые, да... Ну, если уж я начал мысленно беседовать с господином Пальмом, то не должно у него возникнуть впечатление, будто я хочу что-то утаить. В минувшем году, первого мая, посмотрев на парад, я медленно шел вдоль улицы Айя и когда остановился на углу возле «Ванемуйне», подумав, что и это прекрасное здание — тоже одно из детищ моего отца, оттуда из дверей трактира вышли два студента в сине-черно-белых декелях (по случаю первого мая у них были раскрасневшиеся лица и на головах декели, а пушок над верхней губой в пене от только что выпитого

пива), они взглянули на мою шинель, на погоны и я услышал, как один студент спросил другого.

— Это еще что за полковничиска?

И я ясно расслышал, что ответил второй. Потому что, хоть сагагаста у меня довольно большая, но, по счастью, presbyakusis¹ еще мало дает себя знать. И ответ второго студента почти совсем примирил меня с первым. Ибо второй сказал:

— Тсс! Это же папаша Янсен...

Точно так, как говорили про отца.

— Да.

А известно ли господину Пальму, что папаша Янсен — значит Янсен-отец — вообще мог бы повернуться к этому народу задницей? Известно? Ибо, если твоей женой была дочь сыровара с мызы, кроме того, урожденная фройляйн Эмилия Кох, ни больше ни меньше, и если у тебя самого, шут его знает откуда, безупречно чистый немецкий язык — Herr Johann Woldemar Jannsen, bitte schön², не мужицкий кистер, не какой-то там газетчик, а всеми уважаемый консисториальный или камеральный чиновник, или кто там еще, и ты принят как-никак в самых солидных кругах, то будьте любезны... А почему папаша Янсен по этому пути не пошел? А? Я скажу вам почему. Он так не поступил потому, что у него было большое и чистое, честное сердце крестьянина! Да-а! А теперь является господин Пальм и разъясняет, что...

Ну да. Однако...



Однако кому же надлежит бороться за честь нашего отца, если я останусь безучастен?! Я ведь его

¹ Страх перед старостью (лат.).

² Господин Иоганн Вольдемар Янсен, прошу пожалуйста (нем.).

единственное оставшееся чадо. Только меня одного не поглотила еще серая волна вечности. В любом случае я должен за него бороться. До конца. Даже если бы мы все еще все вместе сидели в лодке... в зеленой плоскодонке... воскресным вечером... на реке Пярну, у старого Сиймского моста, в прибрежном камыше... все же именно мне надлежало бороться за отца — мне — потому что так безмерна моя вина перед ним. О которой господину Пальму ничего не известно. О которой господину Пальму никогда и не должно стать известно. Шестьдесят лет она гнетет меня. (Нет — правильное будет пятьдесят. Все равно.) Ибо люди более сильные, чем я, сгибаются и от менее тяжкого бремени. Каждый раз, когда все это снова приходит мне на память, я испытываю глухую боль в *testes*, так бывает, когда видишь что-то беспредельно ужасное. До сих пор. Несмотря на то, что в других случаях моя врачебная деятельность притупила остроту таких вспышек. Настолько, что я почти не ощущал этого в девятнадцатом году, в Юхкентале, где мне приходилось иметь дело с пулевыми ранениями головы или вытекшим глазом.

Нет-нет, я вовсе не хочу сказать, что мое детство и моя юность не были счастливыми. Напротив. Это было поистине радостное время. Особенно в Пярну. Хотя мы и были там *die Überflüssigen*¹. Ну да, немецкие мальчишки каламбурили и кричали нам через реку *die Überflüssigen*... И по месту, где мы жили, мы принадлежали к таким. Однако по школе — мы были вполне пернауэры*. Даже я — «мизинец» — учился не дома, не в окраинной папиной школе, а в приготовительных классах городской гимназии, и Лидия занималась со мной французским языком... там, в нашей тогдашней столовой, рядом с классом... На переменах дети устраивали за стенкой ужасающую возню и рядом с кухонной дверью то и дело постукивал Лэзинн ткацкий станок, потому что покупать материю в лавке на такую большую семью было все-таки слишком дорого. Иногда за стенкой папа играл для учеников на фисгармонии... И Лидия учила меня французскому язы-

¹ Букв. заречные; лишние (нем.).

ку: *J'aime mon père, j'aime ma mère, j'aime mes frères, j'aime mes sœurs. Tu aimes ton père, tu aimes ta mère, tu aimes tes frères, tu aimes tes sœurs*¹ . . .

— Однако, *Eugenchen!* Почему ты смотришь в окно, когда я учу тебя? Как же ты сможешь выучить этот язык при таком отношении?! У нас образованный человек непременно, помимо немецкого, должен знать еще и французский язык. И эстонский, само собой разумеется, тоже— если он из такой семьи, как твоя. Говорю тебе: не смотри на этих ласточек. Повторяй за мной: *Je vole, tu voles, il vole, elle vole, nous volons, vous volez, ils volent, elles volent*² . . .

Да, помню, этому слову она учила меня, когда я смотрел на ласточек... Именно этому слову, как будто сам черт его подсунил... Ох, как бы мне хотелось запустить камнем в ту противную старую деву* (ей, видно, мало было экземы, которой бог ее покарал) за омерзительные слухи, которые она распустила, будто Лидия, наша милая Лидушка, пусть порой даже какая угодно эксцентричная, но кристально честная Лидуша... была клептоманкой. Мне хочется камнем запустить и в супругу посла*, которая устроила из этих слухов литературную сенсацию... Только много ли может сделать один злосчастный старик на пенсии для защиты чести своей семьи!.. Не попадут мои камни ни в могилу одной, ни в придворный шлейф другой... Да. Разве по сравнению с этой клеветой что-нибудь значит все то пиршество восхвалений, которыми эта госпожа забросала нашу Лидию. Все равно — оклеветана, оклеветана. Однако, плюну-ка я на все это с высокого дерева! Тьфу, тьфу! Тьфу! (Никогда за всю мою жизнь я так не поступал.) Я плюю на это, ибо столь несуразные разговоры истинно не стоят того, чтобы приходить из-за них в негодование.

Однако что же я могу предпринять в защиту нашего несчастного отца?

¹ Я люблю моего отца, я люблю мою мать, я люблю моих братьев, я люблю моих сестер. Ты любишь и т. д. (*франц.*).

² Я лечу, ты летишь... (Но этот глагол имеет и второе значение — воровать.)

Con moto Franz Abt

The musical score is written for voice and piano. It is in 6/8 time and consists of two systems. The first system features a vocal line in the upper staff and a piano accompaniment in the lower staff. The second system continues the piano accompaniment. The music is marked 'Con moto' and 'p' (piano). The composer's name, Franz Abt, is written in the upper right corner.

Этот романс Абта я играл в наши первые тартуские годы. В квартире на улице Лодья* у нас уже ведь был рояль. В доме Германа — золотых дел мастера с золотыми усами... А мне еще не было полных одиннадцати... Летом, по утрам, когда я просыпался и окно в комнате бывало открыто — брат Юлиус тогда еще был жив и каждое утро делал гимнастику, а Харри учил нас спать с раскрытым окном, — ветер приносил к нам поверх просмоленных крыш запахи речной грязи, и камыша, и большой воды и далекий гул рыночной площади...

Да, я был десятилетним мальчишкой, когда впервые увидел, да, господин Пальм, я с ам видел, каким человеком, по самой сути своей, был наш отец...

Однажды я просто кожей почувствовал — что-то случилось. И, разумеется, обратил внимание на то, что отец и Лидия о чем-то между собой шептались. И что после сбеда Лидия торопливо пару раз куда-то ушла из дому и, возвращаясь, рассказывала отцу о ка-

ких-то людях, которые станом расположились со своими телегами на берегу реки, в самом дальнем конце рынка. На мои вопросы Лидия не отвечала, а отец велел мне замолчать. Это еще больше разожгло мое любопытство. Я решил сам посмотреть, что там, на краю рынка, происходит. Был теплый сентябрьский вечер. И уже наступили сумерки. Я пошел на рыночную площадь и увидел: в самом деле у реки собралось несколько десятков деревенских телег, которых обычно в этот час уже не бывало. Выпряженные лошади были привязаны на берегу к кулям обкорнанных ив и спокойно хрупали овес. Тут же вокруг трех или четырех костров сидели мужики, в огне пеклась картошка. Окрест кроме них никого не было видно, только двое городских приближались по улице Ууэтуру, а двое других, беседуя между собой, шли в сторону Каменного моста. И как раз в тот момент, когда я уже миновал площадь и крадучись подошел к кострам, на мосту загрохотали две телеги, они ехали со стороны Заречья и свернули на рыночную площадь, а оттуда к кострам у реки.

— Здорово, мужики... вы что, и есть посланцы?

— Тихо ты... Ну мы. Не ори про это так громко. А вы откуда?

— Из Лайузе...

— А мы пыльтсамааские... Ну, дак как, выдала вам полиция паспорта?..

— Ага... Выдала.

— Здесь, знаешь, этих колоточных да квартальных хоть пруд пруди, так что лучше уж язык за зубами держать.

— Когда пароход-то пойдет! И откуда?

— Спозаранку, в седьмом часу. Вон тот паровик, что у моста пытит.

— Оттудова до Петербурга поди верст двести будет...

— Двести-то верст не страшно, ежели нам удача случится...

Дальше я слушать не стал. Я побежал обратно. Когда я свернул на улицу Ууэтуру, навстречу мне попались еще двое городских и как раз у нашего дома, в чердачном окне амбара, выходявшем на улицу, промелькнули четыре или пять пар солдатских сапог. В

ту ночь я дважды просыпался от того, что в соседней комнате возился отец. Я выскользнул за дверь и взглянул к нему: к открытому окну в сторону реки была приставлена стремянка, отец, полностью одетый, стоял на ступеньках и вглядывался в темноту. Когда он ушел, оставив стремянку на месте, я, как был в ночной рубашке, сразу полез наверх и тоже выглянул на улицу, но кроме тьмы и гребня крыши противоположного дома мне ничего не было видно. Тогда я притащил из кухни пустой ящик из-под дров и поставил его на верх лестницы. Когда я залез на ящик и привстал на цыпочки, то увидел, что над противоположным домом стояло зарево от горящего у реки костра. Около шести часов утра я услышал, как рядом в комнате Лидия и отец шепотом разговаривали:

— А какое право имеет на это полиция?! Люди ведь хотят говорить с правительством! Разве это запрещено?!

— Ты — наивный ребенок. Они хотят жаловаться на своих мызников, на барщину, на телесные наказания и прочие насилия.

— Когда это должно произойти?

— В семь часов, когда все пойдут на пароход.

— Откуда ты узнал?

— В канцелярии полицмейстера.

— А кто это будет делать?

— У реки во дворах запрятаны две роты солдат.

— А ты — ты все-таки пойдешь?

— Кому-то ведь нужно пойти.

— А что если мне пойти вместо тебя?

— Тебе — девочке — они не поверят.

Через минуту отец вышел из комнаты, и было слышно, как хлопнула входная дверь. Я уже успел одеться. Только ботинки были на босу ногу. Я выбежал черным ходом через двор в темную мглу, в густые утренние сумерки и увидел: отец шел к реке, близко держась домов. Я последовал за ним на некотором расстоянии. По улице Лодья тоже по направлению к реке медленно двигались три или четыре человека. Я ясно слышал их шаги и, несмотря на сумрак, различал тени. Я мог бы побиться об заклад, что это были городовые. Я спрятался за каменную афишную тумбу, которая как будто нарочно для этого стояла на краю тро-

туара, а отец, впереди, казалось, совсем слился со стеной дома. После того как городовые нас миновали, я увидел, что отец отделился от стены и двинулся вдоль домов дальше. Я следовал за ним по пятам, обогнул, как и он, полукруг рыночной площади... Дома я как раз тогда читал, ну, как же его... «Lederstrumpf»¹ этого американца и сразу понял, отец хотел идти берегом, чтобы приблизиться к крестьянскому стану со стороны реки, где туман был особенно густым, и помимо того, если бы он шел напрямик через площадь, его было бы издали видно в свете костров. Ноздрями я ощутил свежую прохладу реки. Ивовые стволы и лошади были совсем рядом, отец прошел между ближними телегами:

— Эй! Мужики! Кто там у костра не спит? Тихо! Идите сюда!

— А? Чего надо?

— Это вы — посланцы народа, которые собираются утром ехать пароходом в Нарву?

— Никакие мы не посланцы народа, какие мы посланцы... Мы сами народ... А господин кто будет?

— Слушайте, что я скажу. Если в семь часов вы сядете на пароход, из этих вот дворов выйдут две роты солдат и возьмут вас под стражу. Мызники решили, что незачем вам ехать в Петербург.

— Но у нас в кармане паспорта для поездки?

— Вот по ним-то и будут знать, кого взять. Так что если хотите туда добраться, разойдитесь за этот час отсюда. Только не все разом. По одной или по две телеги. Кто через мост, кто на Лууньяском пароме. Кто куда. И — только по тракту. Смотрите, большим обозом не собирайтесь. За Нарвой можете опять все стянуть-ся вместе. А теперь — действуйте быстрее.

Много народу уже вышло из темноты и окружило отца.

— О чем речь?

— Нас взять под стражу?

— Самого бы его за такие слова под стражу...

— Постой, постой...

— А кто вы такой будете? И какое вам до нас дело?

— Кто я — это не имеет значения. Поверьте тому,

¹ «Кожаный чулок» (Ф. Купера).

что я говорю вам. А дело до вас мне есть, потому что своих единоплеменников от кандалов хочу спасти, а у солдат за пазухой они для вас припрятаны. Шестьдесят пар. Это я знаю.

— У нас в кармане паспорта из полиции — станем мы верить тому, что тут мелешь! Скажи, кто ты?!

— Является как призрак...

— У самого рожа бурмистра...

— Тоже, нашелся страшать!

— Нет, мы всякой болтовне верить не станем.

— Ну, хорошо, хорошо. А если бы папаша из «Постимээс» напечатал в своей газете то, что я вам сказал, — тогда поверили бы?

— Ну... тогда...

— Да он ведь про это не печатает!

— К сожалению. А если он сам лично говорит вам об этом — так вы не верите?

— Что? Папаша из «Постимээс»?

— Ну да, я и есть Янсен из «Постимээс».

— Ты и есть?

— В эдакой шляпе?

— Слушай, погоди, покажи-ка свое лицо?

— Подойди сюда, к костру поближе...

— Ей-богу — он!

— Он самый. Я к тебе приходил прошлый год в газету. Из-за школьной крыши. Иль не помнишь?

— Не помню, дорогой. Ко мне много народу ходит. Ну, теперь поверили? И уйдете?

— Ну да, теперь-то мы... Надобно всех разбудить... Да, теперь-то мы...

— А ты сам-то как отсюда уйдешь? Как бы они тебя не схватили...

— Я-то уйду. Ну — с богом!

Отец повернулся в мою сторону, и я прижался к шершавому, влажному обрубку ивы. Когда отец прошел мимо меня, я снова побежал за ним следом, меня никто не заметил. А я видел, как отец поравнялся с баней Рейнхольда, и оттуда ему навстречу вышли двое в мундирах. Уже настолько рассвело, что, наблюдая из соседней подворотни, я узнал господина Яннау, вместе с которым был пристав.

«Morgen, Herr Polizeimeister! So früh schon auf den Füßen?»

«Morgen, Herr Jannsen — Sie auch, wie ich sehe. Was brachte Sie so früh aus dem Bett?»¹

— Господин полицмейстер, вы охотитесь за добычей для тюрьмы, а я — для газеты.

— И что же вы нашли для газёты?

— Да, все те самые мужики, там у реки. А вы не знаете? Умилительная история: они едут, чтобы говорить с нашим милостивым государем-императором.

— Про них — bitte sehr — ни одного слова. Приказ генерал-губернатора.

— Ах вот как... Жаль, жаль. Получилась бы поистине трогательная история... Но раз приказ, значит приказ. Само собой разумеется. Спасибо, что предупредили.

«Aufwiedersehn, Herr Polizeimeister! Und Weidmanns Heil!»

«Aber Herr Jannsen, das darf man doch nicht so offen wünschen! Sie verderben mir noch den Fang...»²

Вслед за тем, как отец вошел в дом, а я еще оставался стоять в подворотне, я услышал, как с рыночной площади с грохотом тронулись первые телеги. В девять часов пароход, нанятый крестьянами, выпустил пар из котла, ибо ни один из посланцев не ступил ногой на его палубу, солдат тайком вывели из окрестных дворов, а ордунгсрихтер Энгельгард со своими соглядатаями топал по рыночной площади и шипел:

— Verfluchtes Gesindel...³

Вот какой человек был наш отец, господин Пальм! Благодаря ему крестьяне все же попали к царю. Много ли толку от этого вышло, это уже, конечно, другой вопрос. А что их потом прижал господин Валуев* и кое-кто в Сибири оказался, в этом уж наш отец не повинен.

В скором времени здесь, в Тарту, он превратился из пярнуского газетного папаша в подчинного руководителя эстонского народа. Летом шестьдесят девятого года

¹ «Доброе утро, господин полицмейстер! Так рано уже на ногах?»

«Доброе утро, господин Янсен, я вижу — вы тоже. Что же заставило вас так рано подняться?» (нем.)

² «До свидания, господин полицмейстер! Ни пуха, ни пера!»

«Однако, господин Янсен, нельзя же это говорить так открыто. Вы еще испортите мне ловлю» (нем.).

³ Проклятая чернь (нем.).

уже на улице Тийги, не так ли, в нашем доме несколько недель кряду с утра до вечера, даже до полуночи, была страшная суতোлка. Ради гостей мамаша все время хлопотала на кухне, так что ей уже некогда было обращать внимание на боли в пояснице и даже сменить чепец. Все это время наш дом был полон небывалой суматохи: беспрестанно приходили и уходили разные люди — деревенские и городские, к отцу забегали по делам газеты, заходили члены праздничного комитета, то и дело приезжали из деревень хоровые деятели, они шли к отцу за советом по поводу песен и нот, не забывали дороги и члены правления «Ванемуйне» и, наконец, приходили участники торжества, приносили приветствия; заходили просто любопытные, бывали друзья и иностранцы — Аспелин, Сван, Хунфальви*... И отец неизменно в центре этой огромной суеты: то в редакции, то на совещании, то в зале общества, то на репетиции хора, то на сцене, то за кафедрой, то участвуя в шествии — оживленный, общительный, потный и радостный. Дома по большей части просто в подтяжках; только когда появлялись иностранцы, он второпях завязывал галстук бабочкой и быстро натягивал свой черный redingote.

И еще — когда у нас бывал пробст Виллигероде*.

А почему, собственно, думают, что отцу не следовало быть с господином Виллигероде почтительным? На каком основании считается, что ему надлежало вести себя по отношению к господину Виллигероде бесцеремонно? Я скажу вам: так думают телячьими мозгами на основании полной неосведомленности.

Господин Виллигероде был в высшей степени образованным человеком. Сын обер-учителя гимназии, так ведь. И пробст. И духовный цензор. И советник консистории. Немец, конечно, но пастор в эстонском приходе. Большой любитель музыки и истинный барин. И уже по его серебряным бакенбардам было сразу видно, что в недалеком будущем он непременно станет *doctor theologiae h. c.* Так что вовсе не нужно быть в душе кистером (как, будто бы, сказал Якобсон), чтобы склониться перед господином Виллигероде в почтительном поклоне! Сам-то Якобсон, может быть, только походя кивал ему и шел дальше. А я скажу: и в таких вопросах тоже наш отец с соци-

алистов и нигилистов примера не брал. Нет! И более того, самому Виллигероде было отлично известно, что только благодаря политической мудрости Янсена председателем большого праздничного комитета был избран Виллигероде, Янсен же — его помощником, а не наоборот. И так, этот большой певческий праздник был весело отпразднован. (И никто, кроме Якобсона, не нашел в этом повода для злопыхательства.) А Лидия в довершение всего еще заставила всех нас играть на сцене в «Ванемуйне», и теперь они считают, что это было началом их национального театра. И дом наш все более прочно становился центром эстонской духовной жизни. И wirtschaftlich¹ мы жили уже не так скудно, так что отец приказал маме прекратить домашнее изготовление свечей для освещения квартиры и редакции — у нас уже имелись деньги, чтобы покупать свечи в лавке. Ведь у «Ээсти постимээс» к тому времени было уже свыше трех тысяч подписчиков!.. И, разумеется, не только потому, что Якобсон присылал из Петербурга свои статьи, и не из-за тех споров, которые как северное сияние разгорались вокруг этих статей в газете... Даже несмотря на эти споры, господин Виллигероде и после праздника стал все чаще к нам заходить. Как будто церковь Марии еще ближе придвинулась к нашему дому на улице Тийги, и отец отнюдь не имел ничего против этой чести... Он принимал господина пробста с почтительным радушием, и каждый раз Лээна получала распоряжение подать на стол рейнвейн... Помню, однажды я забежал в прихожую, чтобы почистить ботинки (перед тем как идти в «Ванемуйне» на репетицию «Сааремааского племянника»*), дверь в кабинет отца была приоткрыта, и мне было видно кресло и слегка сутулую спину господина Виллигероде, и напротив него, перед диванным столиком, широкую фигуру отца в густых клубах сигарного дыма... И я отлично слышал, как отец произнес немного в нос своим звонким баритоном:

— Слава богу, нам в самом деле не приходится роптать. Мы знаем, как нас поносят дворяне за то, что мы печатаем в своей газете кропанье нескольких молодых и горячих голов. А с другой стороны — слышим,

¹ Здесь: материально (нем.).

как эти самые горячие головы честят нас за то, что прежде чем напечатать, мы позволяем себе немного обкорнать им перышки... Однако здесь, на земном шаре господа бога, это естественный ход вещей. (Тут я услышал, как забулькало вино, отец наполнил рейнвейном два бокала.) У нас издатель газеты должен уметь не только что по яйцам ходить, о чем нами уже давно было говорено. Ну, выпьем же этот дар божий, господин пробст. (Как раз в это время я надевал в прихожей свое тесное пальтишко с бархатным воротником и не успел еще просунуть руку в рукав, как увидел, с каким удовольствием отец отхлебнул вино и облизал губы.) У нас издатель газеты должен уметь делать трижды, четырежды столько, сколько наш Спаситель требовал от христианина: воздадите кесарева — кесареви и божия — богови. Да, кроме того, он должен еще уметь воздавать своим писакам, что им надлежит, а читателям — что читателям надлежит, а читателям надлежит так много, что этого вообще не перечесть, если на твоих медовых сотах их уже несколько тысяч набралось. Не так ли? А в каких-то редких случаях издателю ведь нужно уметь и своему собственному сердцу долг воздать, не правда ли...

Я уже выходил из прихожей и мне было как-то неловко, что я невольно подслушивал, поэтому из дальнейшего я уловил только первые слова г-на Виллигероде.

— ...Та... та... коспотин Янзен, ви действительно такой тшалофек, для которово на фашем местном языке ешо не найдено карошее слово — ein Virtuose. Но как раз поэтому...

Это было на самом деле правильное слово, и именно поэтому отцу и удавалось из любого положения находить благополучный выход. Но это я стал понимать много позже. Ибо в то время у меня на такие вещи еще не было глаза, да и не до того мне было, потому что я бегал в «Ванемуйне», упражнялся на скрипке, готовясь к весеннему гимназическому балу, и в довершение, незадолго до того я познакомился на Schlittschuhbahn¹ с маленькой Амели — дочерью столяра, этого папаши Банделье*... Но все же я заметил, что в тот период некоторое время отец был как будто в сквер-

¹ Каток (нем.).

ном расположении духа, чего раньше за ним никогда не наблюдалось. И даже маме это бросилось в глаза. Ибо как раз тогда это и произошло: она все спрашивала отца, не повредил ли он себе желудок тушеной капустой, пока, наконец, отец весьма резко не отчитал ее: «*Na halt mir endlich das Maul, gnädige Frau!*»¹ и еще прибавил: «Наша мама считает, что у мужика, кроме живота, других забот нет!» А ведь такие вещи в нашем доме случались редко. И еще мне вспоминается, как в одно из зимних воскресений мы все, вместе с отцом, сидели за утренним кофе, его правая рука лежала на белой скатерти и, как обычно, сустав среднего пальца был запачкан чернилами. Лидия погладила его по руке и спросила:

— Отец, скажи, что с тобой?

Он взглянул на нее, и, как бывало всегда, когда он смотрел на Лидию, его лицо подобрело. Он глухо рассмеялся:

— Ха-ха-ха-ха-а! Со мной ничего. Я просто думал...

— О чем?

— ...Как быть тому вяндраскому мужику, которому топтыгин в лесу повстречался.

— И как же?

— Идет мужик задумавшись своей дорогой и глянь: перед ним топтыгин стоит, сам к мужику спиной и куцый хвост книзу висит...

— А дальше что было? — спросил я не только из вежливости, но и из любопытства, к тому времени я уже начал понимать, что за этими плосковатыми отцовскими баснями нередко зернышко смысла крылось.

— Что было... Глядит мужик, что другого такого случая не представится... раз... и схватил топтыгина за хвост.

— А дальше?

— Дальше было так, что топтыгин у мужика в руках — только и держать страшно и отпустить невозможно...

— А что было дальше?

— Вот об этом я и думал, что же дальше-то было.

Засим допили они с мамой, причмокивая, свой кофе, и отец отправился в церковь (они с мамой каждое воскресенье ходили в церковь Марии), но в этот раз у

¹ Да замолчи ты, наконец, милостивая государыня! (исм.)

мамы разболелся крестец и она осталась дома. И я отлично помню, как, возвращаясь в этот день домой, я шел по улице Тийги со стороны церкви Марии; был сильный буран и ветер дул мне в лицо (очевидно, это происходило в начале семидесятого); когда я подошел к нашему дому (у нас в первом этаже шесть окон подряд выходили на улицу, а два из них — в сторону нижнего города — были окнами отцовского кабинета), то я увидел, что отец стоит и смотрит в окно. Его взгляд был направлен на церковь Марии, так что он смотрел прямо на меня. Я приветствовал его улыбкой. И вдруг я понял, что он меня не видит. Я почему-то немного испугался, очевидно, даже не отдавая себе отчета, насколько это было чуждо отцу, который всегда все замечал. Я помахал ему рукой, но он по-прежнему меня не видел. Теперь я различал его лицо вблизи. И тут уж совсем перепугался. По ту сторону синеватого и затянутого льдом стекла его широкое лицо казалось странно бледным и плоским. Очки в тонкой железной оправе сидели на носу непривычно криво. Так, что левый глаз был за стеклом, а правый смотрел из-под оправы. Маленькие, острые, серые глаза отца были удивительно темными и пустыми. Как будто кто-то только что ударил его по лицу. Но во время обеда я уже ничего особенного за отцом не заметил. И вскоре я обо всем этом совершенно забыл. Потому что, как я уже говорил: я играл на скрипке и пел в школе вместе с другими мальчиками квартет Крейцера, знаете, вот этот:

Kreutzer

The image shows a musical score for the 'Kreutzer' variation. It consists of two systems of music, each with a treble and bass clef. The first system is labeled 'Kreutzer' in the upper right corner. The music is written in a key signature of two flats and a 3/4 time signature. The first system shows the beginning of the piece with a treble and bass clef, a key signature of two flats, and a 3/4 time signature. The second system continues the piece with similar notation. The word 'Kreutzer' is written above the first system.

Да... А когда Schlittschuhbahn растаял, по воскресеньям до обеда я ходил с Амели гулять в сад «Ressource». Но до того, еще по снежной дороге, отец на неделю, или на две, ездил в Таллин или в Ригу (или туда и сюда, не помню) и привез дорогие бронзовые светильники для нашего сада и красивую люстру в большую комнату... Наступило лето семьдесят первого года, отец поехал с Лидисей в Финляндию, там все Снельманы и Лёнроты принимали их прямо-таки с королевскими почестями, и когда Лидия вернулась, у нее будто крылья на спине выросли... И тут на нас обрушился этот смердящий пасквиль Якобсона... Эта подлая мерзость, которую уважаемый господин Пальм напечатал теперь в «Эсти кирьяндус». Так что отныне этот Stink- und Schmachwerk¹ стал достоянием эстонской литературы. Позор!



...Странная особенность присуща людям... собственно — даже несколько особенностей. Я уже долгие годы наблюдаю, что, очевидно, боязнь высоты и, как бы это сказать, ну соблазн высоты, что ли, im Innersten², одно и то же, так же как отвращение к известным вещам и, в то же время, какая-то тяга к ним... Едва ли когда-нибудь о нашем отце было сказано что-либо более гнусное, чем те вирши, которые этот самый архиякобинец из Кургья в начале своего пасквиля вложил в его собственные уста. Что-либо более подлое, да едва ли в течение всех десятилетий, прошедших после появления мерзостной статьи этого прохвоста, на протяжении которых ее пережевывали... И тем не менее эти строчки не дают мне покоя, я снова и снова их перечитываю...

¹ Дословно: вонючее и постыдное дело (нем.).

² В душе (нем.).

х-х-х-х-х-х, кстати, мне нет нужды их видеть, ибо вот уже шестьдесят лет как они живут у меня в памяти... Да, они мне омерзительны. Я испытываю потребность пойти и прополоскать рот водой Chlorodont. (А у вас, господин Пальм, такое желание не появляется?) И все же я должен их привести здесь. (А не по той ли самой причине и вы, господин Пальм, их приводите?!)

Коль хочешь мир кругом объехать,
И жить, не зная бед лихих,
Греби деньгу откуда можешь
И не печалься о других...¹

Деньги... Отец не отказывался от денег, если мог их как-то заработать. Он любил, чтобы у него в доме все было пристойно, не хуже, чем в уважаемых немецких домах, он любил хорошо одеваться, сытно поесть, любил дорогое вино, приятно пахнущую сигару... Но, господин Пальм, скажите мне, кого наш отец ради всего этого когда-нибудь надувал?! Он же не щадя своих сил с утра до поздней ночи работал. А ты, ты, ты — архиякобинец из Кургья (я сам слышу, что мой голос переходит в фальцет, я понимаю, что мне следовало бы сдержаться), ты, я ведь помню тебя, ты ходил к нам в дом на улице Тийги... Я был тогда четырнадцатилетним мальчишкой, у нас о тебе всегда говорили только хорошо, ибо другого в то время ты еще не заслуживал... Я помню твой темный сюртук, розоватое лицо, каштановые волосы, шкиперскую бородку и синие очки. Помню твою коренастую и все же подвижную фигуру: ты был немного Sitzriese² (как и Гете — так что это, впрочем, ничего не значит), но когда ты так властно говорил за столом, а затем вставал, наступало некоторое разочарование — ты оказывался отнюдь не великаном. Я не забыл одного памятного мгновения. У нас в саду, там у скамьи возле куста шиповника, где потом поставили один из бронзовых светильников... Ты стоял, подбоченившись левой рукой, а в правой держал экземпляр «Соловья с Эмайги», который как раз принесли от Лаакмана... Перед тобой сидели на скамье

¹ Перевод С. Семененко.

² Человек с короткими ногами и длинным туловищем (нем.).

Лидия, отец, Юлиус и Эжени, Леопольд стоял за ними, а Хурт со своей невестой — у того конца скамьи, где сидела Лидия, ты поднес книгу к близоруким глазам и своим резким рокочущим голосом начал читать, потом ты опустил руку, в которой держал книгу, ибо то, что ты читал, ты знал на память — чем дальше ты декламировал, тем менее резко звучал твой голос, он становился все более глубоким.

И погребли свободу
Твою, о край родной;
И плащ твой разделили
Они между собой;
И уксус подносили
Тебе, и караул
Приставили к могиле —
И ты навек уснул.

Сыны твои, рыдая,
Простерлись на пути —
Они к твоей могиле
Не смели подойти,
Затем, что на могиле
Крепка была печать.
И звезды не светили,
И мрак велел молчать.

И вдруг — заря живая!..
И ангельская длань
Простерта над могилой,
И слышен зов: «Восстань!»
И камень откатали,
И вспыхнула ступень...¹

И вдруг твой натренированный голос оратора сорвался. Мгновение ты молчал и затем, повернувшись к Лидии, произнес, но так, будто ты обращался к тысячам слушателей (это ведь было в твоём стиле):

— М-лле Янсен, отныне я нарекаю вас Койдулой!*

Ведь именно ты произнес эти слова! Ведь именно ты первым назвал это имя. Как и многое другое в этой стране ты сказал первым... Ответь: почему же потом ты причинял нам все то, что ты причинил...

¹ Перевод А. Кочеткова.

Ответь!.. Ты уже не можешь ответить. Ты лежишь где-то там в Пярнумааском лесу, в земле... Все уже в земле... Только я один еще жив. Я еще жив. И я должен бороться, чтобы твои слова стали ложью. Любой ценой. Я должен, я должен, должен. Ты, страшный дух разрушения, кто дал тебе право от имени отца произнести такие гнусные слова и теперь бесстыжий господин Пальм с наслаждением их печатает; теперь они вошли в эстонскую литературу, ничего не стоит его утверждение, что они не представляют собой никакой литературной ценности, по его следам их будут с удовольствием печатать вечно:

Что мне народ и что мне воля?
Родимый край — ну что мне в том?
Они мою согреют старость?
И приведут ли счастье в дом?¹

Как же посмел ты сказать эти слова от имени нашего отца, ведь ты же знал, как дорогá была ему родина?! Как много значила для него любовь эстонского народа?! И если его жизненный размах вмещал еще и другие, земные, интересы — неужели ты не мог ему этого простить, если не ради него самого, если не ради нас остальных, то хотя бы ради Лидии? Ради Лидии, которую ты сам окрестил Койдулой?!



¹ Перевод С. Семененко.

Ведь вся последующая жизнь нашей семьи была сплошным стенанием под бременем этой клеветы. При этом престиж требовал, чтоб наших страданий никто не видел. И между собой мы упоминали об этом лишь в редких случаях. Я не знаю, что говорили об этих делах отец с мамой — при мне они вовсе этого не касались. Так или иначе, но мама, как бы это сказать, — ее Haltung¹ в эти годы становилась все более деревянной, и мне казалось, что не из-за одной только боли в крестце, которая скорее согнула бы ее, чем лишила способности сгибаться. И бедным верблюдам, как она называла нашу домашнюю прислугу, доставалось от нее еще сильнее, чем прежде.

А, кстати сказать — мне это не приходило в голову, но и окончательное отчуждение и падение Леопольда, вплоть до его смерти от пьянства — разве это не явилось последствием грязи, которой забросали нашу семью?.. И замужество Лидии с Эдуардом... Ну, да... Конечно, оно не было таким уж несчастливym, тяжким и безрадостным, как они теперь здесь из чувства долга усердно перепевают... Однако нельзя же сказать, что Лидия нашла в жизни великое счастье... Но одно я смело могу утверждать — мне, «братишке своей души», позже она несколько раз давала понять: она бы стойко стерпела холодность Альмберга*, с улыбкой перенесла бы уход этого медведя с куриным сердцем, если бы у нее был незапятнанный дом, где она могла бы немного прийти в себя. Оскверненный дом заставил ее бежать в объятия Эдуарда. Потому что отец ответил на исходившее от Якобсона надругательство все-таки не так, как считала нужным Лидия... Ох, даже при своей склеротической памяти я хорошо помню разговор между Лидией и отцом... когда же это было — осенью семьдесят второго года... по-видимому, в начале октября... Старый Римшнейдер, который преподавал у нас в гимназии Naturkunde², требовал, чтобы к следующему уроку каждый из нас приносил в школу, по крайней мере, дюжину разных листьев. Большинство наших барчуков плевали, конечно, на это и считали, что такую чушь можно требовать от девчонок треть-

¹ Осанка (нем.).

² Естествознание (нем.).

его класса начальной школы, а не от третьего класса мужской гимназии, да-а... А я, после некоторого внутреннего колебания, решил все же собрать эти чертовы листья и, положив между страницами толстой тетради, отнеси ему. (Я, как всегда в таких случаях, пытался выполнить приказание и в то же время не портить отношений с окружающими — как это в известной мере было присуще и нашему отцу, так ведь.) Я отправился к нам в сад, ибо за листьями дюжины разных деревьев никуда больше ходить не требовалось. Столько-то у нас в саду смело можно было найти. Я прошел между желтеющими яблонями и вишнями, сорвал по листку и сунул в тетрадку. Я присоединил к ним пару лиловато-красных листьев клена и пронзительно желтых — березы. У серого ствола бука я подобрал несколько ржаво-красных листьев с зелеными прожилками. Я медленно шел вдоль живой изгороди из акаций в желтых брызгах и думал: кто его знает, считает ли Римшнейдер акацию деревом... И вдруг сквозь изгородь я услышал оттуда, где стояла садовая скамья, взволнованный голос Лидии.

— Отец, тебе не следует молчать! Ты должен им ответить! Почему ты этого не делаешь?! Мы же не сможем дальше так жить в Тарту! Разве ты этого не чувствуешь? Повсюду, где бы мы ни появлялись, люди сразу начинают между собой шептаться... Отец, до тех пор, пока ты молчишь, тебя будут считать виноватым!

— Яйцо курицу учит. Пустой разговор, доченька. Не заставишь собак молчать, если сам начнешь в ответ лаять.

— Собаки — собаками. Но серьезные люди, образованные эстонцы — ну хотя бы Хурт, — когда он встречается нам на улице, разве ты не обратил внимания, как он на нас смотрит?

— Как же он смотрит?

— Он приветствует, разговаривает, все как полагается. Но он старается не смотреть нам в глаза.

— Ну-ну-ну...

— А наши люди... — вчера, когда я зашла в редакцию — там на черной доске, куда мелом записывают отосланные пакеты, знаешь, что было там написано?

— Ну?

— Большими четкими буквами:

Mene, mene tekel —
Dreitausend Silbersekel...¹

— Ого! До сих пор мне все же известно только о двух тысячах рублей. Две тысячи будто бы передал мне Виллегереде от Самсона. Откуда они уже три взяли?!

— Это... ну... symbolisch...

— Что symbolisch?

— Этой цифрой они говорят, что, по их мнению, ты во сто раз больший предатель, чем Иуда!

— По чьему мнению?..

— По мнению тех, кто верит клевете и писал на стенке... Когда я вошла, молодой человек стал тряпкой торопливо стирать надпись, этот блондин, теперешний секретарь...

— Кивикинг?

— Да.

— Он же якобинец, это известно.

Пауза.

— Отец! Я прошу тебя, положи этому конец!

— Кхм. Дитя мое, но откуда же мне взять глины, чтобы замазать им рты!

— Отец, сделай что-нибудь! Подействует это или нет — это уже другой вопрос. Но... Но... до тех пор, пока ты ничего не предпримешь, я в конце концов тоже не знаю, что думать...

— И ты?..

Я затаил дыхание и ждал, что отец скажет дальше. Пролетавшая сорока с шумом уселась на подернутую красноватой желтизной лиственницу, было слышно, как на дворе у Клейншмидтов били пральным вальком и чавкало белье...

Отец сказал:

— Тогда я непременно должен им ответить.

¹ Мене теке (арамитское) — первый тайный знак, предостережение. Все выражение означает: поделены, сосчитаны, взвешены три тысячи сребреников (Ветхий завет).

Я не совсем понял, произнес он эту фразу несколько насмешливо, или в ней прозвучал известный испуг. Я тихонько проскользнул в дом и взбежал к себе в мансарду, у меня было такое чувство, будто я проглотил камень.

Но вскоре, слава богу, камень внутри у меня совершенно растворился, ибо в следующем номере «Постимээс» отец напечатал надменный и ясный ответ. Он был адресован автору присланного в редакцию письма. Здесь вот, в левом среднем ящике стола, хранится у меня отцовский ответ. (Нужно сказать Аннете, чтобы она смазала маслом для швейной машины винт у этого стула, чтобы не скрипел, когда я поворачиваюсь.) Вот он, здесь. Я столько раз разворачивал и складывал эту газету, что на сгибах печать совсем уже стерлась, наверно, и для молодых глаз едва видна. А я все это и так вот уж полвека, как наизусть помню.

Вы утверждаете, что в Выруском, Тартуском и Ярвамааском уездах Вам довелось слышать, будто «Ээсти постимээс» продался немцам, но ведь соглашение старше, чем мы — грешные, и по своему усмотрению Вы называете цену в несколько тысяч рублей, что свидетельствует о том, что и вы не хотите уступить его задешево, хотя прежде всего мы совсем не уверены, что за столь высокую цену Вам удастся найти покупателей. Затем, Вы говорите, будто до Вас дошло, на каком условии это соглашение было заключено: в дальнейшем газета не должна учить народ, и утверждаете, будто все это вы слышали. Однако ответьте нам, куда же девались Ваши собственные глаза, Ваша голова и Ваше разумение?! Разве газета не доступна каждому?! Отыщите в ней приметы, которые вызвали Ваш гнев, и тогда говорите или пишите о них, если хотите вести себя, как подобает мужчине, а не повторяйте жалкую болтовню из чужих уст. Вы, очевидно, склонны считать эстонцами только тех, кто достаточно громко кричит и шумит. Вы не думаете при этом, станет ли народ от этого умнее или, наоборот, одуреет, и заявляете, что в будущем году у «Ээсти постимээс» ни в одном уезде уже не останется ни одного читателя... Послушайте, гражайший, я совершил бы величайший грех по отношению к своему народу, если бы обратил

хоть малейшее внимание на эту пустую угрозу. Однако, по Вашим словам, и некоторые другие опасаются, что живу я на то, что за меня дали. Так пусть же будет известно как Вам, так и Вам подобным: слава богу, я достаточно зарабатываю своим трудом и усилиями, издавая книги и газету,— на что же иначе я жил бы?!— но я никогда и ломаного гроша не получал за то, чтобы поступиться собой, своей честью, или правдой и справедливостью!

Да-а! Господин Пальм, разве Вы в самом деле этого не читали?! Читали. Несомненно читали. Не мог «Ээсти кирьяндус» настолько низко пасть, чтобы печатать уже совсем безответственно состряпанный хлам! Ведь в прежние времена его редактировали такие серьезные люди, как мой коллега Йыгевер и некоторые другие. Вот этого Тугласа, который теперь занимается литературной частью (как я прочел на обложке), его я хорошо не знаю. В свое время говорили, что он тоже из социалистов. Тем не менее, как мне думается, все, что они там пишут, им надлежало бы, по крайней мере, основывать на знании самых надежных источников. Да. И чем больше у меня оснований предположить, господин Пальм, что вам известен этот недвусмысленный ответ нашего отца своим клеветникам, тем больше у меня оснований спросить вас: откуда же идет ваше бесстыдство, чтобы думать о нем иное. По какому праву вы не верите тому, что мой отец ясно сказал вам: *ни единого ломаного гроша?!*



Зачем понадобилось этому молодому человеку мучить больного старика?! Нет, я ни на йоту не усомнился в том, что отец написал им правду в своей газете. Ведь это же было сказано им самим и начертано его пером. Сказано ясно и окончательно. На сегодня, на завтра, на столетие вперед. И так хорошо стало мне тогда. Так хорошо. Если я сказал, что камень у меня внутри растворился, то это было чистой правдой, даже сдержанно высказанной. Господи, когда на следующем уроке пения в гимназии нам нужно было петь эту песню Крейцера, мы все никак не могли понять вот это:



Ха-ха-ха-ха-а — это место я пел, по-видимому, намного громче, чем когда бы то ни было раньше.



Старый Арнольд постучал смычком по пульту: «Кхм, Янсен! Тенору здесь не полагается так греметь, чтобы других голосов не было слышно! Nochmals, bitte!»¹ Дважды или трижды пришлось ему умерять мое певческое воодушевление. Да-а.

¹ Еще раз, пожалуйста (нем.).

Так что это открытое выступление нашего отца и прямо высказанное опровержение клеветы для всей нашей семьи было как пробуждение от заколдованного сна. Все мы снова ходили прямо, смело смотрели в глаза знакомым и незнакомым, громко пели и весело смеялись, как прежде. На гребне волны освобождения и сравнительно легко пережил — это было весной семьдесят второго года — то роковое письмо Амели... Уже с дюжину писем она переслала мне с учеником своего отца, с этим скуластым Аугустом, все в маленьких бледно-розовых конвертах, пахнущих сиренью... И то письмо было точно таким же, и по лицу Аугуста ничего нельзя было заметить, когда он сунул его мне и прихожей, — Аугуст был у нас в «Ванемуйне» суфлером и нередко приходил с текстом пьесы к Лидии, к Харри или ко мне. Впрочем, я уверен, что он и не знал ни о чем. Потому что для нас он был всего лишь почтальоном. И актером он был никудышным (хотя впоследствии стал большим театральным деятелем. Господин Аугуст Вийра — так ведь!). Предчувствие все же существует, я знал это всю жизнь. Каким-то необъяснимым образом я почуял что-то недоброе, еще когда только вскрывал конверт в своей мансарде и читал эти волнистые кокетливые строчки: что, мол, в то время, когда я их читаю, она — Амели уже где-то ganz woanders¹ и просит у меня прощенья от всего сердца (как будто у этой стрекозы оно было) — да-а, от всего сердца просит прощения, если дала мне повод считать, что ее милый Эуген был для нее больше, чем просто приятным другом, каких ведь всегда оставляют, потому что их много...

Да, да, даже на пороге восьмидесяти нам бывает еще немного недовко и как-то горько вспоминать свои мальчишеские разочарования, и если я сейчас об этом вспомнил, то именно для того, чтобы показать, какими чистыми, обновленными и торжествующими чувствовали себя и я, и вся наша семья в ту пору, что даже со своей первой любовной болью я справился за несколько недель...

¹ Где-то совсем в другом месте (нем.).

Вновь обретенную уверенность в себе я, разумеется, быстро утратил, она иссякла, уступив место повседневной тихой жизненной смелости, во всяком случае, Арнольду уже не приходилось больше укрощать мой голос. Но моя вера в моральную основу отца и в свою собственную была само собой разумеющейся. Такой она и оставалась. Хотя у всех наших домочадцев со временем она, очевидно, снова дала трещину. Ибо однажды возведенную клевету даже самые ясные отцовские слова уже не в силах были остановить, особенно если учесть к тому же холопскую зависть, распространенную среди наших дорогих соплеменников. Но трещины в завоеванной вере в себя, со временем возникшие у каждого из нас, я стал замечать много позднее, собственно только, когда уже начались роковые события. Да, по существу я их увидел тогда, когда нас уже постигли роковые удары. В те годы, о которых я говорю сейчас, я многому не придавал значения, даже тому, что Леопольд — это было, видимо, летом семьдесят третьего, через несколько месяцев после свадьбы — отъезда Лидии — да, что Леопольд снова явился к отцу выпрашивать денег... Помню, мы сидели в нашей зале, на софе и стульях с желтой обивкой из полосатого шелка, под люстрой, привезенной отцом из Риги или Таллина. Мы уже пообедали. За обедом Леопольд влил в себя три бутылки пива, так что его обычное, немного подхалимское поведение во время таких визитов стало уступать место куражу, и в его дружелюбной болтовне зазвучали несколько враждебные ноты. Отец попытался прочесть ему небольшую нотацию, и в ответ на слова Леопольда, что в его планы входит уехать в Петербург и сделать там карьеру на государственной службе, отец посоветовал ему, во всяком случае, не ездить к Лидии в Кронштадт просить денег. На это Леопольд, с присущей ему грубостью (один бог знает, откуда у него такой характер!), ответил:

— Ничего страшного не случится, если я дам Лидии возможность изредка сунуть брату пару рублей! У нас ведь есть папенька, который так здорово выдает эти рубли из немецких коров, что...

Харри закричал:

— Заткни свою паршивую глотку!

А отец сунул Леопольду десятирублевку и, не про-

износя ни слова, вытолкнул его в прихожую и вон из дома.

Я, собственно, и не осудил своего олуха-брата. Ибо, чего же можно было ждать от него при том жалком существовании опустившегося человека, которое он вел. Если, как я уже говорил, даже многие разумные люди продолжали ворошить это месиво... В это самое время распространился еще один слух: будто Хурт нашел документальное подтверждение продажности отца! Он отказался от должности учителя тартуской гимназии и перешел в Отепяскую церковь. (До сих пор не могу понять, из каких соображений он это сделал, потому что чисто денежный расчет у человека, подобного ему, не мог быть решающим, а в душе он до самой смерти оставался филологом.) Ну да, и будто в Отепяском пасторате, среди бумаг ушедшего на пенсию старого Кауцмана, он и нашел этот документ. Что именно он там нашел, об этом позднее достаточно говорилось и писалось: не больше чем циркуляр из консистории, адресованный пасторам, где говорилось, что в дальнейшем «Ээсти постимээс» не следует в проповедях именовать дьявольской газетой, а — и это тоже — что дозволяется даже замолвить слово в поддержку. Однако, господин Пальм, что же именно свидетельствует здесь о том, будто основанием для этого циркуляра послужило что-то иное, а не тот простой факт, что наш отец устранил из «Ээсти постимээс» Якобсона со всей его агитацией?! Сам, своей волей, в силу своего убеждения и без всякой продажности. Я спрашиваю Вас, что здесь об этом свидетельствует?! И я сам отвечаю — поскольку у Вас, по-видимому, достало воспитанности все же не назвать полным именем того, чей голос Вы слушаете, — Вам это нашептывает брюзгливый, недоверчивый, нигилистический, холопский дух Вашего окружения (хотелось бы надеяться, что не Ваш собственный!). Мне, слава богу, такой образ мыслей не присущ, хотя я сам никогда не скрывал того обстоятельства, что сам я — холопского крепостного рода. Ведь у нас в стране все знают ставшее широко известным высказывание Янсена-отца, что, когда он родился, *свободе эстонского народа было всего лишь сорок дней**. И тем не менее, никогда за всю свою жизнь я не был во власти мелоч-

ного, холопского духа подозрительности. Никогда! Тем более я не служил этому духу в тот период, о котором говорю. Ибо как раз в то время я окончил гимназию (правда, с некоторым опозданием, мне ведь исполнился уже двадцать один, и, нужно признаться, не блестяще, но все же весьма неплохо для того, кто всю жизнь был самым маленьким человеком среди Янсенов) и поступил в университет на медицинский факультет. Без колебаний, именно на медицинский — которому и остаюсь верным до конца. В моей жизни вообще так было, что если представлялась хоть самая малая возможность, я держался того, что избрал. И если имело место вероломство, то не с моей, а с другой стороны. Не знаю, может быть, это происходило в силу моей собственной беспомощности... Ольга ведь сказала некогда что-то подобное — когда мы в Кронштадте голодали на мое жалованье военного врача и тогда я согласился пойти цензором в Тарту... И позже опять, когда меня уволили с должности цензора и я снова стал заниматься только врачебной деятельностью. Кое-кто за моей спиной говорил о моей беспомощности и в девятнадцатом году, когда я оставил здесь частную практику и дал сманить себя в армию господина Лайдонера... Но теперь это уже не имеет значения. А своей медицине я хранил верность и в ту пору, когда был цензором. Быть может, моя ограниченность в этом и состоит... Быть может, мне следовало бы... Однако теперь поздно уже об этом думать... Харри, во всяком случае, был совсем из другого теста. Еще в гимназические годы он в какой-то мере познал мир, как говорится. Так что мы окончили одновременно, хотя Харри был на два года старше меня, так ведь. И в одно время со мной поступил в университет, в семьдесят четвертом, сперва на филологический. Но через полтора года он бросил свое сравнительное языкознание. Оно будто бы — одностороннее, механическое, схоластическое и ребяческое. И занялся естественными науками. И спустя год нашел, что лишь философия, лишь одна философия дает возможность проникновения *ins Sein der Dinge*¹, что только и способно принести убаготворение думающему человеку. Собственно, по-настоящему его ничто не удовлет-

¹ В суть вещей (нем.).

поряло, даже его собственные немецкие и эстонские стихотворения, которые бывали подчас весьма недурны. Но все его профессора и м были совершенно убоготворены. Он не дошел со своей философией еще до третьего курса, когда у него уже было написано большое эссе о Монтескье, то самое, которое год спустя напечатал в Германии Пертес. Нет, я не хочу объявить Харри гениальным. Вовсе нет. Но что господь не пожалел для него нескольких золотых пылинок гениальности, этого никак нельзя не признать. У меня, по сравнению с ним, как это ни грустно, короткое дыхание. Да, боюсь, что именно поэтому-то я, так сказать, постоянен. Как в иные горькие минуты давала мне это понять Ольга. Ну да, Ольга могла себе это позволить. Ибо, вне всякого сомнения, она была женщиной с фантазией. Даже и для одного из Янсенов наверняка не была мезальянсом. Все же фройляйн Борм, не правда ли, из семьи пярнуских Großbürger¹ов (никто уже не помнит, что в Таллине у Гресселей* папаша был мальчиком на побегушках). В Пярну — дома, земельные участки, типографии, газеты, издательство... И традиционная связь с эстонскими делами, так ведь. И хотя Ольга и меня, и, может быть, вообще всех эстонцев упрекала в «мелком постоянстве», тем не менее постоянством моего чувства к ней она была весьма довольна. И это полностью мирило меня с ее склонностью, ну, скажем, к брюзжанию... которое я называл мурлыканьем... Да, все же Ольга была моей единственной настоящей любовью.

В студенческие годы я, конечно, любил и хорошее прохладное пиво, и вкусную еду, и приятную застольную беседу — где-нибудь у Треффнеров, или Керга, или Куррикова, или в каком угодно другом частном доме, где в ту пору собирались члены Эстонского студенческого общества... Ха-ха-ха-а! Я заранее предвижу, что после того, как я теперь уже скоро отправлюсь на тот свет, господин Тыниссон* (который сам никогда в этих кругах со мной не встречался, поскольку появился там на пятнадцать или двадцать лет позже), что он напишет, да, в прощальном слове... «Скончался последний из Ян-

¹ Крупный буржуа (нем.).

сенов... От нас ушел человек, который, правда, не был такой философической головой, каким был его брат Харри, но который благодаря остроте своего глубоко идеального духа был весьма интересной фигурой среди старшего поколения Эстонского студенческого общества, от которого он, выполняя во время русификаторской волны функции ненавистного цензора, правда, отдалился, но все же вместе с которым преданно страдал идейной борьбе Эстонской национальной партии и возвысился в конце концов до преображенной личности...» или подобные стилистические перлы... Ну да, каждый баран блеет по-своему, как говорится... Конечно, если быть честным: самому господину Тыниссону что-либо подобное я никогда не говорил... Собственно, я ведь никому никогда ничего не говорил... Вообще... когда я оглядываюсь на свою жизнь... я жил как бы... как бы на двух разных плоскостях — *wie auf zwei verschiedenen Ebenen* — на одной, более высокой (откуда хорошо были видны идеалы) — как достаточно зоркий наблюдатель и достаточно строгий судья, и на другой — пониже — как гражданин и член общества, как практичный индивидуум и человек компромисса... внизу я был не бог весть какой многоречивый, однако достаточно словоохотливый, но там, наверху, я был абсолютно нем. Абсолютно нем. И каждая из половин моего «я» все, вот уже скоро восемьдесят лет, взирала на другую косо, иронически, осуждающе. Видевший идеалы, по мнению цензора, был достойным сожаления дурнем. А цензор, по мнению человека идеалов, был ничтожный циник. Но, что самое существенное, каждая из половин смотрела на вторую намеренно полузакрыв глаза, намеренно сторонясь полной ясности, намеренно сквозь плохо протертые очки... Чтобы граница между двумя половинами «я» одного человека оставалась нечеткой, чтобы ему было можно считать себя цельным... чтобы можно было не лгать самому себе и в то же время стоять то на одной плоскости, то на другой, то наверху, то внизу — по возможности наверху, а при необходимости внизу... каковым я и был. И таковы ведь мы все. Несомненно, все. С той лишь разницей, что иные, что, может быть, иные потому честнее, что мансарду с идеалами и помойную яму своих жизненных потреб-

постей они, не обольщаясь, хранят в себе порознь, и это дает им возможность, не замавав одежды, подняться и спускаться по своей внутренней лестнице. Весьма возможно, что и этот Якобсон со своей каштановой шкиперской бородкой... Нет! Хватит! На чем же мы остановились, господин Пальм! Что я хотел Вам сказать? Ах да, что Янсен-отец, если он и шел в своей жизни на компромиссы, то своих идеалов он ими ни разу не замавал! Как? Да-да-а! На этом я буду, само собой понятно, твердо стоять. Если я вообще на чем-нибудь стою твердо. Такого компромисса, примите к сведению, наш отец никогда не совершал. Такого — никогда. Все равно, что бы по этому поводу позже ни говорили и ни делали. Включая и злосчастный голос Веске, который он подал против нашего отца на выборах президента второго певческого праздника. Тот самый Веске — стыдно признаться! — который тем не менее и свое студенческое пиво и свою докторскую степень добывал на стипендию, которая шла из кармана и нашего отца... Но я повторяю: все равно, совершенно все равно, что бы по этому поводу ни говорили и что бы ни делали, вплоть до того смехотворного покушения на нашего отца, предпринятого в семьдесят восьмом...

Да, это ведь в самом деле было смехотворно. Однако легко так говорить постфактум. И даже постфактум дело это остается не совсем ясным... Во всяком случае, на следующий день, когда я телеграфировал Лидии и назвал его «смехотворным», то единственно только с той целью, чтобы они там в Кронштадте не перетревожились. В действительности никто из нас не находил в этом ничего достойного смеха.

Разумеется, Вы имеете свое суждение о царившем тогда положении в эстонской газетной и политической жизни. Но я хочу пояснить, каково это положение на самом деле было. Уже больше года выходила «Сакала» — так ведь. Якобсонцы охмелели от показного успеха своей газеты, но в то же время были в панике от ничтожности своих моральных ресурсов! Да-а. Ибо давно подобранный и наиболее весомый для газеты материал из шкатулки Якобсона был уже извлечен и она была пуста, как труба. И вот для того, чтобы эту пустоту заполнить, им понадобилось трубить о суще-

ствующих и вымышленных грехах «Постимээс». Как раз перед тем «Рижский вестник» со своей стороны напал на «Постимээс» за то, что газета будто бы не советует эстонцам искать свое единственно возможное счастье в обрусении. И когда старый Крейцвальд, да, в связи с ним я должен прежде всего сказать...



После этого знаменитого скандала, который госпожа Крейцвальд устроила своему мужу из-за Лидии (имелись ли к тому основания, никто никогда так и не узнает), после чего (мне тогда было пятнадцать лет, так ведь), при всем моем уважении к этому старому человеку, я никогда не мог произнести его имени без того, чтобы не почувствовать во рту вкуса уксуса, горького вкуса уксуса. (Пусть господа Эдип, Фрейд и компания говорят об этом, что хотят. Может быть, просто я сам был в Лидию *verliebt*¹...) Однако вернемся к «Сакала». В ту пору, когда с одной стороны на отца нападал «Рижский вестник», с другой — в яacobсоновской «Сакала» с дрожащими от старости коленями напал Крейцвальд и свой путаный и, как сказал отец, тонкий, как шелк, фельетон закончил тем, что не побрезговал объявить отцу о своем «глубоком презрении»... Представьте себе! В ответ на что у отца хватило великодушия, терпимости и такта все же подтвердить Крейцвальду свое незыблемое почтение. Тем не менее, хотя вырусский оракул был тогда уже на пенсии и жил у своего зятя, все же тем, что в яacobсоновской нигилистической газете он плюнул в «Постимээс», Яacobсон одержал свою самую большую и самую незаслуженную победу. Нет-нет, я совсем не хочу сказать, что в победном упое-

¹ Влюблен (нем.).

нии Якобсон предпринял это злосчастное покушение на отца. Этого я в самом деле не хочу сказать. Но из кипевшей вокруг его действий пены всплыло достаточно много — ну — более или менее образованных хулиганов! Я не стану перечислять их поименно, потому, господин Пальм, что Вы тотчас напечатали бы эти имена (ведь может случиться, что некоторые из них — участники национального культурного процесса, не правда ли?), а увековечение было бы непомерной для них честью. Одним словом, якобинствующих негодяев из шайки Якобсона оказалось достаточно много. Таких, чье негодяйство нашло выход в моменты победного партийного угара и оскудения умственных ресурсов.

Ну да. Существенно больше того, что позже наш отец сам писал по этому поводу, мы так никогда и не узнали. Но и этого теперь уже почти никто не помнит. А в свое время было немало шума: все-таки впервые за всю историю эстонского народа немножко запахло русскими террористами... Но что же, собственно, произошло?

В четверг вечером, седьмого декабря, отец, как обычно, когда не присутствовал на каком-нибудь собрании, сидел до девяти за своим рабочим столом. Стол стоял у открытого окна, выходявшего на улицу Тийги, в той самой комнате, через второе окно которой я увидел его в тот раз, на несколько лет раньше, когда он со странным, отсутствующим взглядом смотрел сквозь пургу на церковь. И в этот декабрьский вечер была пурга. Мне не верится, что даже в ясную погоду полиция напала бы на чей-то след. Тем более в пургу ничьих следов они не нашли. В восемь часов мама позвала нас ужинать. Она всегда делала это минута в минуту, а мы никогда сразу не собирались. Мамины пунктуальные приглашения к столу мы все считали каким-то излишне властным гнетом, а промедление, с которым мы отрывались от работы или от занятий, по мнению мамы, было ежедневным троекратным... проявлением небрежения. Однако к этому маленькому, как это сказать, Spannung¹ у обе стороны привыкли... И в этот раз я слышал, как мама вышла из кухни в коридор, оттуда

¹ Напряжение (нем.).

лучше доносился ее звучный повелительный голос и к отцу, и наверх, к мальчикам. Она крикнула, как обычно: *Kinder! Zum Abendbrot!*¹ Я в своей мансарде тотчас отложил конспекты лекций Валя по хирургии (я всегда приходил к столу первым), вышел из своей комнаты в коридор, но мысли мои были еще настолько заняты *Gehirntrauma*²ми, что, проходя мимо комнаты Харри, я хотел было постучать ему в дверь (идем, мама уже нервничает!). В самое последнее мгновение я вспомнил, что Харри неделю назад уехал в Германию и что в доме, кроме нас троих, еще только два «верблюда» и дворник, ибо Эжени уже четвертый год была замужем... Ну да... Однако короче, короче... А впрочем, для чего?.. Куда мне торопиться? К сегодняшнему дню? Послушайте, в моем возрасте это вовсе не так уж заманчиво... Вообще, когда я порой смотрю на свои взаимоотношения с прошлым, мне начинает казаться, что я стою перед постелью, где лежит давно умершая я женщина, полузабытые черты ее мне будто бы знакомы... Чуть-чуть лицом она напоминает Ольгу; мне видится выбившийся из-под одеяла локон... Когда я ложусь в постель и натягиваю на глаза одеяло, она оживает, и я уже не один, мы вспоминаем тысячи различных вещей. Но как только я откидываю одеяло и поднимаюсь, она сразу же снова мертва и я одиноко стою среди комнаты, перед пустым Ольгиным трюмо и мне холодно... Ну ладно... Короче говоря, мы поужинали втроем, отец, мама и я; за тушеной капустой отец рассказал маме несколько пошловатых смешных историй из нашей недавней поездки по Германии. Вдвоем с отцом за несколько месяцев до того мы ездили в Германию и Австрию, гостили у Лидии и Эдуарда и вместе с ними вернулись обратно. Потом отец немного обсудил со мной последние громкие газетные споры. Это были все те же споры с Крейцвальдом о том, кто дает детям в руки коробки со спичками, а кто — не дает. Теперь, когда Харри уехал, мне надлежало выслушивать громогласные рассуждения отца и согласно кивать. За столом, жуя свою капусту, сопя и тряся головой, он прочел мне

¹ Дети! Ужинать! (нем.).

² Мозговые травмы (нем.).

новое бесстыдство Якобсона в свежем номере «Сакала».

...Как нам, так и большей части эстонского народа уже много времени тому назад стало ясно, что «Ээсти постимээс» только для отвода глаз делает вид, что стоит на народной почве, на самом деле все его старания ведут к онемечиванию эстонского народа. А в силу того, что принцип «Сакала» состоит прежде всего в том, чтобы стоять за эстонский народ и бороться за него, то совершенно понятно, что «Сакала» и «Ээсти постимээс» подчас не могут обойтись без споров. До сих пор эти споры по большей части исходили только с одной стороны — от «Сакала», и кое для кого это было как с гуся вода. Но мы не теряем надежды, что если дождь и град будут и дальше сыпаться на спину этого гуся, то, несмотря на свою толстую шубу, он все же начнет подавать голос, и тогда всему миру станет известно, кто под этой шубой скрывается — лебедь, гусь, утка или — курица.

— Ну что ты поделаешь с этим адским отродьем?.. Трезвонит повсюду, и народ верит... Кхм-кхм-кхм... Не знаю, уж почему это курица, по его мнению, должна быть глупее всех?! Ах вот как, ну тогда старый Янсен скоро под его градом закудахчет! Дубины ему захотелось!

После ужина отец снова сел за рабочий стол. Я читал наверху свои Gehirutraum'ы. Добрейший профессор Валь — старый пярнусец — уже тогда дал мне понять, что если я останусь верным своему намерению стать окулистом, то быстрее всего смогу сделать докторскую работу у него по хирургии. Около часу ночи, чтобы немного распрямиться и поразмяться перед тем, как лечь спать, я открыл окно и, насколько позволяла тесная мансарда, высунулся на улицу. Я жадно, с наслаждением вдохнул снежный воздух глубоко в легкие. Это продолжалось считанные минуты, потому что неистовствовал буря и сразу же мне за шиворот и на край стола, где лежали книги, налетел снег. Но я успел заметить, что у отца еще горела лампа — сквозь щели в ставнях на свеженаметенный сугроб против дома падали косые зеленоватые полосы света.

Около половины третьего я подскочил на постели. Я отчетливо слышал револьверные или ружейные выстрелы и звон разбитых оконных стекол. В то мгновение, когда я окончательно проснулся, грохот, услышанный сквозь сон, утих, передо мной мелькнуло совершенно отчетливое видение: на отцовском письменном столе горела его керосиновая лампа с зеленым абажуром. Отец грудью упал на правый конец стола лицом вниз. Он как бы старался прикрыть собою правый верхний ящик, будто пытаясь защитить его от кого-то. Но руки ему не повиновались. Его сильные ладони соскользнули со стола и безвольно повисли вдоль тела. Его широкая спина в стеганой домашней куртке из серого шелка и круглый кряжистый затылок смещались сначала медленно, а потом все быстрее, по мере того, как ослабевали ноги и тело оседало на пол. У меня мелькнуло: ведь он же испачкает себе лицо чернилами об рукопись! — и полностью пришел в себя, прежде чем отец успел окончательно сползти на пол.

Я бросился к окну. Я распахнул окно. Мне показалось, что двое мужчин убегали в сторону церкви Марии, близко держась стены. Я услышал, как в испуге вскрикнула мама. И, как был, в ночной рубашке помчался с лестницы вниз: отец в стеганой домашней куртке из серого шелка вышел мне навстречу из родительской спальни. По пятам за ним шла мама. Я крикнул: «Что случилось?» Отец молча прошел мимо меня и направился к дверям кабинета. Мама закричала: *Johann! Geh nicht! Sie schiessen dich tot!*¹

— Господь есть еще на небе, — хрипло произнес отец и вошел в кабинет.

Мы высекли огонь и зажгли отцовскую настольную лампу. Это можно было сделать, ибо ламповое стекло не разбилось, хотя осколки вдребезги разбитого зеленого абажура валялись на столе и на полу. Две пули пробили оконные ставни и нижнее стекло над столом. Стекло было разбито. Пули угодили в железную печную трубу у противоположной стены. Я нашел их на полу перед софой, они были совершенно сплющены.

Последнее время отец страдал бессонницей и иногда уже совсем поздно, потушив лампу, продолжал сидеть

¹ Иоганн, не ходи! Они убьют тебя! (нем.)

за своим рабочим столом. В полудремоте он размышлял и спорил с собой, чтобы сократить бессонные часы в постели. Хейнрих* выписал ему какие-то снотворные порошки, но он не желал их принимать. Я спросил:

— Когда ты сегодня погасил лампу?

— В половине второго.

— А когда ты встал из-за стола?

— За десять минут до того, как стреляли.

Я сказал:

— Бог действительно еще есть.

И он ответил:

— Нам в этом не приходится сомневаться. Пусть в этом сомневается Яacobсон. Пойдем, посмотрим, как это выглядит снаружи.

Мы быстро надели брюки и пальто. Одеваясь, я подумал: напрасно все же отец в тот момент упомянул Яacobсона. Но он был вне себя, что вполне можно было понять. Мы взяли с собой каждый по фонарю. Проснулся дворник и пошел вместе с нами. Мы вышли на улицу и осветили окно. Мы обнаружили отверстия, пробитые пулями в ставнях. И потом мы увидели — курицу. Огромную курицу, намаlevанную дегтем на стене дома. У курицы был открытый клюв, она сидела в гнезде и кудахтала, и в гнезде было большое яйцо — черная клякса дегтя. Ну, да, бесчинство или больше того (Яacobсон ведь заверял в следующей «Сакала», что к политике этот постыдный поступок не имеет никакого отношения), так или иначе, но более правдоподобного источника инспирации всех этих действий, чем тот, на который указывала курица, вообще и не требовалось...

Я помянул с благодарностью имя господа за то, что отец остался невредимым, ибо то странное видение, когда мне мерещился раненый отец, меня потрясло. Но, в конце концов, вся эта история с карикатурной курицей обернулась таким происшествием, по поводу которого вряд ли было уместно поминать господа. За исключением только одного: это хулиганство на самом деле легко могло стать убийством. Однако отец, вопреки своему обыкновению, отнесся к этой истории весьма серьезно, по крайней мере сначала, и в первом порыве

написал о ней, должен признаться, как мне тогда думалось, с бóльшим грохотом, чем следовало: *Волею вечно живого и милостивого Создателя — пули убийцы нас не достали...* Это было созвучно тем выражениям сочувствия деревенских учителей и вздохам, обращенным к небу, которые содержались в письмах к отцу, где на все лады перепевалось *счастливо миновавшая опасность покушения на жизнь*. Помню, когда я увидел бледное взволнованное лицо отца и вывернутую от злости нижнюю губу, что было так не похоже на него, который всегда, при всех обстоятельствах всего добивался с помощью своей грубоватой, но неизменной шутки, я, признаться, подумал, не была ли его серьезность признаком старческой слабости... Но некоторое время спустя, когда речь заходила о происшествии седьмого декабря, в уголке глаза старого лукавца я стал улавливать знакомый блеск и понял: отец пытался из этой истории извлечь для себя политический профит точно так же, как Якобсон делал это в своих интересах. Отец написал в «Постимээс», что, для кого не существует бога, тот не может поступать иначе, и все, конечно, поняли, что он имел в виду местных якобинцев. А Якобсон открыто напечатал в «Сакала», что на окраинах Тарту потому вырастают способные на стеномарание городомыки, что в пригороде нет эстонской школы и потому еще, что «Постимээс» онемечивает население окраин...

Я вовсе не был сторонником Хеккеля, но в то же время я был уже почти доктор и, конечно, не мог разделять древнюю наивную мужицкую религиозность отца, усвоенную им в Вяндраских лесах и продолжавшую жить под бархатным жилетом редактора. И, с другой стороны, я не мог полностью сочувствовать и его склонности в какой-то мере использовать веру при совершении *Geschäft*¹ов. Однако, когда я в душе все взвесил, я пришел к выводу, что прав был отец, а Якобсон — не прав. Ибо отец все же бравировал своим живым и милостивым богом, как в тот раз, так и вообще всегда, искренне и во имя моральных ценностей. А когда Якобсон писал, что «Постимээс» намеренно

¹ Сделка (нем.).

воспитывает городомык, то ему и самому было, несомненно, очевидно, что он пишет смердящую демагогическую ложь.

И волна зловонной лжи после этого несуразного покушения стала нас захлестывать с новой силой. Да простится мне, может быть, излишнее поэтическое сравнение, но здесь оно вполне уместно: на гребнях этих волн пенилась зеленая отрава якобинства. Да, она настолько глубоко проникла, что возможными оказались ужасающие вещи. Лишь за год до того, когда между Хуртом и Якобсоном произошла серьезная ссора, Эстонское студенческое общество, правда после жарких споров, однако все же определенно высказалось в пользу Хурта. А теперь вдруг... я отлично помню это собрание, происходившее весной семьдесят девятого, в квартире Койка на горе Тяхтвере... Мы сильно накурили и открыли окна. Деревья, уже выбросившие почки сквозь остатки снега, сумеречно темнели, весенние канавы несли журчащую воду в Эмайыги... Бергман руководил собранием, он взглянул на меня глазами утопающего и объявил: теперь начнем обсуждать вопрос Иоханна Вольдемара Янсена, якобы продавшегося немцам. У меня потемнело в глазах. Я встал и, не произнеся ни слова, покинул собрание. Не мог же я принять участие в подобном обсуждении. И вообще я не хотел дальше оставаться в этом лягушачьем болоте, которое представляли собой мои дорогие Kommilitonen! ¹ Ничего не видя, я дошел вдоль Тяхтвере до самой мызы. Увязая в снегу, выбрался на пыльтсамааскую дорогу и зашагал между ельником и полями с остатками снега; я ушел далеко за город. Наконец, я свернул направо, к лугам, и вышел к реке; и тут увидел, что прошел намного дальше Квистенталя. И безустанно, безустанно я спрашивал себя: за что нашу семью преследуют этой проказой? В город я возвращался вдоль реки по совершенно размокшим тропинкам, упрямо не ища других, я перелезал через грязные канавы и вернулся уже в вечерней мгле: Бергман с Гренцштейном были у нас, и даже Веске пришел с ними. Мне не хотелось разговаривать в доме. Я повел

¹ Товарищи (студенч. нем.).

их в сад. Мы стояли в темноте возле живой изгороди из безлистных еще акаций, возле той самой скамьи, у которой Якобсон окрестил Лидию Койдулой. Я не хотел, чтобы они садились на эту скамью, и подвел их к следующей. Рукой я показал им, чтобы они сели и, стоя, стал ждать, что же они мне скажут. Бергман, который стремился к христианскому примирению, Веске, который требовал ясности, и Гренцштейн, который и сам не знал, чего ему нужно. Они не сели и начали разговор стоя: мне следует все же понять — вопрос затрагивает меня лично в гораздо меньшей степени, чем всю эстонскую общественную жизнь! Это был Гренцштейн, который вылез с этим, казалось бы, нелепым суждением. Но он развил свою мысль с дьявольски убедительной простотой: продажность отца задевает меня поверхностно только с точки зрения семейной чести, а для эстонской общественной жизни этот вопрос имеет гораздо более глубокое и более роковое значение. Ох, этот презренный рационализм, который, несмотря ни на что, всегда сидел во мне! Я понял, что этот проклятый софист был прав. Я еще не мог признаться в этом перед ними открыто. Я вежливо попросил их уйти, тем более вежливо, что, как они сказали, собрание еще не приняло никакого решения, так же, как и эстонский народ (это они тоже сказали), который тоже еще не пришел к решению, считать старого Янсена честным или бесчестным человеком. Да, я вежливо попросил их удалиться и, когда они ушли, я почувствовал, что рубашка на мне была насквозь мокрая и что мне ужасно холодно. Ибо к ночи небо прояснилось и лужи местами затянуло льдом, хотя канавы по-прежнему журчали. Я стоял в саду, в полной тьме, суставы пальцев ныли от холода, и я не знал, что мне делать. Мне вспомнилось, что это был день пробуждения змей.

Я влез на свою мансарду. Я пытался читать курс офтальмологии Рэльмана. Но я ничего не воспринимал. Однако к утру я понял: действительно, если я и дальше буду принадлежать к убогому и несчастному эстонскому народу, если мне это положено и я сам хочу к нему принадлежать, к чему же тогда считать, что студенчество с его сомнениями хуже, чем сам народ, и порывать с ними отношения? . .

Нет. Когда Харри вернулся из-за границы, мы стали с ним плечо к плечу и смело смотрели в глаза своим *Kommiliton'*ам. Нам не было стыдно, что мы — сыновья нашего отца. У нас не было для этого ни малейшего основания. Мы гордились им. Харри стал работать у отца в «Постимээс» младшим редактором. В то же время он готовился к экзаменам на кандидата и отделявал рукопись своей «*Liederbuch*». Его положение в глазах самых широких кругов общества стало еще более безупречным, чем когда бы то ни было прежде, а может быть, и когда-либо позже. Ибо, когда он открыто выступил в газете со своей пропагандой остзейства, вокруг него разгорелись жаркие и шумные словопрения. Да-да-а, господин Пальм, я знаю, что в теперешние времена Вы морщите нос при одной только мысли, что такую идею, как остзейство, вообще разумный человек мог пропагандировать. Однако, позвольте Вам сказать, в этом повинна Ваша неосведомленность и ничто иное. Вы просто недостаточно долго жили, чтобы Вам возможно было на себе испытать, насколько меняется значение слов. Не говоря о том, что в то же самое время изменяется... ну... *es verändern sich auch die Einstellungen!*... изменяется и отношение к прежнему значению слова. Остзейство... для Вас это какое-то... Какая-то мартышка в облаках нафталина, которая распевала песни на идиотском языке блаженного Бертрама и жила некогда *bäi öich von Riga bis Peetersbüch?*².. Не правда ли? Нет. Остзейство, о котором говорил Харри, примите к сведению, было в свое время абсолютно позитивным делом. Ведь для Харри это прежде всего означало равноправие всех живущих здесь народов. И взаимное сближение трех равноправных народов — эстонцев, латышей и местных немцев — на основе нового чувства единого остзейского отечества. Примерно так, скажем, как индейцы и англичане Новой Англии и все прочие по ту сторону океана являются американцами, так ведь. Собственно, как образец Харри имел в виду прежде всего финнов и шведов в Финляндии и вообра-

¹ Меняются и взгляды (нем.).

² У вас от Риги до Петербурга. (Немецкая фраза транскрибирована с сохранением прибалтийского произношения.)

зил, что если он сам будет руководить осуществлением своей идеи, то это дело пройдет здесь с легкостью. И кто же посчитал эту идею всерьез для себя весьма опасной и поднял крик? Это были совсем не наши индейцы — Якобсон со своим эстонством, — а наши местные «новые англичане» — самые закоснелые консерваторы из немцев, — что засвидетельствует Вам нешуточность этого дела. Ну да... этот мираж Харри был, конечно, заранее обречен на гибель, как и вообще все утопии, ради которых люди должны жертвовать чем-то осязаемым, чтобы обрести нечто лишь предполагаемое. Этого можно требовать только от больших личностей с идеалистическим направлением ума. Каким вне всякого сомнения был Харри. Но если начать нечто подобное проповедовать толпе, то проповедник неизменно потерпит фиаско. Это не только мое личное мнение, но и урок *casus*¹ а Харри. Но я понял это значительно позднее. Сначала я над этим просто не задумывался. Я изучал по Валу — ну, поражения артерий подколенной чашечки. И кроме того, как раз тогда я познакомился с Ольгой, вернее познакомился с ней вторично. Ибо я ведь знал ее давно. Еще в Пярну, в ту пору, когда она была совсем девчужкой... Я давно заметил на променадах вдоль берега ее милый веснушчатый носик под красным полосатым зонтом от солнца. О ее существовании в семье Бормов я знал, еще когда был мальчишкой. А в апреле восьмидесятого я пошел в концерт, который давала м-лле Бларамберг в актовом зале университета, в антракте Ольга прогуливалась со своей матерью и попала мне навстречу... И вдруг я увидел, в какую изящную барышню она неожиданно превратилась. Я поцеловал матери руку и прохаживался вместе с ними весь антракт. Я не мог оторвать глаз от Ольги, видя, как она молчаливо улыбалась, как едва заметно усмехалась, что могло означать тихую радость или легкую насмешку, но это выглядело, как неосознанная готовность к поцелую... И второе отделение концерта было, по-моему, совершенно лишним, хотя Бларамберг исполнила «Азру» Рубинштейна, знаете, вот это:

¹ Случай (лат.).

Moderato

Музыкальный фрагмент в 3/4 такта, тональность два флата. Включает вокальную партию и фортепиано.

Вокальный текст: ВЕ - ЧЕР - КОМ ГУ - ЛЯТЬ ХО - ДИ - ЛА ДОЧЬ СУЛ - ТА - НА

Музыкальный фрагмент в 3/4 такта, тональность два флата. Включает вокальную партию и фортепиано.

Вокальный текст: МО - ЛО - ДА - Я... КАЖ - ДЫЙ ДЕНЬ О - НА К ФОН - ТА - НУ...

Когда мы направились в гардероб, то увидели, что за это время начался ливень, извозчиков перед университетом было только два, и пылкие кавалеры их тут же схватили. Я сорвал через барьер свое пальто с вешалки и помчался в поисках извозчика для бормовских дам. Я бегал под проливным дождем на Ратушную площадь и Сенный рынок, пока наконец нашел одного. Я отвез дам на улицу Тяхе к родственникам, у которых они остановились, и пригласил их на завтра к нам на обед. И они, конечно, пришли, и вечером я снова их провожал. А в июле, несмотря на то, что осенью мне предстояли экзамены, я поехал в Пярну... Да-а. Но еще до того в Тарту из Кронштадта приезжала Лидия. И от нее я узнал (мне, «братишке своей души», она рассказала с глаза на глаз и без обиняков, потому что очень тяжело это переживала): ужасный слух про отца дошел теперь уже до наших финских друзей и вызвал у них большое смятение и огорчение. Там буд-

то бы распространяется даже такой подробный вариант, что у отца якобы существует письменный договор с немцами, и он касается не только общего политического направления газеты, это само собой разумеется, но что каждое напечатанное в газете слово должно подвергаться контролю со стороны немцев. Прежде чем листы идут к цензору, все прочитывает Виллигероде... И Лидия добавила:

— Харри должен сделать попытку деликатным образом добиться от отца ясности!

— В чем?

— Существует ли такой документ.

— Лидия... Как ты можешь?!

— Хорошо. Хорошо. Такого, конечно, нет. Но какой-то может быть... Я же не знаю. Но нам ведь известно, как рождаются слухи.

Следовательно, по самому грязному варианту: двойная цензура с согласия отца и, конечно, за огромные деньги... Должен признаться, что в то время меня больше всего шокировала сама мысль, что нашего отца возможно было в этом заподозрить... Позднее, с годами, я сумел понять — я имею в виду свои цензорские годы, — что, знаете, власть не была бы властью, если бы она не стремилась контролировать мысль, будь эта власть Императорское главное управление по делам печати, или лифляндское дворянство, или Эстонская республика господина Тыниссона... Ну да, говорят же, здесь нет цензуры... Кхм. Знаете, к сожалению, я слишком близко стоял к этим *branche*¹, чтобы имело смысл мне это объяснять. Вот, пожалуйста, на прошлой неделе господин Тыниссон писал в своем «Постимээс», что полиция обнаружила в Тарту коммунистические листовки. Also, чего же ради она бы их искала, не будь они запрещены?! А кто их запретил? Цензура. Совершенно понятно. Это ведь не имеет значения, есть у них для этого особое учреждение или по бедности они делают это сами. Следовательно: там, где утверждают, что цензуры нет, там бесстыдно врут. Но когда я сказал, что, к сожа-

¹ Букв. ветвь, отрасль (фр.).

лению, был к этим делам близок, то это, к сожалению, сказано не вполне всерьез. Какой-то *Beigeschmack*¹ и у меня, и у моих дорогих коллег несомненно сохраняется, у Руммеля, у Миквица, у Йыгевера или кто там еще был у меня. Не кто иной, как Вильде еще несколько лет назад старался заклеить меня: я, мол, был одним из тех цензоров, которые советовали редакторам меньше писать про политику, а больше про молочное хозяйство. Ибо в этом случае будет совсем немного этих злосчастных вымарываний. Или нечто похожее. И что на полях одной из его статей, которую я не пропустил, я будто бы толстым красным карандашом написал: «В Российской империи достаточно свободы, и Вам не к чему столь жалостно вздыхать по поводу того, что ее мало!» Или что-то вроде этого... Я уже, конечно, не помню. А собственно, почему бы и не написать этого? Тот, кто к своим обязанностям относится серьезно, тот вполне вправе так сказать... И видите — репутация готова... Но она существует только в представлении тех известных нам милых дурней, ну, в представлении таких, какими мы и сами были смолоду, когда воображали, что мы-то и есть... Да. А в ту пору, когда после разговора с Лидией я сел в почтовую карету и покатил в Пярну, я был как раз именно так молод... Так молод, что когда, подпрыгивая на старых рессорах почтовой кареты, я зажмуривал глаза, то сразу же представлял себе Ольгу своей женой. Всячески. И в моем воображении на спинах тяжеловесных почтовых кляч вырастали крылья и докучливая переключка почтовых ямщицких рожков — туу-туу-туу — казалась мне такой мелодичной, что... Но в то же время на сердце у меня была давящая тяжесть, которая меня не покидала, как будто я взял с собой за пазуху в расхлябанную, скрипящую, грохочущую почтовую карету глыбу железа — десятипудовую, ржавую, изогнутую крюком железную глыбу... И чем ближе я подъезжал к Пярну, тем более звонкими становились почтовые рожки и тем тяжелее становилось бремя моего уязвленного, удрученного состояния... В соответствии с моей природой мне — страдающему члену оклеветанной семьи — надлежало бы по-

¹ Привкус (нем.).

вернуть обратно... потихоньку уехать, погрузиться в изучение поражений артерий подколенной чашечки и забыть о прекрасных коленях Ольги, которых я даже еще и не видел... Но, по-видимому... Да, никто себя до конца не знает. Во всяком случае, я заметил, что чем меньше душевное состояние отвечает предстоящему событию, тем труднее предвидеть, каким это событие окажется — таким или, наоборот, вовсе иным. С Ольгой, ее мамой и папой мне удалось все куда быстрее и успешнее, чем я мог когда-нибудь надеяться. Может быть, меня окрылил страх, что новая волна клеветы на Янсенов каждую минуту может дойти из Финляндии до Пярну и тогда из-за моей дурной репутации мне в конце концов откажут. (Совершенно, конечно, напрасный страх в отношении семьи Бормов — не так ли.) Как бы то ни было, но если о нашей помолвке после окончания моих экзаменов в том году все же не было объявлено, то причиной этому послужили некоторые роковые события, из которых кое о каких вообще никто не знает. Никто, кроме меня. А те, что известны, никогда, никто не связывал с так называемой *продажностью* Янсенов.

Во время моих последних экзаменов вообще в Тарту уже было известно, что Ольга Борм — невеста Эугена Янсена. Так что я должен признать: то, что Йозеп Хурт сказал мне вечером первого ноября за ужином в «Ванемуйне», было само по себе вполне естественно. Однако, я понимаю, в двух словах мне надлежит рассказать вам о Йозепе Хурте. Быть может, вам известно, что у Якоба Хурта было двое сыновей, которые пользовались известностью: Рудольф был пастором, в семнадцатом году он умер в Таллине на улице (Herzschlag¹, разумеется). И Макс, теперь он у нас важный делец по торговой части. О Якобе говорить не стоит. Он был великий Хурт. А Йозепа Хурта теперь уже никто больше не помнит. Хотя, может быть, из всех Хуртов он был самой значительной индивидуальностью. Кем он приходился Якобу, точно я не знаю. Наверно, какая-нибудь дальняя родня. Так или иначе, Йозеп был деревенский парень из Вана-

¹ Разрыв сердца (нем.).

Койола. На самом деле он, вероятно, был несколько моложе меня, но казался всегда старше. Хотя — тоже мальчишка. Сначала он изучал теологию, потом — философию, но и ту и другую не систематически. Как человек?.. Неприметный и вместе с тем приятный. Тощий. Рыжеватый блондин. Туберкулезный. Обреченный на раннюю смерть. Прозрачный, ранимый. С блестящими синими детскими глазами, которые всех обезоруживали. Но какой-то беспощадно последовательный. В то время, о котором я говорю, он на три года был исключен из университета. Из-за дуэли. Так. И вечером первого ноября восьмидесятого года... Я долго и упорно зубрил терапию, устал и нервничал... Чтобы дать отдых глазам, я отправился погулять, зашел в буфет «Ванемуйне», взял бутылку пива и присел за столик Йозепа.

Йозеп взглянул на меня вполне дружелюбно. Своим искрящимся детским взглядом... от которого каждый чувствовал себя в чем-то виноватым.

— Ну как, господин доктор, скоро твоя свадьба?

Я почувствовал себя немного задетым, ибо, как я уже говорил, о нашей помолвке не было объявлено — я хотел подождать с этим до окончания экзаменов. Но был и чуточку польщен. Как всякий молодой петух в подобном случае. И почему-то беспокоен. Как бывает, когда собеседник говорит с тобой о твоих делах, а тебе его тон почему-то кажется подозрительным, или если у собеседника, может быть, на самом деле есть ну... какое-то превосходство над тобой, порожденное болезнью... или даже завистью к тебе, острота которой преодолевает грусть... не знаю. Я отхлебнул пиво и сказал:

— Если бог даст.

— Пышная срадьба,— сказал он, тоже глотнув пива. Совершенно нейтрально.

— Ну... уж пышная...— пробормотал я и спрятал вздрогнувшие углы рта в Schorpen'e¹.

— Почему же,— сказал он.— У твоего папаши найдется на что.

¹ Пивная кружка (нем.).

Как я теперь помню, он произнес эти слова спокойно, дружелюбно, оживленно. Ей-богу, я даже не уверен, что он при этом улыбнулся. И что в его улыбке мелькнула ирония. Только впоследствии я понял, в каком же ужасном напряжении я жил тогда, если после этих слов Йозепа во мне закипела злоба, как... вопиющий красный ком... И этот ком ожег мне лицо — ей-богу, такое у меня было чувство — и мне необходимо было, необходимо ответить на этот удар. Моя рука поднялась сама (ничего подобного со мной никогда не случилось, никогда ни прежде, ни позднее), и я ударил Йозепа по лицу... Однако — господь мне помог — своими цепкими и немного потными пальцами он схватил меня за запястье, так что рука моя только скользнула по его скуле.

— Неужели ты ударил меня от чистого сердца?! Это же глупо... — Он смотрел на меня своим светлым взглядом. Он отпустил мою руку, и я увидел, как сузились и потемнели его глаза.

— Мне следовало бы тебя вызвать, — хрипло сказал он. На его щеках появился легкий румянец. — Три года у меня уже есть. Следующие три для меня ничего не значат (что он в самом деле бравировал своим туберкулезом, мелькнуло у меня). — Но чего ради? — Он смотрел на меня со снисходительным презрением, кожей я пересчитал все поводы для его презрения: моя обеспеченность (в сравнении с ним), моя старательность, мое жениховство, мое здоровье (я ведь был тогда безупречно здоровым парнем), мое полное надежд будущее — и еще кое-что и еще... кое-что...

Он сказал:

— Эуген, я заверяю тебя: я не имел в виду касаться этого — этого вашего фурункула. А теперь — пойдем со мной.

Йозеп встал, его бутылка пива осталась недопитой. Он вышел из буфета, держа потные руки в карманах. В дверях он обернулся, иду ли я за ним. Я шел следом. Мы молча надели пальто и пошли вниз по улице Яама. Я спросил:

— Куда?

Он ответил так, что мне стало не по себе:

— Увидишь... Ты должен увидеть...

Он быстро шел по темным улицам впереди меня: гулко звучали его шаги по плитам тротуара и хрустела подмерзшая слякоть. Все это выглядело очень странно. Но я не мог отказаться и не пойти с ним. Мы перешли мост. Мы пересекли рынок, обогнули Ратушу и направились вверх по улице Китсас. Мы вышли на улицу Тийги.

— Йозеп, ты идешь к нам?.. Что это значит? Я... я... готов к любой сатисфакции... Но объясни...

— Сейчас.

Мы прошли мимо нашего дома. Возле церкви Марии, перед дверьми большого дома, Йозеп остановился. К моему удивлению, он вынул из кармана ключ и отпер дверь.

— Входи!

Я вошел в темный коридор...

— Йозеп, что ты... в этом доме?..

— Я привожу в порядок архив Виллигероде.

Он прошел дальше по темному коридору.

— Здесь церковная канцелярия, а здесь...— Он повернулся направо,—его личный кабинет.—Он отпер еще одну дверь.— Здесь он занимается делами консистории и цензуры. И кое-какими другими тоже... И случается, оставляет бумаги там, где не следует.

Я стоял в потемках в большой комнате. Йозеп зажег свечу. Я увидел письменный стол, стекла книжных шкафов и отблески огня на кожаных спинках больших кресел. Йозеп открывал какие-то шкафы, какие-то ящики. Он держал свечу в руке. Его острые плечи заслонили пламя, и тень от них колыхалась на потолке. Он перелистывал какие-то бумаги. Потом он бросил что-то на угол стола передо мной и рядом поставил свечу.

— Смотри!

Я взглянул. Маленькие, сшитые вместе записки. Несколько десятков. Я низко наклонился над свечой и записками. Я смотрел. Я взял их в руки. Я перелистал их. Я зажмурил глаза и снова поглядел на них...

— Господи, боже мой!..

Очевидно, я крикнул.

— Тихо!

Hierdurch bestätige ich untertänigst...

Hierdurch bestätige ich...

Hierdurch...

in Sache «Eesti Postimees»...

in Sache «Eesti...»

dreihundert Rubel empfangen zu haben...

sechshundert Rubel empfangen...

neunhundert Rubel

Tausend...

Johann Woldemar Jannsen, Redacteur

Johann Woldemar Jannsen

Jannsen¹

Где-то я читал, что во время мировой войны один австрийский солдат — в гимнастике и спорте весьма слабый парень — под пулями перепрыгнул проволоочное ограждение, высота которого, измеренная позже, оказалась два метра. Я полагаю, что и во время землетрясения люди способны прыгнуть выше своих естественных возможностей. И выше, и ниже. Если у них под ногами колеблется почва и они понимают, что земля их поглотит.

Я не знаю, выше или ниже моего естества было то, что я сделал. Ибо мотив моего действия мне и по сей день неясен. Я положил денежные расписки нашего отца себе в карман. Я сказал Йозепу, помню, что тихо:

— Я возьму их с собой.

— Нет! — Йозеп протянул руку, не знаю, может быть, он намеревался разодрать полы моего пальто и пиджака.

Я сказал:

¹ Сим покорнейше подтверждаю...

Сим подтверждаю...

Сим...

по делу «Ээсти постимээс»...

по делу «Ээсти...»

имею честь получить триста рублей...

получить шестьсот рублей...

девятьсот рублей...

тысячу...

Иоганн Вольдемар Янсен, редактор

Иоганн Вольдемар Янсен

Янсен (нем.)

— Только если ты убьешь меня.

Он отступил на шаг, посмотрел на меня и сжал рот. Мгновение мы молча стояли друг против друга. Неожиданно он произнес:

— Пусть будет так. Тогда это решено.

В тот момент я, конечно, не мог понять, о чем он при этом думал. В тот момент я вообще ничего не понимал. За исключением того, что мой мир рассыпался в прах. Мой мир превратился в обломки, и чувство ответственности за действия было погребено глубоко под его обломками. Или, вернее, оно осталось где-то среди летящих обломков, града камней и грохота рухнувшего мироздания. Когда я мчался от церкви Марии на темную улицу Тийги, мне действительно казалось, что этот грохот еще бушевал вокруг меня и во мне. Я прибежал домой. Я несся с такой быстротой, что, когда ворвался в дверь, не мог отдышаться, хотя расстояние было совсем незначительным. Я сразу же вломился прямо к отцу в кабинет. Мир рухнул. Мне было все безразлично.

Я запомнил широкую спину отца в серой домашней куртке и венчик седых волос вокруг большого лысого темени. Когда он повернулся ко мне на своем вращающемся стуле,— на этом вот самом, который я наконец получил теперь от детей его родственников. Он взглянул на меня сквозь очки в серебряной оправе. Он вскочил.

— Что с тобой?!

— Отец, что ты с нами сделал...

При всей своей простоватой грубости он был человеком бесконечно быстрого и точного восприятия. Впоследствии, когда я мысленно возвращался к этому мгновению, я пришел к твердому убеждению, что ему сразу же все стало совершенно ясно.

— ...Что я с вами сделал?

— Десять лет ты нас мерзко обманывал! Я видел... В архиве Виллигероде... Отец! Разве ты не понимаешь... Господи боже мой. Ты опозорил нас на весь мир, на долгие годы... А народ — эстонский народ... Отец!..

Я почти кричал, и в моем голосе звучали рыдания, мне самому это было противно.

Он смотрел на меня, выпятив нижнюю губу. Потом подошел к шкафу, взял кувшин и рядом стоявшие стакан и сахарницу, положил в стакан пять полных с верхом ложек сахара, налил из кувшина воды и размешал серебряной ложкой:

— Быстро, выпей! Это успокаивает.

Его рука, державшая стакан, дрожала. Не очень сильно, но все же дрожала. Это меня почему-то особенно покорило. Я сказал:

— Никогда в жизни мы уже не сможем теперь никому на глаза показаться! Ты — ты.. Отец — за чем...

— Я не мог даже допустить, что ты такой необъезженный... Моя кровь и такой дурень... Десять лет обмывал вас... Я несколько десятков лет — всех вас — кормил, и одевал, и учил. И по мере сил старался сделать людьми!

— Если ты на эти деньги меня одевал — сними с меня эту одежду!

Я сорвал с себя пальто и бросил на пол перед отцом.

Он подождал немного. Может быть, он собирался с силами. Потом он сказал, со своей широкой мужицкой усмешкой, но все же довольно тихо:

— Ну — теперь пиджак и брюки — а дальше что? Мальчик покажет пипку?

Стакан, который я не взял, он поставил на стол. Он заставил меня сесть на стул у торца, поставленный для посетителей. Он стоял передо мной, расставив грузные ноги в пузырившихся, измятых домашних брюках в полоску, в комнатных туфлях из красного сафьяна с широкой меховой оторочкой.

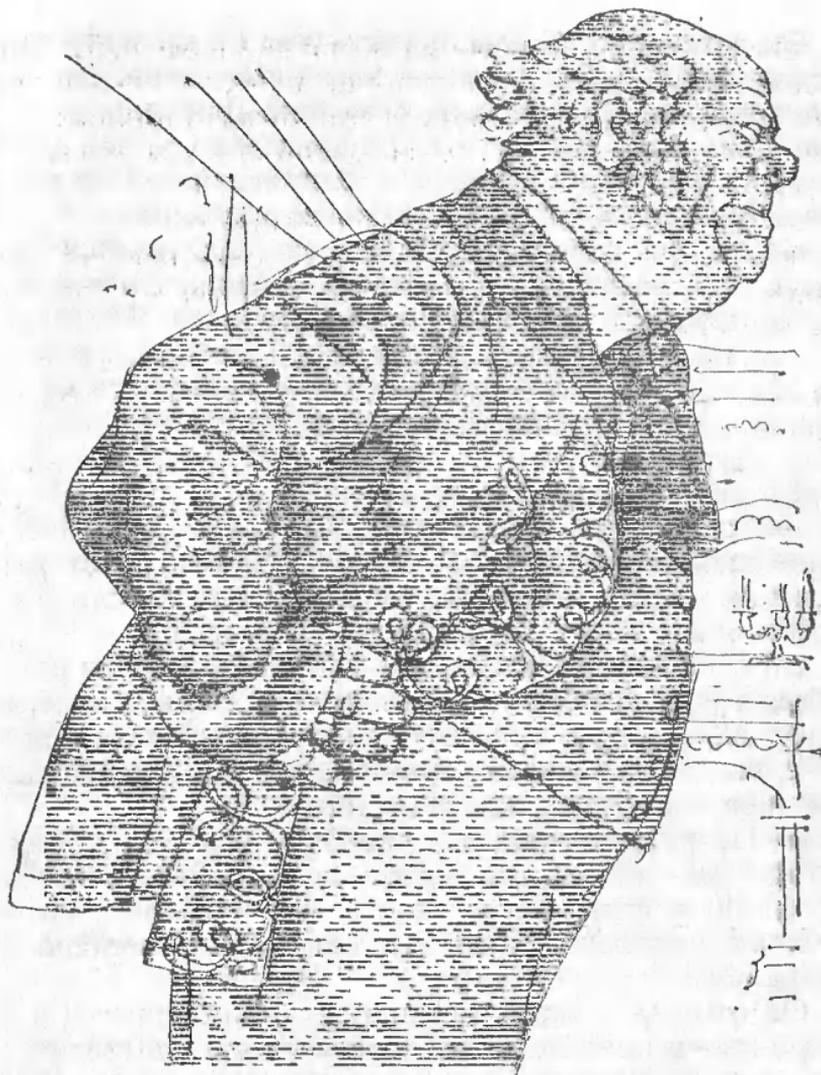
— Ты говоришь, в архиве Виллигероде? Что же ты там увидел?

— Расписки на иудины деньги. С твоей подписью.

— Кхм.— Пауза.— Кто тебе показал?

(Господи боже! Он ведь даже не возразил! Я же прямо сказал «иудины деньги»! И он не возразил. Он проглотил это и только спросил: «Кто тебе показал?»)

— Неважно кто.



Медный маятник стоячих часов мелькал туда и обратно — тик-так, тик-так, тик-так, тик-так.

— В сущности, в самом деле неважно кто.

Он подошел ко мне вплотную. Я почувствовал запах сигары, исходящий от его домашней куртки. Он положил руки мне на плечи. Побелевшие от городской жизни крупные руки крестьянина, которые поддерживали мир. С воскресного вечера, когда они сжали весла зеленой лодки, в камышах, у старого Сиймского моста...

Он заговорил. Я слышал все, что он произносил, но вокруг меня была какая-то каменная стена. На одно мгновение мне показалось, что стена дрогнула, но затем она снова была на месте и продолжала стоять, хотел я того или нет. Смысл всех его слов оставался по ту сторону. До меня доходило только их звучание.

— Да. Я позволил, чтоб они мне платили. Я попытаюсь тебе объяснить. Чтобы ты, в своей слепой молодости, научился глубже смотреть на вещи. Невзирая на то, что ты уже доктор, у тебя, по-видимому, ум ребенка. По-видимому, ты воображаешь: если бы я не брал от них денег, у меня были бы в газете свободные руки. Дурень!

Он снял ладони с моих плеч.

— Если бы и впрямь так было — тогда, конечно... Я не знаю, считал ли бы я себя Иудой... но от денег, в самом деле, исходил бы дурной запах — если бы, не возьми я их, мои руки были бы свободны.

Он отступил на несколько шагов. Он уперся руками в бедра (как Якобсон — мелькнуло у меня) и возвысил голос, как во время выступления на певческом празднике, когда его слушала трехтысячная толпа. На короткой шее выступили красные пятна.

— Но руки у меня все равно не были свободными. У газетчика никогда в жизни они не бывают свободными! Во всяком случае здесь, под крылом благословенного царского орла! Да едва ли и вообще где-нибудь...

Он отошел к окну, остановился и обернулся в мою сторону — я поймал искру оживления в его глазах: для того чтобы убедить меня, он придумал следующее эзоповское сравнение и испытывал удовольствие от плодов своей выдумки. Даже в такой момент он мог испытывать удовольствие от присутствующего ему образа мышления, если считал, что удачно придумал...

— Пойми, если бы я отдал им за деньги свое нетронутое дитя, меня следовало бы забросать камнями. Но они ведь уже раньше, уже давно, уже все равно сделали его своей шлюхой. О, да-а — они разрешают ей сидеть вместе с мужиками в крестьянской избе, в деревенском кабаке и заниматься пустой болтовней, чтобы у мужиков времени не было проклинать помещиков.

Они позволяют ей — отесанной городской девушке — ушить мужиков приличиям. Да-а. А за это господин фон Руммель мнет ее два раза в неделю спереди и сзади так, как ему нравится. И я ничего не могу с этим поделать. А когда приходит господин полицмейстер, у него тоже свои желанья, мое дитя не смеет ему противиться, и с господином бургомистром та же история, и с господином начальником жандармерии — не так ли? И уже ничего не говорю про господина губернатора и господина генерал-губернатора...

И вдруг я понял: все, что доходило до моих ушей сквозь каменную стену, меня окружавшую, было почти воплем старого человека.

— И если уж так происходит по закону и на глазах у всех, то скажи ты, и пусть скажет любой, кто мнит, что у него есть право что-либо по этому поводу говорить...

Он взял со стола стакан с сахарной водой, но пить не стал.

— ...скажите, почему же мне нужно было горевать и плакать, когда еще несколько старых козлов надумали приволочься за моим ребенком — да еще к тому же готовы хорошо мне за это заплатить, чего не водилось ни за одним из тех, других... Разве я не был тогда вправе сказать себе... Да, как бы то ни было, я себе сказал...

Он снова взял стакан с сахарной водой. Он выпил его до дна, и рука его при этом очень сильно дрожала.

— Во всяком случае, себе я сказал: если твое дитя не будет делать того, что они хотят, они найдут тысячи причин, чтобы упрятать его за запоры и засовы... и окончательно задушить... так, чтобы уж никто не получал от него радости. Пусть будет, как хотят они, ничего много нам не остается. А если нам за это еще будут платить! Почему же эти деньги следует считать презренными? Разве мы не можем потратить их так, чтобы они стали чистыми?

Его бледное лицо покрылось потом. Он собрал серебряной ложкой сахар со дна стакана, сунул в рот... и, посасывая его, продолжал говорить:

— Если хочешь знать, то взять от них эти деньги мне было тем более позволительно, что первым их

требованием оказалось, разумеется, чтобы я больше не печатал Якобсона, и они пришли ко мне с этим разговором спустя несколько дней — не знаю, как было бы, вриди они раньше — спустя несколько дней после того, как Якобсон перегнул пружину. Этот молокосос является поучать старого Янсена, что, мол, старый Янсен вообще ничего в политике не понимает! Он в то время еще гусей пас, сопляк, когда старый Янсен уже делал газету для эстонского народа! И я сказал ему: первое, будь ты хоть какой хочешь ловкий писака, старый Янсен тебе не школьник! И второе, принципиальное: вообще «Ээсти постимээс» сыт по горло тобою — интриганом и склочником. Отныне больше не требуется. И почти на следующий же день пришел Виллигероде и предложил эти дворянские тысячи, которые они согласны заплатить мне за то, что я уже и без них сделал... Эуген, теперь ты понимаешь? Не понимаешь?

Он снова подошел к письменному столу. Он оперся своими большими руками о край стола. Его широкий потный лоб отсвечивал зеленью от абажура. В его голосе неожиданно зазвучала надрывная нота:

— Странные вы. Вы не понимаете. Вы учитесь в гимназии. Учитесь в университете. Вы ведете жизнь буршей. Мы покупаем дом, принимаем гостей, мы поддерживаем неимущих студентов. Мы с мамой ездим в Хаапсалу на ванны, бываем в Риге и Петербурге, мы ездим в Финляндию. Мы с тобой ходим в Берлинскую оперу, ездим в Вену пить «Neugiger»¹... Какого же черта ты позволял всем этим услаждать себя, молодой человек? Почему же ты уже давно не спросил, откуда все это берется? Что же, ты совсем не умеешь считать? А теперь ты вдруг суешься кричать на меня — что газета твоего отца была более податливой девицей, чем тебе желательно было бы о том иметь понятие...

Он стоял, опираясь руками о край стола. И вдруг совсем тихо он произнес:

— Довольно. Я сделал, что сумел.

¹ Молодое вино из нового урожая винограда (нем.).

Быть может, моему отчаянию требовалась дополнительная порция пищи и я мог добыть ее только оскорбляя его. Быть может, стена все же дала трещину и я котел железной скобой стянуть возникшую брешь. Не знаю. Я встал и сказал:

— Я верил тому, что наш отец — эстонский народный вожак. А выходит, что он... (нет, сам бы я этого ему не сказал, настолько у меня еще хватало воспитанности, но его собственное, только что приведенное, сравнение подсказало мне слова. Кстати — весьма многое из того, что мы говорим, не больше, чем отголосок чужих слов) ...выходит, что он... — (я не нашел эстонского слова и хрипло закончил) — ein Zuhälter meiner eigenen Tochter!¹

Я вытащил из кармана расписки и бросил их перед ним на стол.

— Возьми — этот янсенский позор!..

Я повернулся к нему спиной. Я хотел уйти. Сам не зная куда. Все равно. Только прочь отсюда. Я хотел завтра же на всех углах разгласить о позоре Янсенев. Не с тем, чтобы очиститься. Я понимал, что очиститься от него невозможно уже никогда. Но чтобы хоть что-нибудь предпринять против позора.

Вдруг я услышал странный короткий вздох. И странный скрежет. Скрежет продолжался, пока я оборачивался.

Да, я повторяю: предчувствие существует. Больше того: возможно даже предвидение всех обстоятельств события, точное и визуально правильное. Здесь, в кабинете отца, я увидел теперь воочию то, что мерещилось мне два года тому назад наверху, в мансарде. На отцовском письменном столе горела его керосиновая лампа с зеленым абажуром. Отец грудью упал на правый конец стола лицом вниз. Он как бы старался прикрыть собою правый верхний ящик, будто пытаясь защитить его от кого-то. Но руки ему не повиновались. Его сильные ладони соскользнули со стола и безвольно повисли вдоль тела. Его широкая спина в стеганой домашней куртке из серого шелка и круглый кряжистый затылок смещались, сначала медленно, а потом все быстрее, по мере того, как ослабевали ноги и тело осе-

¹ Человек, живущий на содержании дочери-проститутки (нем.).

дало на пол. Никакая потеря сознания не спасла меня от лицезрения того, как отец боком сполз на пол и остался лежать недвижим. И тут прекратился странный скрежет, которым сопровождалось его падение. И я понял, это была чернильница, которую он тащил за собой по кромке настольного стекла, секунду она стояла, сохраняя равновесие на самом краю, и затем упала на пол рядом с отцом. Черно-синий чернильный подтек сверкал на его лбу и правой щеке. Звук разбившейся чернильницы прервал мой катарсис. Я больше уже не был судьей. Я снова был сыном. Врачом. Прежде всего врачом. Я не думаю, что Вы в состоянии себе представить, какое безумное облегчение я при этом ощутил. Даже в то страшное мгновение.

Я расстегнул ворот его рубашки. Он был без сознания. Пульс — около ста тридцати ударов. Он был тяжелым мужчиной, а я никогда не был сильным... Но его нельзя было резко двигать. Я побежал во флигель и привел себе в помощь дворника. Мы положили отца на здесь же стоявшую софу. Я уложил его затылок на прохладную кожаную опору. Я положил ему на голову холодное мокрое полотенце. Я пытался смыть с его лица чернила и послал горничную за доктором Рейером. Я сказал:

— Беги! И бегом оба обратно. Не дожидаясь извозчика, это долго!

Когда горничная вышла, я увидел на столе связку расписок. Они лежали нетронутые, как я их бросил отцу. При броске связка раскрылась. Теперь горстка квитанций лежала на столе на белом листе бумаги, уголок, где они были сшиты, торчал кверху, как острый белый холмик, как будто бумагу снизу чем-то проткнули и она взгорбилась: как удар финским ножом — подумалось мне — снизу вверх, сквозь стол, сквозь один, другой страшный, но суетный мир, как прокол меча сквозь кулисы, Гамлет — Полоний — два короля — королева — кто есть кто? Я схватил расписки. Я срывал их по две, по три с нитки. Я стал их тут же, обжигая пальцы, жечь над настольной лампой с зеленым абажуром. Только когда половина уже сгорела, я заметил, что в комнате топилась печь, остальные я бросил в топку. Потом распахнул окна, чтобы не было запаха горелой бумаги.

— Очень хорошо, что открыли окна. Ему нужна прохлада,— сказал доктор Рейер десять минут спустя.

Диагноз, как Вы знаете, был *apoplexia cerebri*¹. Правая рука осталась парализованной. Других значительных физических нарушений у него не было. После того как Хейнрих и Хирш * его тщательно лечили, и я делал все, что, по крайней мере, было в моих силах. Но девять последующих лет он был добродушное, несчастное большое дитя с седой головой. Умственно он был мертв. Это известно. А я... все последующие пятьдесят лет — отцеубийца. Нет, нет, не возражайте мне. Это же не только наивно, но и просто глупо. Вы же не можете допустить, что правы Вы, а не я, если Вы с этой мыслью имели дело пять секунд, а я пятьдесят лет. Я знаю: юридически то, что я говорю — нонсенс, хотя бы уже в силу того, что отец наш жил еще десять лет, не так ли. Хотя самим собою он уже не был. Он ничего не помнил, ничего не знал — ни о своей работе, ни о своей вине, ни о своей правоте. С юридической точки зрения это не имеет значения. Но от этого мне не легче. Ни одно уголовное право не квалифицирует как убийство то, что я совершил там, в кабинете, сорок девять лет назад, первого ноября, вечером. Это мне известно. Но от этого — не легче. Де-факто — мы знаем: если кто-то нанес другому удар по голове, в обычном случае абсолютно не опасный, но который привел к смерти, потому что у пострадавшего на месте удара была трепанирована черепная кость, о чем нанесившему удар не было известно, то обвинение в убийстве не имеет места. Это совершенно понятно. Но я ведь знал его больное место. И намеренно именно в это место нанес удар. Такой силы, на какую был способен мой эгоизм. Да-да-да-а. Я все понимаю... Его вина, его преступление... идеалы... нужда обманутого народа в выдающихся людях... и правда — как единственная мера величия... Я все понимаю — но поймите же и меня!

Если я теперь пишу Вам:

¹ Кровоизлияние в мозг (лат.).

Господин Пальм! Вы говорите даже о документах, которые будто бы подтверждают вину Янсена-отца. Но ведь этих документов на самом деле не существует...

Это правда, говорю Вам как перед господом богом, господин Пальм (сколько же лет Вам может быть? Едва тридцати нет, не правда ли? А мне семьдесят семь): и ведь собственными руками сжег их. И поймите... у меня остается лишь один путь в отношении своего отца, тот самый, который я избрал, у меня лишь один путь: что ни будь сделать для того, чтобы в себе самом преодолеть раздвоение, о котором я говорил Вам... в себе самом воздвигнуть нечто такое, что простерлось бы через две обособленные плоскости моей жизни, что было бы возможно чем-то третьим... что оказалось бы как-то *jenseits von Gut und Böse*¹... Дойти до конца.

И в заключение нашей мысленной беседы: Вы сами видите — на мою долю не выпадали встречи с героями. За исключением одного человека, который, может быть, был таким по своей природе, но соприкосновение с которым оказалось случайным. Помните, Йозеп Хурт, согласившись отдать мне расписки, сказал: «Хорошо. Тогда это решено». Я не спросил его, что он при этом думал. Через неделю я узнал. В Выруском уезде у него был брат, которому надлежало идти в армию на шесть или семь лет, так тогда служили. А у брата была невеста, было здоровье и т. д. Йозеп в то время размышлял, не пойти ли ему вместо брата. В царское время по закону военной службы это допускалось. На его туберкулез комиссия за взятку не обратила бы внимания. Совершенное мною хищение бумаг из доверенного ему архива укрепило его решение. Но, кстати сказать, ему не удалось спасти брата, который спустя год умер дома от несчастного случая... и Йозеп освободился от военной службы. А я боюсь... я боюсь, что мне так и не удастся спасти честь своего отца... Но сам я от чего-то освобождаюсь. Когда я снова пишу, когда я снова пишу:

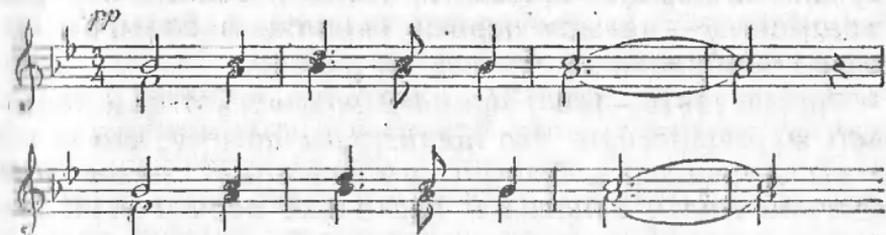
Господин Пальм, я — ныне еще здравствующий сын И. В. Янсена, который гордится честным трудом своего отца на благо народа, сим выражаю всем клеветникам

¹ По ту сторону добра и зла (нем.)

и хулителям моего отца свое глубочайшее презрение —
оно-е-глубо-чай-шее-пре-зре-ние.

Точка. Подпись.

Слава богу...



ПОЯСНЕНИЯ,

без которых на этот раз действительно не обойтись

Койдула, Крейцвальд, Якобсон, Янсен (на всякий случай — в порядке алфавита, чтобы избежать порядка значимости) — четыре первые скрипки в большом оркестре пробуждения эстонского народа.

Янсена (1819—1890) принято называть отцом эстонской журналистики. Это происходит потому, что вслед за выходящими и быстро умиравшими эстонскими газетами Янсен основал и несколько десятилетий выпускал первую эстонскую газету, читавшуюся по всей стране. И еще больше потому, что он создал стиль публицистики своей эпохи. Ни до Янсена, ни после него мы не найдем стиля, который можно было бы сравнить с янсеновским, в силу того, что он до смешного полно отражал признаки времени и места, и одновременно в силу присущей ему исконно народной сочности.

Янсена называют лидером консервативного крыла в эстонском общественном движении того времени, антитепой «якобинца» Якобсона. Правильно. Принято говорить, что Янсен остался бы одним из самых заслуженных эстонцев, даже если б он не дал истории ничего, кроме своей дочери Койдулы. Наверно, и это правильно. Принято считать, что в то же время он был предателем своего народа. И это, к сожалению, под каким-то углом зрения тоже не ложь...

Во всяком случае автор старался направить свой взгляд вдоль более глубокого течения реки человеческих дел и миновать песчаные мели обоих берегов.

Подлинная полемика между сыном Янсена и историком литературы Аугустом Пальмом, обширный опубликованный, а также сохранившийся в документах материал, дает этой попытке известную реальную почву.

стр. 160. Письмо Эугена Янсена Аугусту Пальму (см. «Ээсти кирьяндус», 1930, № 6, стр. 289—291).

стр. 161. Харри — т. е. Хейнрих Вольдемар Амадеус Янсен (1851—1913).

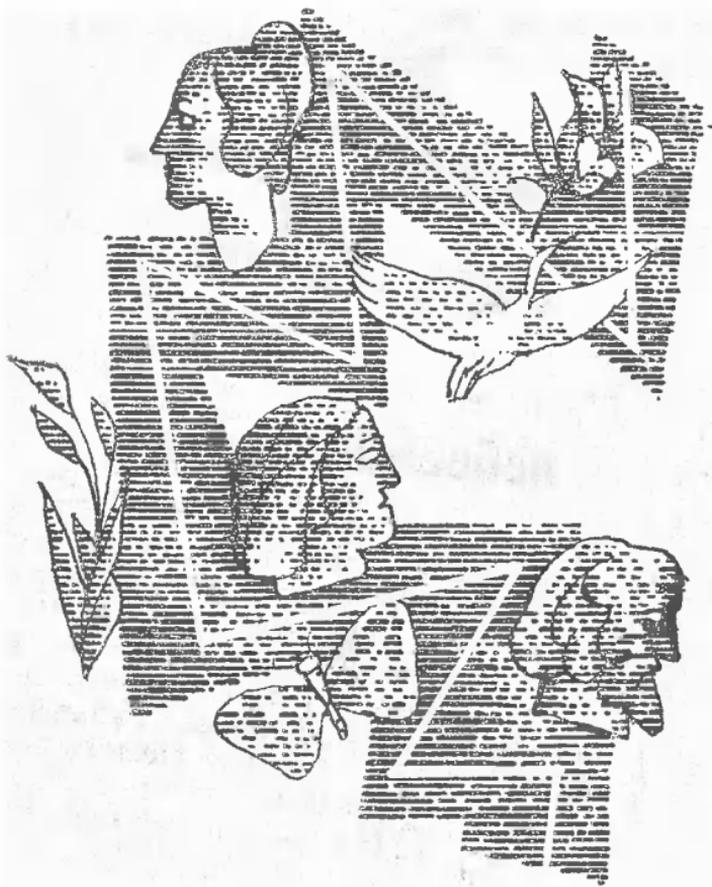
- стр. 162. Эльмар — Эльмар Розенталь (1873—1919, геофизик, профессор Варшавского и Ростовского университетов, сын Эжеви Янсен (дочери И. В. Янсена).
- стр. 164. Пернауэры — пярнусцы, жатели г. Пярну.
- стр. 165. ... в ту противную старую деву... — Имеется в виду эстонская писательница Лилли Субург (1841—1923). ... камнем запустить и в супругу посла... — Имеется в виду Айно Каллас (1878—1956), известная финско-эстонская писательница, жена эстонского фольклориста Оскара Калласа, который был послом Эстонии в Англии. По словам Айно Каллас, намеки по поводу Лидии Койдулы она слышала от Лилли Субург.
- стр. 166. В квартире на улице Лодья... — Очевидно, прав Март Лепик, который уверял автора, что Янсены никогда не жили на улице Лодья. Тем не менее автор позволил себе повторить ранее допущенную неточность, поскольку она исходит не от него: в статье А. Круусберга «Заметки на полях по поводу продажности И. В. Янсена» («Ээсти кырьяндус», 1921, № 3, стр. 78—82) цитируется рукопись М. Митты «Кусочек жизненной истории Адама Петерсона», где сказано: «...потому что его (Янсена) квартира находилась здесь, на углу улицы Лодья, в доме ювелира Германа, на втором этаже».
- стр. 171. Валуев, Петр Александрович (1814—1890) — министр внутренних дел России с 1861 по 1868 год. После хождения эстонских крестьян к Александру II (9.II.1864) Валуев провел расследование, установил руководителей и приказал вести слежку за Адамом Петерсоном.
- стр. 172. Аспелин, Сван, Хунфальви — двое первых — деятели фивской культуры, третий — венгерской, они приезжали в 1869 году в Тарту на первый эстонский праздник песни.
Виллигероде, Адальберт Хуго (1816—1893) — немецко-эстонский церковный и общественный деятель реакционного направления.
- стр. 173. «Сааремааский племянник» — пьеса Л. Койдулы.
- стр. 174. Банделье — известный тартуский мебельный мастер.
- стр. 179. ...отныне я нарекаю вас Койдулой! — Койдула от эстонского *koit* — зари.
- стр. 181. Альмберг, Антон Фредерик (Анти Ялава) (1846—1909) — финский литератор, сторонник сближения финно-угорских народов.

- стр. 189. ...свободе эстонского народа было всего лишь сорок дней.— В Эстонии крепостное право было отменено в 1819 году.
- стр. 191. Грессель — владелец типографии и издательства в Таллине.
Яан Тыниссон — буржуазный политический деятель Эстонии, издатель газеты «Ээсти постимээс» с 1896 по 1935 г.
- стр. 199. Хейрих — зять И. В. Янсена, врач Хейрих Розенталь.
- стр. 220. Хирш — Густав Хирш (1828—1907), тартуский врач.



небесный камень





Опять все то же, что было и вчера, и позавчера, и позапозавчера, и всю осень, и целых полжизни: сквозь ресницы, сквозь пепел утреннего сна в запотевшем окне спальни пастората — кусок серого предрассветного неба, мокрый навес драночной крыши, черные стволы елей, темно-красная от кленовых листьев трава, выбеленная известью каменная стена; высокое, холодно синее окно церкви.

Все то же, уже пустое, углубление на подушке в льняной наволочке рядом с моим лицом. Или все то же в серой щетине лица, пахнущее трубкой, — о господи, ведь любимое лицо... Жесткая щетина прикасается к моей щеке, детский поцелуй в мочку уха. Сильный шепот: *dormi, dormi, saia mia...*¹ и быстрые шаги в шлепанцах... И в тот же миг снова полузабытье... Высокое, холодное, синеватое окно расплывается, как будто разливается теплая синяя вода...

Журчит теплая темно-синяя вода под светло-синим небом...

Мы сидим в гонголе. Катарина и я, мама и старый Луиджи тоже сидят с нами, и чернеющая вытянутая птичья шея гонголы скользит перед нами по сверкаю-

¹ ...спи, спи, моя дорогая... (ит.)

щему заливу. Мы родились под этим светло-синим небом. Катарина и я. Говорит мама. Но мы этого не помним. Мы видим его впервые. И белеющий город, и курящиеся карамельно-коричневые сахарные головы Везувия, и стену *Castello dell' Uovo*, и хохолки пальм в ста шагах от синей воды. И солнце! Такое солнце, какого там, в городе белых медведей, носящем имя святого Петра, никогда не бывает. Там, откуда мы приехали. Там, где мы похоронили отца в яме, вырубленной в ледяной земле на старом католическом кладбище. Там, где страшная, твердая, как камень, замерзшая земля поглотила нашего отца. Отца, которого я, в сущности, и не помню. О котором в моей памяти сохранился только глухой смех, пряжка с зеленым камнем на шейном платке и открытая могила. И которого там, в городе белых медведей, звали господином маркизом. Так говорила мама. Или, во всяком случае, старый Луиджи, после того как на второй неделе нашей жизни в Неаполе мама вдруг захворала. Несколько дней лицо у нее было, как огонь, горячее, потом покрылось пятнами... и потом мы увидели маму утром: лицо у нее было совершенно белое. Она сама скрестила на груди руки. Она лежала на старой, пропахшей полынью кровати в дешевом гостиничном номере с белеными стенами. Мы с Катариной стоим в углу, прижавшись к побеленной известкой стене. Мы плачем груд у груда на груди. Время от времени к нам подходит старый Луиджи и тыльной стороной руки размазывает по нашим лицам свои и наши слезы. Мы кусаем губы: какие-то серые монахини выносят маму. Говорят, что мы должны сразу же уйти отсюда, из комнаты, чтобы ее можно было побелить, потому что мамина болезнь заразна. А мы не знаем, куда. Потому что Пиккалуга — богатых родственников отца, которых мы ищем и которые будто бы живут в Сицилии или еще где-то, мы не нашли, и только мама знала, где их искать. Мы — на улице, за нами по пятам с лаем ходят неаполитанские собаки. Собаки лают, страшные, пятнистые псы снуют мимо нас по полуразвалившимся лестницам, освещенным солнцем...

Собаки лают сквозь пепел утреннего сна... Неаполитанские, тартуские, эксиские собаки... Собаки половины Лифляндии и половины Эстляндии, пасторат,

как всегда, полон гостей. Гости и их собак. И эта тоже старая, тоже пропахшая пылью кровать, на которой я лежу, слава богу, живая, и откуда меня наверняка никто не прогонит. Спасибо всевышнему! Эта кровать — словно остров, и такие мгновения вернувшегося полузабытья, как дымка, защищают меня от наступающего дня...

Сегодня утром — все то же самое, что было вчера... Встать, но в глазах будто полно песка, взглянуть в зеркало — красивые, темные, почти черные, густые волосы, такие здесь редкость — моя единственная краса. И все же мне не хочется смотреть в зеркало. Мне двадцать восемь лет. Это ведь еще небезнадежный возраст. Даже для итальянки, при том, что итальянок здесь считают рано увядающими. Но мое лицо, честное слово, день ото дня все больше становится лицом усталой женщины средних лет. Это происходит, — я знаю от чего это происходит, мне это давно говорили, — от жизни с таким старым мужем. Но он все-таки молодец. Святой Дженнаро, правда ведь, лучшего и быть не может? Только что он старше меня на тридцать лет, это тоже правда. Но такое ведь и прежде случалось, даже в самых лучших семьях, и когда я начинаю припоминать, то получается, что чаще всего именно в таких. А мне в самом деле сетовать не на что. Ох, святой Дженнаро, ты видишь, как я покраснела, но ты-то знаешь, что и это правда... Теперь я краснею еще того больше... Заботами о полевом хозяйстве он меня не утруждает. Этим он занимается сам. До такой степени сам, что в прошлом году даже уволил управляющего. Этого Унгерна в желтом жилете. По-моему, это бессмысленная затея, как будто и без того он мало на себя взвалил. Подумать только, и приход, и пробство, и дела консистерии, и возня с местным языком, и его сочинительство, и книги, а теперь еще и газета. И помимо всего этого он еще сам руководит полевыми работами и этим ужасным строительством мельниц. Потому что он поругался со своим подрядчиком и выгнал его отсюда. Но что касается домашнего хозяйства, то тут все в моей власти. Так что, глядя со стороны, я похожа на маленькую королеву, как он говорит. Ха-ха-ха-ха-а!.. Но у меня в самом деле есть все, что только позволяет наш небольшой недостаток. А после дня Трех волхвов мы по-

едем в Тарту на большую ярмарку, и он обещает купить мне там новую соболью шубу. Чтобы я не мерзла здесь, в этой унылой, холодной стране, как он сказал (этот каменный дом, правда, невероятно холодный, хоть как хочешь топи его одиннадцать комнат), и рядом с таким старым мужем — это он тоже сказал, но явно уже для того, чтобы я рассмеялась. И я смеялась. И он тоже смеялся. Он совершенно замечательный человек и очень остроумный, когда в хорошем настроении. Немножко он того же склада, что и тот старик, тот граф, который выручил нас в Неаполе из страшной беды, Румянцев, или как-то иначе. Когда Луиджи через несколько дней после маминой смерти тоже умер. О господи! Уже не в гостинице, а у совершенно чужих людей, где-то в Санта Мариа ди Лоретто, в углу, провявшем чесноком... Старый, милый Луиджи, такой холодный и неподвижный, что нам страшно было на него смотреть, на рогоже в козьем хлеву у какой-то чужой старухи, куда он сам забрался, чтобы в старухиной комнатухе от него не заразились... И мы с Катариной остались совсем одни в совершенно чужой стране. Хотя это была будто бы наша родина. И тогда старуха, к которой нас привел Луиджи, взяла нас обеих за руки. Но прежде она тщательно выстирала и выгладила наши рубашки и платья. Ее доброта, наверное, объяснялась еще и тем, что немного оставшихся для нас после мамы денег перешло от Луиджи к ней. А может быть, и тем, что Луиджи называл нас «несчастливыми маркизами» и рассказывал, будто наш покойный отец был близким другом молодого русского императора... Она взяла нас, прибранных, за руки и отвела на Via Toledo к русскому послу, к этому самому графу Румянцеву. Во всяком случае, это был смелый поступок со стороны простой старой женщины, торговки рыбой и прочими дарами, что дает море. (Должна признаться, что если все мои итальянские соплеменницы такие же деятельные, то я по сравнению с ними совсем беспомощная.) Помню, мы стоим в приемной посла, и я вижу себя и сестру в сверкающих на солнце зеркалах в извилистых рамах. Катарине двенадцать лет, мне — десять. Волосы у нас пышно зачесаны кверху на затылок, мы в белых маркизетовых платьях. На наших несколько ошеломленных (великолепием посольских комнат) ли-

цах слезы и надежда. Мы будто два всполошившихся птенца, и над нами, как тень большого серого корморана*, наша старуха, торговка рыбой. Внезапно распахиваются высокие двери соседней комнаты, на пороге появляется одетый в ливрею слуга и произносит: «*Maghesine Riccaluga*». И этот старый граф с круглым краснопощеким лицом, улыбаясь, идет нам навстречу. (Честное слово, мой Отто похож на него...) Весьма сбивчивый, но громогласный рассказ старухи, дополненный нашими детскими разъяснениями, пробудил в нем интерес. (И в этом отношении старик такой же, как Отто, который здесь, рядом со мной, невесть какими только делами не занимается, и, несмотря на присущий ему острый дух сомнения, его можно легче, чем любого ребенка, заинтересовать один только бог знает какими делами и людьми.) Но то, что граф Румянцев нами заинтересовался, явилось нашим спасением. Или, во всяком случае, нашей судьбой. Он слегка экзаменует нас, чтобы выяснить, знаем ли мы вообще что-нибудь о России. Но Катарина даже называет ему по-русски наш петербургский адрес на Садовой. И когда мы подтверждаем (он заставляет нас сделать это сперва по-итальянски, а потом по-французски), что за три дня до смерти отца император назначил его директором Императорской библиотеки в городе святого Петра, граф приказывает выдать для нас торговке рыбой пятьдесят пиастров и записать наш адрес. Он говорит, что хочет выяснить, есть ли у нас право получать в России государственный пенсион за отца, и если есть, то он позаботится о том, чтобы нас сразу же туда отправили и за счет этого пенсионера поместили в воспитательное заведение для дворянских сирот. Через два месяца нас в самом деле забирают от нашей опекуниши и сажают в уголок курьерской кареты с царским орлом (ни зимних пальто, ни муфт, ни теплых ботинок у нас нет, но это мы замечаем значительно позже), и мы едем через Рим, Эмилию, Венецию, Вену и Богемию в Петербург. Один советник посольства возвращается с женой и двухлетним сынишкой из Неаполя обратно в Россию. Мы едем вместе с ними. Они заботятся о нас, и мы в благодарность помогаем госпоже смотреть за мальчиком. Мы едем полтора месяца. Осенью 1802 года. Отто говорит, что мы проскочили по Европе между двумя

страшными военными штормами прямо, как Одиссей через Мессинский пролив, у которого подстерегают эти чудовища, — ну, всегда забываю, как они называются. Ох, как замечательно было ехать вначале! Боже мой, опять чужие города и страны, чужие лица. Эмилянцы, французы, австрийцы, пруссаки... Однако погода резко меняется, становится все холоднее, маленький Витя все кашляет, кашляет, кашляет. И чужих лиц делается утомительно много...

Утомительно много чужих лиц... Сегодня так же, как вчера... Нет, нет, это не Витя кашляет там за тонкой стенкой. Это унылое церковное окно все время смотрит сюда в спальню. Мне нужно встать и начать день. Синее церковное окно доверху затянуто чем-то белым — это в нем отражаются снежные облака... Петербург весь был в белом снегу, и маленький Витя на третий день умер... А там, за перегородкой, кашляет Анита. Не двухлетняя, уже тринадцатилетняя Анита, не Аннетте Аугусте, а Анита, единственная в этом доме, в ком я вижу искреннее дитя. И которая зовет меня мамой, и даже считает меня мамой. И почти совсем не дает мне почувствовать, что я чужая, как это на каждом шагу и, по мере того как становится старше, все чаще делает Каролина, или Оттилия, которая, несмотря на всю свою вежливость, дает мне понять, что здесь, в доме, я всего только служанка, с которой ее отец изволит спать, пусть я сколько угодно с ним теперь повенчана, или Элеонора, для которой, с тех пор как она замужем, я — просто пустое место. Мне нужно встать и согреть Аните лекарство. Ее кашель всегда наводит на меня страх, потому что ее мать в тридцать три года умерла от чахотки и этот яд может оказаться в крови у дочери... И мне нужно распорядиться, чтобы смололи утренний кофе, чтобы на столе стоял этот синий мейсенский сервиз, который подается для более знатных гостей. Мне нужно распорядиться, чтобы Леона и Кай еще раз замочили в щелоке полотно, из которого я хочу сшить нашим девочкам зимнее белье... Мне нужно встать и начать день. Сегодня точно такой же, как вчера...

Я приподнимаю над грудью ночную рубашку из дешевой белой кисеи и через голову снимаю ее. И прежде чем надеть уже не новый утренний халат из красного

в крапинку сатина (пахнувший лавандовым мылом и моим телом), я все же смотрюсь в зеркало. Опять та же, что и вчера, только на день старше... Боже мой, я не могу себе представить, какой считали бы меня в Италии, хотя по здешним грубоватым представлениям я еще довольно мила. Конечно, я уже женщина, на которую дохнула осень. Но я не располнела, моя походка не утратила гибкости, я не одеревенела, что здесь так часто случается. И по вечерам, здесь, в спальне, прежде чем задуть свечу, Отто подолгу смотрит на меня, гладит и говорит: *Saga mia, sina oled üks ilos Issanda loomokepe...*¹ Этого не скажешь ни по-немецки, ни по-итальянски, ни по-французски, ни по-русски. Ох, мне нужно встать и начать день.

Отто вторые сутки вообще нет дома. Его нет уже со вторника. Уехал. Верхом, всегда верхом, как он любит. Хотя мне думается, что ни с его должностью, ни с его возрастом это не согласуется. В Кайавере или еще куда-то. У каких-то крестьян какой-то небесный камень отыскивать! Который весной где-то там будто бы упал... А мне нужно встать в шесть часов, как всегда. Я выдам Минне муку для блинчиков и к ним яблочного варенья, и кофе, чтобы намолоть к завтраку, и новую голову сахара, и велю четвертую часть мелко наколоть, и распоряджусь, чтобы накрыли стол на двенадцать персон: Анита, Каролина, Оттилия, Элеонора и ее Антон, и этот шумный майор Адлерберг, приехавший из Виру-Нигула к Отто в гости, не знаю уж какая между ними дружба, и профессор Еше со своей старой каргой, эта сверхобученная обезьяна из Тартуского университета, с ним Отто подружился еще в студенческие годы в Халле, и наш собственный кистер Хольман, и эти два школьных учителя, приехавших советоваться с Отто по поводу ревизии школ, и я сама... Каждый раз, когда все они выходят к завтраку и Оттилия, проходя мимо меня, делает движение подбородком, которое должно означать приветствие, меня будто колючий ветер пронизывает. И я знаю, почему. Как всегда. Потому что мне известно, какими фразами за минуту до этого она обменялась с Минной. Как каждое утро. Минна стучит Оттилии в дверь и говорит на своем ломаном немецком

¹ Букв.: Ты красивый божий зверек... (эст. устн.).

языке: *Kuut morjen, Fröilen* (а фрейлен, между прочим, всего на четыре года младше меня!), *kuut morjen. Fröilen, Frau Proobstin pittet sum Morjentiss...* И Оттилия визгливым голосом отвечает. Минна, сколько раз я уже повторяла, мне прошу говорить: *t a d a t e просит. Потому что Frau Probstin умерла тринадцать лет назад...*

Затем мы мгновение сидим молча, как всегда, и кистер Хольман просит господа благословить наши блинчики. В тех случаях, когда с нами за столом нет Отто, а Хольман тут, я всегда возлагаю это на него. Потому что, хотя все остальные и признают меня супругой пробста, но я же католичка, и если я буду просить благословения, то яблочная плева может застрять у них в горле. Потом мы принимаемся за еду. Я хвалю госпоже Еще ее платье в мелкий рисунок и решаюсь немного ободрить этих неуклюжих школьных учителей, я испуганно прислушиваюсь к тому, как громко Анита чмокает своим кофе, но, к счастью, она уже не кашляет, я успела согреть ей лекарство в золе прежде, чем в очаге развели огонь. Я сижу и чувствую, как от меня отступает холод столовой и пол под ногами перестает быть студеным, как волна свежести от горячего кофе доходит до головы, мое сердце согревается... от этого Анитино прищмокивания и от того, что (хоть я и сижу за одним столом с Оттилией, Элеонорой и ее Антоном) у меня все же есть на свете дом и стол, и место за столом. Место, которое я обрела ценой горестей и двусмысленного положения.

Из петербургского воспитательного заведения для благородных сирот ничего не вышло. И никакого пенсия нам не назначили. Сицилийское посольство и какие-то господа из министерства занимались нашим делом много месяцев, и в конце концов нас забрали от родителей покойного Вити. Катарину отдали в семью консула Фроста, они жили в Петербургской части. Я попала в дом купца Овандера в Новую Нарвскую часть. Но самое ужасное заключалось в том, что нас таким образом разлучили и между нами лежал весь огромный город, так что бывали годы, когда мы даже на рождество не виделись. Семь лет на положении помощницы гувернантки и правой руки горничной, мало того, еще и чтицы при хозяйке дома и ее собеседницы. Тягостное и шаткое положение. Положение нахлебницы, которое

обязывает делать внимательное лицо, улыбаться пустой улыбкой, говорить тихо и всегда соглашаться. Потом эта итальянская оперная труппа в Большом театре, которую мне позволили послушать... И потом Энрико... Господи, ничего на свете я не знала, кроме того, о чем читала госпоже во французских романах. Энрико целый вечер говорил мне о Риме, Милане, Неаполе. Ни у одного человека в Петербурге не было таких красивых глаз. И лицо его пахло гримом благородного молодого герцога, партию которого он пел. И я верила ему, когда он читал мне: *La bocca baciata non perde valore mai riprova come la luna*¹. Райская комната в гостинице «Империял»... на заре ставшая такой облезлой, что страшно было смотреть и на эту комнату, и на весь мир, и на самое себя... Нет, не было волшебного полета через большие приветливые города с любимым! Записка в чернильных кляксах на гостиничном столе: *«Дорогая! Наша труппа уезжает на два дня раньше. Сейчас, когда ты читаешь эти слова, мы уже на корабле, на пути в Стокгольм. Прости. Напишу тебе, когда будут новости. Э.»* Новостей не было никогда. Но настолько-то я от своего печального опыта поумнела, чтобы их вообще не ждать. Я ничего не ждала ни от Энрико, ни от жизни. Катарина была со своими Фростами в Германии, и у меня не было никого, перед кем я могла бы открыть душу. Я мучительно жалела только о том, что у меня нет матери. Чтобы выплакаться на ее груди. Или хотя бы отца. Которого я едва помнила: только глухой смех и зеленую пряжку на шейном платке. Именно тогда божий перст привел в дом купца Овандера, где я все еще жила, Отто. Господь его ведает, откуда они были знакомы. У Отто ведь, как я теперь вижу, бесконечное множество и более неожиданных знакомств, чем петербургский купец, наполовину швед, торговавший морскими товарами.

Сорокашестилетний провинциальный пастор (протестант, разумеется, но за это святой Дженнаро меня простит), который за несколько месяцев до того овдовел, оставшись с пятью маленькими детьми. Он искал в Петербурге гувернантку. И госпожа Овандер ничего не

¹ Губы, которые мы целовали, никогда не теряют цены и обновляются, как луна (ит.).

имела против того, чтобы я поехала в Эстляндию заботиться о малышах этого господина пастора. Потому что последний месяц я читала госпоже ее французские романы совсем невыразительно. Я с радостью согласилась. Только прочь из этого ужасного города! Сколько мне лет? Семнадцать? Хм! Справлюсь ли я? Конечно! Непременно! Только прочь из этого ужасного города! В незнакомую страну, к новым людям! Господи, сделай, чтоб это сбылось, чтобы мне больше не видеть ни тех улиц, ни пилястр того театра, ни окон той гостиницы... Сделай, чтобы это сбылось, и я буду любить детей этого чужого человека, как своих собственных.

У этого чужого человека, у этого чужого старого человека своеобразный, как я говорю, рот. В какие-то мгновения насмешливый, так что, глядя на него, ты совершенно теряешься, и в то же время серьезный и резкий, так что даже страшно становится, и потом сразу вдруг по-детски падкий до сладкого и улыбочивый. А о его синих глазах, каких здесь очень много, я все же думаю, что они до странности честные и до странности беспощадные... А в тот раз, когда этот человек за вечерним чаем у господина Овандера узнал, откуда я родом, он тут же заговорил со мной по-итальянски: О-ва-ва-а! Я же бывал в этой стране, да-а — Genova, Venezia, Roma, Napoli — в восемьдесят седьмом и восемьдесят восьмом — в обществе графа Мантефейля. Certamente! Assicuratamente!¹ С грехом пополам ведь говорил, но смело и живо. И это было таким чудесным сюрпризом, что мое решение поехать с ним стало вдвое тверже. А он все болтал и искал слова и коротким смешком посмеивался над своими ошибками...

Вдруг я вздрагиваю... на этом самом стуле... вот сейчас утром... в Экси... за столом во время завтрака... Святой Дженнаро, неужели я при всех гостях задремала?! Эти самые короткие смешки доносятся в столовую с застекленной веранды, все сидящие за столом оборачиваются, и в дверях с запотевшими, по-утреннему серыми стеклами появляется Отто и проходит под большой масляной лампой — полы нараспашку, сапоги

¹ Конечно! Без сомнения! (ит.)

забрызганы грязью, руки в земле, а у самого невероят-но победоносное лицо:

«Guten Morgen, доброе утро! Verehrte Freunde»,— он рывком снимает с диванного столика горшок со змей-травой, ставит его на пол и высыпает на настольное стекло содержимое рогожного мешка, который держит в руках:

«Meine Damen und Herren! Камни, которые вы здесь видите (полтора фунта грязных, серых и черных каменных осколков), в данный момент редчайшие во всей северной Европе!»

Теперь он полой вытирает выпачканные землей руки, подходит ко мне, одной рукой обнимает меня высоко за шею, так что больно волосам, другой чуточку приподнимает подбородок и при всех целует меня в лоб. Его обычная церемония. Думаю, совершаемая им прежде всего для того, чтобы видели старшие дочери, чтобы напомнить им, кто я для него, а это означает— для всех здесь в доме. Но едва прикоснувшись к моему лбу, он уже отвлекается и отвечает на вопрос по поводу этих камней. От него пахнет лошадьё, овсяной соломой, потом, табаком и осенним утром. Я слышу отдельные слова: в начале июня... во время страшной бури... на пастбище локоского Михкеля... Метеор! Вне всякого сомнения!

В это самое время я думаю сразу о многом, я думаю о том, как он меня впервые поцеловал... Святой Дженнаро— когда я приехала с ним из Петербурга, туда, в Виру-Нигула, мне и в голову не приходило, что он может стать для меня чем-то бóльшим, нежели просто хозяином, а я для него— больше, чем гувернанткой его детей. Там ведь все было так по-провинциальному церемонно при его матери. Я еще застала ее в живых. Малюсенькая дряхлая госпожа кистерша, про которую Отто утверждает, что она будто бы урожденная von Hiltbrandt. Бог его знает, но со временем я начала сомневаться, была ли моя госпожа свекровь вообще дворянского происхождения. Не только потому, что она так бегло говорила на языке местного народа, но еще больше потому, что я обратила внимание, насколько громогласно и как нечто само собой разумеющееся (невольно или намеренно) объявлял Отто о моем, в сущности, сомнительном маркизатстве. Мой

свекор за несколько лет до того умер там же, в доме Отто. Вышедший на пенсию мужицкий кистер, о котором говорили, что он за всю жизнь так и не научился правильно говорить по-немецки. И с которым рассказывали, что у него бывали приступы бешеного неистовства. Чему вполне можно поверить. Потому что и с самим Отто это тоже случается... (Я снова наливаю всем кофе из начищенного уксусом медного кофейника.) Эта колющая, пронзительная интонация, с которой Отто сейчас уже за столом объясняет Еше, что цензор Мориц глуп (и это далеко не самое запальчивое из того, что я от него слышала). У меня были основания на прошлой неделе испугаться и поверить дошедшему слуху. Когда он все не возвращался из Риги и вдруг начали говорить, что генерал-губернатор велел якобы посадить его в тюрьму. Потому что он предъявил Отто какие-то требования в отношении газеты, а тот будто бы наговорил генерал-губернатору в лицо страшные дерзости... А теперь бледный Антон открывает рот (ох, лучше бы он этого не делал!) и что-то говорит в защиту цензора Морица. Отто раздражается отрывистым смехом и при всем обществе громко выкрикивает:

«Du — Herr durchgefallener Advokat — Herr Durchfalladvokat — Herr Advokatendurchfall — verteidige mir ja nicht diesen Scheiss!¹»

И пока все мы еще смущенно молчим, я слышу, как он, обращаясь уже к учителям и Хольману, продолжает:

— Но кое-что важное я все же ухватил! Укусы бешеной собаки можно лечить! Да-а! Поваренной солью! Я точно знаю, каким способом. Пастор Миквиц в Лихула уже десять лет с большим успехом это делает. Только наша-то беда в том состоит, что у нас о таких вещах ни одна душа не знает! Нам известно, что происходит в Кордофане и Португалии, а о том, что делается от нас за десять миль, об этом мы слышим десять лет спустя — как будто бы это происходит в пустыне

¹ Ты, господин провалившийся адвокат, господин адвокат с поносом, господин адвокатов понос, ты мне не защищай это дерьмо! (Здесь игра слов: der Durchfall означает и «провал», и «понос».) (нем.)

Гоби! Скажите, разве такое было бы возможно, выходи у нас постоянный солидный еженедельник, я вас спрашиваю?

И я слышу, как он победоносно отхлебывает кофе и при этом так чмокает, что понятно, от кого научилась Анита...

А впервые он поцеловал меня в нашу первую рождественскую ночь в Виру-Нигула.. Через несколько дней после похорон маленькой Софи... Ох, когда я начинаю вспоминать, мне порой кажется, что в дни моей юности смерть особенно широко косила вокруг меня...

Эта крошка ушла к господу спустя полгода после моего прихода в дом. Хотя я изо всех сил боролась за ее жизнь. Ведь для меня это значило сдержать клятву: любить детей этого человека, как своих собственных. Но об их отце я действительно тогда не думала. Во всяком случае настолько, чтобы самой это сознавать.

...Я наклоняюсь над кроватью Аниты и плотнее укрываю ее одеялом, потому что уже ночь и за окном ревет буран. Мелькают свечи, детская полна запаха еловых веток, которыми я ее украсила. Из столовой пахнет шафраном от остатков рождественской булки с изюмом. (Мы ее почти всю съели вместе с детьми и Отто, когда он пришел после вечерней рождественской службы. А гостей предстояло принимать только на второй день.) Я наклоняюсь над кроватью Аниты... вдруг он оказывается за моей спиной, поворачивает меня к себе и целует... до тех пор, пока я перестаю сопротивляться. Впрочем, мое сопротивление длится меньше, чем того требовала бы девичья гордость. Тогда он берет меня на руки, несет в спальню и кладет на свою супружескую кровать, на которой он со смерти жены не спал... Я даже не знаю, говорили ли мы о чем-нибудь... Кроме того только, что я шепчу: Я боюсь — и борюсь с собой: сказать вас или тебя — и говорю тебя... понимаю, что это гнусно, и быстро добавляю: и небесной кары... И он говорит так страстно, что я верю или хочу поверить, что ему это известно: Небо простит нас! И когда я снова слышу рев бурана, я уже его жена, и с той ночи через несколько месяцев будет двенадцать лет. Хотя под венцом мы стояли всего только три года назад.

Двенадцать лет... Всемогущий боже, я знаю: одни считают его ужасно умным, другие — ужасно своеправным, а третьи — просто странным. В самом деле, легкость, с какой он принимает решения в самых важных делах, дает основание считать его человеком большого полета. Если б только не было у него другой легкости (а может быть, это она же самая), другой легкости, с какой он свои решения меняет... Порой мне даже неловко про это вспоминать. Как он был сначала восхищен, например, этими братскими общинами, которых так много здесь вокруг Экси... *Saga tía*, взгляни, какой это народ! Какой он чистоплотный, зажиточный, тихий. И на каком правильном и красивом языке он говорит! Когда их слушаешь, убеждаешься, что в самом деле существует сложившийся эстонский язык! И поверь мне: это именно братья-проповедники* таким его сделали! Не немецкие господа пасторы, мои коллеги! Потому что они, господь это знает, — самая бесплодная, самая противная порода людей, каких мне доводилось когда-либо встречать! Это его буквальные слова. Но не прошло и двух лет, как Отто стал говорить, что братцы — самые плаксивые, самые лицемерные и эгоистичные люди на свете, ходил в суд и в консисторию с грохотом воевать с ними, что в известной мере означало и военный поход против правительства в пору, когда министрами у нас были пиетисты*... И если бы он при этом хотя бы заручился поддержкой среди пасторов!.. О господи... Каким образом при всем крике и вражде, которыми они постоянно его преследуют, он все же был назначен тартумааским пробстом, этого я до сих пор не понимаю. И среди поводов для этой вражды не на последнем месте были его отношения со мной. Но и не на первом. Само собой понятно, что они нас все десять лет подозревали. Но сказать нам об этом в лицо у них все-таки недостало смелости. И кроме того, я (хоть и его служанка) все же *marchesina*, о чем он громогласно доводил до всеобщего сведения, а не крестьянская девчонка... Как эта красавица Эва, которую избрал себе в жены злополучный выйсикуский господин Бок и которую он на четыре года отправил к нам в дом учиться хорошим манерам, немецкому и французскому. Славная девушка. Господин Бок потом в самом деле повел ее к алтарю, примерно за год до того.

как его самого поглотили Санкт-Петербургские казематы. А теперь все дворянство, как свора бешеных собак, преследует несчастную Эву... Ах, укус бешеной собаки можно лечить поваренной солью?.. Может быть... Но не слишком ли это просто? Сколько раз я уже слышала от Отто о том, что сделано великое открытие. О боже, не их ли Лютер сказал: Ты можешь запретить птице вить гнездо у тебя на голове, но ты не можешь запретить ей летать над твоей головой... И сейчас вот, за завтраком, когда Отто, возвратившийся со своими небесными камнями из Кайавере, пьет кофе и рассказывает новости и при этом спорит, ворчит, бранится, смеется и поясняет, — эта самая птица опять летает у меня над головой... Эта бесстыжая птица с ее пронзительным криком: другие его не слышат, а для меня он как иголка в сердце — Отто, этот старик, знающий девять языков, к которому суперинтенденты и профессора обращаются за советом и помощью, разве, по правде говоря (о господи, даже мысленно мне трудно это произнести), разве он не суций... ребенок? Разве он, по правде говоря (о святой Дженнаро, прости меня!), не старый образованный дурень?!

Сейчас, за кофе, я говорю, чтобы Минна задула лампу, потому что уже достаточно светло, и слушаю голос Отто... И вдруг я начинаю хлопать в ладоши. Хлопать в ладоши именно тогда, когда Отто уже снова говорит о метеорных камнях и принимается объяснять, почему и насколько твердо он уверен в том, что они подлинны. И все полагают, что я хлопаю, восхищенная его словами. Пусть думают, как хотят. Я бормочу: *но это же замечательно*. И они относят мои странные аплодисменты за счет моего южного темперамента (за счет негс уже многое было отнесено). Никто не понимает, что, хлопая, я отгоняю от себя эту бесстыжую птицу.

Теперь я случайно перевожу взгляд на стеклянную дверь, ведущую на веранду. Мои хлопающие руки замирают в воздухе. И я не могу понять: этот молодой человек, правильнее было бы сказать, этот юноша, которого я вижу, стоит там уже давно или он только что вошел.

Сейчас, во время завтрака... Этот юноша в дверях столовой...

— Само собой разумеется — метеор! (Чтобы сие распознать, для этого надобно иметь не только знания, но и чутье!) Я ни на один миг в сем не усомнился, с той самой минуты, как мне про него сообщили. Шестого или седьмого июня. Метеор на пастбище локоского Михкеля! Метеор в Кайаверской пуще! Просто удивительное дело! Именно в том самом лесу, откуда пошел весь род Мазингов. Ткачи, кистеры, управители мыз, пасторы... До сих пор дальше всех пошел я. В смысле занимаемого положения. Пробст северной части Тартумаа и патриарх эстонских дел. Как меня называют. Ну да и мир я, разумеется, тоже побольше, чем они все, понюхал. Пруссия, Саксония, Вестфалия, Франция, Савойя, Пьемонт, Неаполь, Каталония, Россия. Ну и так далее. (Этого «далее», по правде-то говоря, не так уж много. Но я люблю производить впечатление. Хорошо это или дурно? Хорошо, хорошо! Потому что это нужно, просто даже необходимо.) И сверх того еще многое в книгах видел. А теперь — опять Кайаверская пуща... Это же здесь. Почти что рядом. Ежели подняться на церковную башню и посмотреть за озеро Саадярв, то опушку видно простым глазом за блестящей гладью озер. Так что как будто действительно замыкается полный круг... А я еще только намереваюсь выйти на настоящую дорогу!.. Порой мне воистину так думается. Когда возвращаюсь верхом с полей, или со строительства, или откуда-нибудь еще дальше. Когда разгоряченный, отдохнувший на воздухе за чашкой кофе вдыхаю запах свежего осеннего утра. Когда через головы ватаги моих девочек смотрю из окна застекленной веранды (синий овечий выгон неба в той стороне, где, как я знаю, за лесом должно быть озеро, а за озером — Кайаверская пуща). И еще когда испытываю искушение при мысли, что в рабочей комнате меня ожидают разложенные на трех столах, еще незавершенные манускрипты и с дюжину неотвеченных писем... тогда мне представляется, что все еще достижимо! И думается, что бессовестно легко достижимо! Труд, кажется — *Genuß ohne Gleichen...*¹ Такое испытываю удо-

¹ ...ни с чем не сравнимое наслаждение (нем.).

вольствие, что даже совестно в этом признаваться, кажется, что вершины всех кайаверских елей и даже вершины всех Альп мне все еще доступны... Ибо, по правде говоря, ничего ведь еще не сделано. А мне пятьдесят восемь лет. Грамматика все еще не закончена. Даже в спорах по поводу орфографии не достигнуты берега ясности. Мой большой словарь день ото дня все лухнет и день ото дня все дальше от завершения. Я все еще не приступил к пособию по языку для чужестранцев. Пятнадцать листов манускрипта библейской истории я побросал на прошлой неделе в печь. Нужно начать по-другому. Мои лекции по языку для университета все еще не имеют разрешения министерства. Мои таблицы для чтения, предназначенные деревенским школам, все еще держит цензура. Будто бы в них ланкастерская метода обучения. И кроме того, дозволяются только те тексты, которыми пользуются в России. (Бог с ним! Главное, это научить чтению.) И моя газета, которая теперь, с божьей помощью, вопреки желанию хозяев, все же выходит... правду говоря, газета пока только по названию... Имея девяносто шесть подписчиков! И с Карой у меня до сих пор все нет детей... И порой сдается мне, что все у меня уже позади. Что я жил и бился на сто лет прежде времени и что впереди у меня одна лишь бесплодная борьба с мелочностью, равнодушием... На шее у меня сидит Мориц, в желудке боли, в костях колотье, во рту вкус желчи... Порой... Но вот, гляди, господь посылает в Кайаверскую пуцу метеор, и его осколки старый Мазинг держит на ладони!

Однако ж, дорогой мой Еше, и ты, Сага тиа, и ты, Адлерберг, и все остальные, наверное, вы полагаете, что это было легко добыть сии осколки?! О, я отлично помню бурю, которая разразилась у нас здесь, в Экси, четвертого июня, после обеда, Сага тиа, ты ведь тоже помнишь, какой вдруг поднялся вихрь, и пока девушки успели собрать полотнища, которые белились у реки на ивовых кустах, с них уже вода текла. Хольман, и ты, конечно, помнишь, как первым же порывом снесло полкрыши с овечьего хлева. Правда, грохота от падения самого небесного камня в Экси слышно не было, но позавчера я обошел все дома до последней лачуги, ходил на поля, говорил с людьми. Так что теперь я в точности знаю, как все произошло, да-а: только лишь

теперь! Еще, ну скажи, пожалуйста, разве ж это не позор?! Метеор падает четвертого июня, и только девятого сентября мне становятся известны подробности?! Не напиши я теперь об этом в Экономическое общество, ни одна душа даже отдаленно не могла бы этого предположить! И сие неведение ничей сон в нашей благословенной Лифляндии не нарушило бы! Никто бы даже не чихнул по этому поводу! Еще, но у вас-то там, в Тарту, ведь до дьявола профессоров! И Струве, и Паррот, сии любезные господа уже десять лет вдвоем строят обсерваторию, будто это какая-то Вавилонская башня! И потом, слышно, вам собираются купить эту знаменитую трубу Фраунхофера. Но скажи мне, старый мой друг, что толку, ежели ваши *academicus*'ы станут изучать то, что отсюда за пять миллионов верст, и ни малейшего интереса не проявят к тому, что может тут же, всего за пятьдесят верст, свалиться им на голову. И у одного-единственного по сие время человека, который интересуется местными делами, у одного-единственного так дьявольски много дел, что должно было пройти целых четыре месяца, прежде чем он смог съездить на место?! А вашим профессорам государь кресты на шею вешает... Ха-ха-ха-ха! Да-а. Эти чертовы французы все ж таки хитрые бестии! Известно вам, как они сии побрякушки называют? Ну, те, что избранным для оказания чести от имени высшей власти на шею да на грудь навешивают? Известно? Нет? Никто не знает? Адлерберг, и ты тоже не знаешь? *Les chats!* Ха-ха-ха-ха! Что это значит? Плевки! Сопли! Вот ведь черти эти французы! Ха-ха-ха-ха! На прошлой неделе проректор Гице тоже дал одним таким в себя плюнуть! Но я вас спрашиваю: за что?! Вот я могу сказать к примеру: *Saga mia*, ты прекрасная женщина. Но, прости меня, твоих итальянцев я вообще не считаю особенно выдающимися. Они только мстить горазды. Однако ж: в тысяча восемьдесят седьмом году в деревнях Калла и Пиэра, что во владениях герцога Пармского, упало несколько небесных камней. В том же году, в том же самом году профессор Гвидотти написал про них солидную книгу. А мы?! Господи боже! Я же говорю: эдак вот мы умеем с важным видом жрецов и туго набитым брюхом проспять свои скудные возможности (и разве это только в отношении ме-

теоров?!). Такого не может быть ни в одной развитой стране!

Ну да, и позавчера утром, когда я приехал туда, к локоскому Михкелю на поле, оно у него уже под паром, ничего нельзя было увидеть. Поле в конце июня было вспахано, и я увидел один только треснувший валун в сажень высотой, лежавший посреди поля, в него-то метеор и угодил. Но произошло все весьма просто. Я разговорился там с Мартом, пастухом локоского Михкеля, — именно он и видел все лучше других. Март как раз через поле гнал стадо домой... Шел спрятаться от бури. Вдруг в черных, как днище котла, тучах заревело, затрещало, засвистело. И вмиг так бабахнуло, что он повалился животом на землю. И тогда появился огненный шар! С молниеносной быстротой пронзил тучи и, будто столб огня, почти отвесный, с оглушительным грохотом устремился к огромному валуну посреди поля локоского Михкеля. И разлетелся на тысячи огненных осколков. Меньше чем в двухстах пятидесяти шагах от Марта. Так что мартовские коровы заревели и в диком ужасе врассыпную понеслись в кустарник. Многим животным так обожгло бока, что выступила кровь. Только спустя какое-то время Март обнаружил, что сам он, согнувшись с перепугу в три погибели, мчится по полю к тыну.

Ну, а когда окрестный народ осмелился собраться, то все увидели, что на земле вокруг михкелевского валуна валяются дымящиеся и тлеющие каменные осколки, которые затем, остывнув, стали темно-серыми и черными. Но они до того медленно остывали, что даже на следующее утро их с трудом можно было держать в руке. Значит, до такой степени они были раскалены. И сии камни, обжигавшие им ладони, крестьяне тут же растащили, сочтя их святыми. Так что только после подробных расспросов и долгих уговоров мне удалось получить у них несколько камней. Под твердое обещание вернуть их обратно и заверение, что изучением и пробой я их не испорчу. Но совсем без этого мне никак не обойтись. Придется некоторые расколоть. Я хочу через увеличительное стекло рассмотреть поверхность осколков и потом опустить камни в серную кислоту. Станут ли они кипеть в ней? Хочу определить их удельный вес. И ежели поверхность у них такая,

как говорит Гвидотти, зернистая, пепельно-серая, с черными или красно-желтыми прожилками и точками или даже мелкими яркими металлическими вкраплениями, и ежели серная кислота от них закипит, и ежели их удельный вес составит около трех целых и четырех десятых — тогда все смогут убедиться, что это подлинный небесный камень. Так же твердо, как я сам в этом убежден.

Однако ж должен сказать, что погоня за этими осколками была приятным делом. Ну, правда, отчасти и докучливым тоже. Для нас ведь не новость, как темно у них в избах, как воняет затхлостью и дымом. Зато строптивость, с которой они тебя встречают, когда ты приходишь к ним с подобным разговором, каждый раз будто новая. Ибо, будь ты хоть пробст, хоть кто угодно другой, никогда они тебе прямо на твой вопрос не ответят. Только с помощью длинного объезда ты можешь оказаться у цели. Несмотря на то что в остальном они мне полностью доверяют. Эти кайаверские люди, которые ходят в церковь Марии, и чьим духовным пастырем я не являюсь. Да-а, доверяют. Даже после той наивной клеветы, которую здесь недавно про меня распустили. Черт его знает, от кого она исходит! Впрочем, будто я на самом деле не знаю, от кого! От тех баронов, что сочувствуют братским общинам! Фарисейское хныканье исходит теперь отовсюду, начиная от самых высоких... кхм... персон, вплоть до юнкерства. И под эти стенания они проделывают весьма подлые дела... Чтобы подорвать мой авторитет, они распустили слухи, будто бы я в интересах баронов за десять тысяч рублей вырвал из «Положения о крестьянах» какие-то две самые важные страницы и оставил их непереведенными с немецкого языка. В результате чего по моей якобы вине Положение о лифляндских крестьянах на эстонском языке есть не что иное, как жалкое пресмыкательство обманщика... А я вам скажу: переложение этого закона было эпохальным делом! Я создал для эстонского народа из его собственного языка юридический язык и вложил ему в рот! Да-а! Но я скажу вам еще, что представляет собой этот закон в его святом русско-немецком оригинале: сквозь тонкую сладкую корочку просвечивает самая хитрая иезуитская кислятина, какую только я когда-либо видел! Про-

возглашаемая этим законом с в о б о д а, согласно ему же, не может быть больше, чем чисто nominaliter¹. А наше утешение в том, что время все меняет. Мальчишки становятся мужчинами, их расшитые фальшивым жемчугом распашонки выбрасывают в короб с тряпьем, потому что мужчине они уже не по плечу! И я скажу вам: чем тяжелее будет для крестьян закон, их касающийся, тем быстрее все созреет!

Да-а: народ мне доверяет, что бы там ни трепали языком всякие продажные подонки и забулдыги. Да и полтора фунта осколков небесного камня мне мужики дали... Должен сказать, что с ними приятно вести беседу; конечно, кружки, из которых ты при этом потягиваешь пиво, может быть, уже давно не видали молчалки, да и само-то пиво большей частью не ахти какое. Но речи их своей поучительностью достойны удивления. Да и не только этим. Они просто радуют сердце... признаками, которые свидетельствуют о том, что крестьяне научаются думать. А ежели ты в этих признаках узнаешь еще свой собственный посев... Сидели мы с Тынисом в Кайаверской пуще у него на завалинке и говорили с ним про осколки метеора. Вдруг Тынис вынимает изо рта трубку (и я обратил внимание, что она совершенно исчезла в его огромном кулаке, казалось, будто эта гора стала дымиться). Тынис поглядел на свой кулак и сказал: *«А сии небесные камни... я вот думал... Может, они не что иное, как осколки камней, которые выбрасывают из горла огнедышащие горы и которые некоторое время спустя с такой быстротой несутся по небу и падают обратно на землю, что искры сыплются...»* Я его слушал и глубоко затягивался своей пеньковой трубкой. Не только от того, что понимал: Тынис прочел в моей газете «Маарахва пэдалалехт» * про огнедышащие горы. Но еще гораздо больше от того, что я видел: он думает о новых для него в мире вещах, пусть и неправильно, но совершенно самостоятельно! И этим самым доказывает то, о чем я уже давно говорил: дайте этому народу пищу для мыслей, и он придумает чудеса! И, должен признаться, эти размышления матсовского Тыниса о небесных камнях доставили мне истинную радость. Слушай я его стоя,

¹ Номинально (лат.).

а не сидя, я бы наверняка почувствовал, что от удовольствия, того и гляди, пополам согнусь, как перочинный нож, или у меня подкосятся колени, как это со мной иной раз бывает, когда я узнаю о чем-то особенно радостном. Но это лишь мне кажется, на самом же деле я всегда продолжаю стоять совершенно прямо...

Однако обратимся снова к нашей пассивности: да, даже самые лучшие наши люди будто в какой-то свицовой оболочке! Возьмите хотя бы Розенплентера (кто из здесь присутствующих ведь знает его лично... за десять лет нашего с ним знакомства он раза два приезжал ко мне из Пярну и сидел за этим столом); самый честный, самый порядочный человек, какого мне вообще посчастливилось встретить в Лифляндии. Человек, у которого нет недостатка в идеях. И который действительно делает кое-что полезное. Взять хотя бы «Бейтрэге» * (которые, разумеется, никто из вас не читает!). Так вот: несколько лет назад Розенплентер написал мне, что он купил типографию! Чтобы самому печатать свои «Бейтрэге»... *Типографию!* Господи боже, это же именно то самое, о чем я мечтал еще в Виру-Нигула. Чтобы не зависеть от проклятых печатников! От этих вшей с вылизанными рожами и ледяной кровью, наподобие Шюнмана хотя бы! (Да-да, в личных отношениях он может быть каким угодно, в день рождения своей маменьки может ходить к ней целоваться, это пожалуйста. Но для литераторов он — пьявка на шее уже по одному тому, что он у нас единственный...) Одним словом, у Розенплентера типография... Иисусе Христе, какие возможности! Это же не только «Бейтрэге», само собой разумеется! Это вся эстонская словесность и все, что касается эстонских дел! Да и не только типография, так ведь! И я тут же пишу Розенплентеру в Пярну, чтобы он приехал ко мне, и все ему разъясняю, яснее ясного разъясняю: типография — это великолепное дело. Но это лишь начало. Для того чтобы, имея типографию, действительно быть самому себе хозяином, нужно построить и бумажную мельницу. А именно: следует разыскать людей, у которых есть необходимые деньги. Такие найдутся. Нет, у меня -то их, как известно, нет. У меня около четырех тысяч долгу. Ха-ха-ха-ха-а! Невероятно? Но, к сожалению, это правда. Не это важно. Люди с деньгами найдутся. Но я скажу вам:

только при условии, чтобы в компании не было ни одного дворянина! Поверьте опыту старика! Ибо наш *pobilitas*¹ я знаю лучше, чем свой жилетный карман. Нет, нет, я не хочу сказать, что не встречаются исключения. Ежели бы их не было, то ведь я не мог бы об этом говорить в присутствии Адлерберга! Ха-ха-ха-ха-а! И я совсем не хочу сказать, что, если, например, моя мать *geborene*² von Hiltbrandt, то она не была честным человеком. Напротив, она была просто болезненно честной и в отношении таких вещей, на которые отец часто просто махал рукой. Помню (мне было тогда десять лет), как непреклонно мама заставила меня раскаяться в том, что я однажды натырил яблок с яблони нашего батрака Яана — ему было выделено одно дерево в кистерском саду. Мне пришлось воскресным утром перед службой три часа простоять в сенях голыми коленями на каменном полу, мало того, еще и пойти просить прощения у Яана. И я могу признаться, что эта анисовка батрака Яана в моей памяти и в моих воспоминаниях прямо как бы срослась воедино с деревом познания добра и зла. Благодаря моей матери. Но вот что я хотел сказать: через нее я стал в наших дворянских кругах, ну, если не совсем своим человеком, то, во всяком случае, человеком *acceptable, persona grata*³, как говорится. Так что у меня было больше чем достаточно возможностей узнать эти «круги» со всеми их потрохами и выяснить, какова их мораль. И я скажу вам (несмотря на то что среди них встречаются прекрасные люди): там, где дело касается чувства корпорации, там, где они, мнящие себя рыцарями, имеют дело с нижестоящими, там сразу же начисто исчезает их рыцарство. Тогда и обнаруживается, что в своем большинстве наши *pobilitas* на самом деле — *ignobile genus hominum*⁴. Так что никаких дворянских компаньонов! Я скажу вам — только люди из мещанского сословия! А главное — хороший бумажный мастер. Такого можно найти в Ряпине, Риге, Митаве, Петербурге. Если там не найдется, то в Турку у меня есть знаком-

¹ Дворянство (лат.).

² Урожденная (нем.).

³ Приемлемый, лицо признанное (лат.).

⁴ Неблагородный член человечества (лат.).

ства, и, стало быть, это дело я вам устрою. (Боже мой, помню, когда я еще только начал предвкушать открывающиеся возможности, как у меня чесались грудь и ляжки! Это происходит оттого, что тоненькие мускулы под кожей от оживления и сосредоточенности сокращаются и волоски, там где они имеются на теле, встают дыбом.) А на чем будет работать эта бумажная мельница? На тряпье, разумеется, на тряпье, как и все бумажные мельницы. Господи, чего же еще так много валяется по всей Лифляндии, как не тряпья?! И я вам сразу же разьясню, каким образом все это тряпье начнет в таком количестве поступать к нам на мельницу, что у нас его будет с избытком. Нет, для этого нам не погребуется снова открывать Америку. Мы используем мудрость, уже давно проверенную другими. Например, купцами всех европейских портов, которые хорошо наживаются в Гвинее. Мы запасемся нужным количеством бус и маленькими зеркалами. И поедем по провинциальным пасторатам и кистерским домам. И займемся супругами пробстов и госпожами кистершами. Времени у этих дам предостаточно, чтобы гараторить за кофе. Как это и здесь сейчас очевидно. Сага тиа, правда ведь? Хольман и твоя Софи тоже, наверное, не откажутся поговорить с деревенскими женщинами (вам же все равно все время приходится иметь с ними дело), мол, полюбуйтесь, как горят и сверкают эти бусы, и вы сможете получить их, скажем, за пятнадцать фунтов льняного, конопляного и всякого другого тряпья, не говоря уже о хлопчатном. И взгляните на себя в это зеркальце, в нем все мордашки хорошенькие и никаких недостатков не видно — за тридцать фунтов тряпья *Грансо*¹ в пасторат оно будет вашим. Или еще я скажу вам: мы отпечатаем в типографии у Розенплентера крохотные календарики полевых работ, ну, скажем, четыре тысячи штук. В них будет указано начало и окончание всех полевых работ, природные приметы роста зерна и животных, размножения скота и его болезней, приметы лекарственных трав, приметы погоды и небесные знаменья. Мы разошлем календари нашим дорогим коллегам, и те, окончив обычную службу, тут же с кафедры оповестят: каждому хозяй-

¹ С доставкой (нем.).

ну — книгу мудрости полезных работ, в ней — то-то и то-то, всего за сорок фунтов тряпья, доставленного в пасторат! И я скажу вам: мы сможем потонуть в тряпье! И главное, это я уже давно высчитал: когда мы начнем печатать на нами самими изготовленной бумаге, печатная продукция обойдется нам в среднем на сорок шесть процентов дешевле, чем продукция наших теперешних обдирал. Розенплентер все понял! Он всегда все понимает. Он понял, что моя идея гарантирует нашей бумажной мельнице неограниченные запасы сырья и что таким способом мы сможем обеспечивать даже другие бумажные мельницы за весьма доходную цену. Но он только самым вежливым образом поблагодарил меня, поцеловал Каре руку, поклонился и уехал обратно к себе в Пярну. А через месяц сообщил, что, к сожалению, ему не дали разрешения открыть типографию... Но скажите мне, когда это и на что в нашей благословенной Лифляндии с первой же попытки любезно дают разрешение?! И вместо того чтобы всеми силами держаться за свое дело и начать действовать, вместо этого сей милый человек, Розенплентер, улыбаясь, сложил руки! И перепродал свою типографию, леший его знает кому. Ах, что же ему следовало делать?! Я скажу вам: действовать! Писать прошения! Пять, десять, двадцать прошений. Генерал-губернатору, в цензурный комитет, министрам. Разве их мало, тех, кто такие вещи решает? И самому пойти по всем сим господам! Аргументировать, улыбаться, изображать наивность, говорить комплименты, интриговать (да-да-да: в интересах дела), отступать, снова атаковать и уговорить! Господи боже мой, разве мне не пришлось целых шесть лет долбить брешь в стене, чтобы получить разрешение на газету! Шесть лет! Из Тарту в Ригу, из Риги в Петербург, из Петербурга в Тарту! Как белка в колесе... Но моя газета существует! Газета выходит!

Сага тиа, налей мне еще чашку... Я скажу вам: кофепитие — очень приятное времяпрепровождение, но оно в самом деле может стать грешным... Как ты сказал, Адлерберг? Что газета выходит то выходит, но может случиться — недолго просуществует, ежели я буду пытаться говорить в ней хоть какую ни на есть правду?

Дорогой мой, правда, как и кофепитие, может стать грехом. Не беспокойся, мне это известно. Ха-ха-ха-а... Ибо, что касается правды, то, с божьей помощью, я весьма рано был хорошо проучен.

Мне было двадцать семь лет, и я второй год служил в Люгануской церкви... Сын бедного кистера, уже имевший положение, понюхавший Европы, окончивший университет, обменивавшийся мыслями с большими философами, как с равными, человек, у которого уже была почва под ногами, посредник между своим приходом и господом... Ха-ха-ха-ха-а! Никогда, мне кажется, я не был умнее, чем в ту пору... Что господин адвокат изволил сказать? Что уже тогда я должен был чувствовать себя прямо-таки богом. Правильно, правильно! Скажем, младшим богом. И в том состоянии души и ума я писал для консистории очередной мемориал* за восемьдесят девятый год. Это был мой второй по счету мемориал. Ну, известно, какое тогда было время: Франция прищемила своему королю яйца. Только что была провозглашена Декларация прав человека... Ни лифляндские, ни русские, ни прусские газеты ничего значительного о том, что творилось на свете, не писали... Но люди все-таки еще ездили за границу и если не на дне чемоданов, то в голове кое-что через шлагбаумы провозили. Так что в дворянских поместьях и даже в кулуарах таллинского провинциального синода многое можно было прочесть и о многом услышать. (Не говоря уже о таллинской масонской ложе — я как раз тогда вступил в нее.) В то самое время, когда парижане камень за камнем растаскивали свою Бастилию, чтобы от нее даже воспоминания не осталось, — в то самое время и я в своем Люганусе размышлял: что бы и мне такое начать разносить, чтобы в конце концов об этом не осталось даже воспоминания, но чтобы сперва это явственно предстало у всех перед глазами... И в своем мемориале я написал, ну, разумеется, неполную правду, ну, скажем, полуправду, ну, четверть правды я все же написал. Я хорошо помню, с каким воодушевлением, с каким жаром я строчил это сочинение (я не скрываю того, что испытывал при этом и некоторое радостное бесстыдство. Я думал: ну что они могут мне сделать, мне — молодому человеку, пользующемуся уважением, назначенному сюда пастором, сы-

ну дворянки, мне — который написал чистую правду!)... За окном моей довольно жалкой комнаты падал великолепный густой новогодний снег, мне был виден клочок земли, утопанный табунами лошадей и стадами из нескольких деревень (из-за него у меня шел спор с волостью, ибо я просил перенести дорогу в другое место), эта безжалостно истоптанная, изуродованная земля, превращенная в пыль, покрытая комьями и конским навозом, постепенно исчезала под белым снежным покровом... Я поглядел в окно, положил на стол белый лист бумаги, взял в руку перо и сказал себе: *Но я обнажу здесь и беды сей земли, ибо иного спасения для нее нет...* Ну да, четвертую часть правды я написал. Так или иначе, но все, что было у меня сказано о приходе, касалось всей страны: *Что слепота пасторов сделала господа в представлении нашего сельского народа тираном. Что повседневная жизнь дает сельскому люду основание понимать блаженство, как беззаботное и безбедное существование, здесь доступное лишь немцам. Что деревенские школы существуют только ради названия, а не ради образования, не ради пользы, ради чего им только и должно существовать. И что причины похабства и пьянства совершенно ясны, но что у нас в стране нет такого места, где про это можно говорить открыто. И что, правда, сельский народ к воровству причастен, но что друг у друга крестьяне, благодарение богу, еще весьма редко крадут, в то время как обворовывать помещиков для них дело повседневное. Ибо помещик, по общему мнению, сам грабит крестьян, и его имущество по праву принадлежит крестьянам...* Но когда мне пришло в голову назвать нескольких помещиков своего прихода тиранами и Unmensch¹ами, то тут я подумал, что, может быть, уже несколько перебарщиваю... И я написал только про одного господина, уже переселившегося в другой приход, назвав его бесчеловечным тираном, однако на всякий случай добавил, что тот, к кому перешло имение, весьма добр к крестьянам... Но моя хитрость нисколько мне не помогла.

Да-а, через месяц на моем столе лежал ответ из консистории. Они будто бы долго взвешивали, не поручить

¹ Изверг, жестокий человек (нем.).

ли полицейским властям выслать меня из страны за мое чудовищное письмо... или все же простить... Сочтя это послание моей первой и (как они в тревоге надеются) последней глупостью молодости. В конце концов они по-отечески решили из двух возможностей выбрать вторую. Но, конечно, в том случае, если я немедленно извещу их письменно, что в дальнейшем отказываюсь от какого бы то ни было личного резонерства, как с кафедр, как в разговорах, так и в мемориалах.

Я набросил на плечи шубу и вышел на воздух. В таких случаях мне непременно нужно походить. Совершенно спокойным шагом я прошел через двор, потому что из дома и из хлева моя походка могла быть замечена домочадцами. Спокойным шагом я прошел через двор...

...Нет, этого я не стану им здесь говорить, я не стану им говорить... хотя с тех пор прошло более тридцати лет... Я вошел в засыпанный снегом ельник, остановился и до тех пор дубасил ногой, обутой в сапог, по сугробу, пока не добрался до ледяной основы и меня пронзила боль от самых пальцев до колена. Хромая, я пошел по снегу напролом. Ветви кололи мне глаза. Снег сыпался в лицо и за шиворот. Потому что я не наклонялся... *Не здесь, господи боже... Во всяком случае не здесь, на виду у деревьев, в лесу!* Я помню, что мне хотелось подать голос. Реветь, рычать не знаю как. И в то же время меня удерживал страх показаться нелепым. Но все же через каждые пять или десять шагов я в самом деле подавал голос. Как бывает иной раз, когда смертельно усталый идешь по колена в слякоти... Мх... мхх... Будто короткий стон (какой к черту стон! Ничего подобного! Просто рык!). Помню, что мне как будто не хватало воздуха, я не мог дышать... потом снова резко остановился... Я как бы вышел из своей оболочки, я протиснулся сквозь стеклянную крышку собственного гроба, встал на ней во весь рост и с достаточной высоты взглянул на свое второе я. И сказал себе: это пустая игра в обиженного. Перед кем ты ломаешь комедию? Для кого? С самого начала тебе было известно, что ед ва ли стоило ждать иного ответа. Ты знал, что подходишь к последней допустимой границе. А теперь у тебя ком в горле от злости, что они тебе не рукоплещут («Вот это правдолюбец, мы будем брать с

него пример!» Ха-ха-ха-ха!), что они тебе не рукоплещут, а угрожают! Чего ради ты с ними борешься? *Теперь или никогда* пошли им короткое письмо. Скажи им, что ты думаешь об ихнем требовании и о них самих. Небольшое личное резонерство. Но, уже окончательное (об их скудоумии, тупости, фарисействе, обо всем!). А потом отряхни здешнюю грязь со своих ног! Я стоял на стеклянной крышке собственного гроба (именно так мне представлялось) и вдруг разом почувствовал, как много кругом воздуха, сладкого, холодного, чистого воздуха! Его было так много, что у меня аж дух захватило... Но тут я повернулся лицом к потешной круглой башне Люгануской церкви, белевшей над лесом за жидкой рощей, в оконных проемах — сугробы снега, будто мука. И в это мгновение (по крайней мере сейчас мне так кажется) на церковной башне зазвонили колокола. И я понял, что эта старая церковь с ее могучими стенами и сводами, под которыми я встал на ноги, потрескавшаяся дубовая, терпко пахнувшая пылью кафедра, на барьер которой я опирался ладонями, мой дом под соломенной крышей, мои хлева, мои амбары в пасторате, эти снежные поля, над которыми разносится колокольный звон, худые, по-детски наивные лица местных моих прихожан внизу, перед кафедрой, — господи боже мой, ведь эти люди, может статься, родственники мне с отцовской стороны... Да, все это мне слишком дорого и (кроме родственных лиц) слишком дорого досталось, чтобы пожертвовать ради мнимой или пусть даже подлинной возможности свободно дышать, ради минутной гордости в конце концов... Слишком дорого! Ибо, в сущности, я сам уязвим, я совсем гол, я совершенно наг...

...Да-да, так это и было. Именно так. Целый час я ходил по лесу. И принял решение. Нет, я не смею во имя собственной гордости отказаться от своей несчастной страны и ее народа! Ежели я намеревался (пусть я сам и не принадлежу к нему, не так ли) труд всей своей жизни посвятить на благо этого народа. И, кроме того, господа из консистории сами понимают, что ежели бы я и поклялся, что откажусь от резонерства, то это значило бы все равно как ежели бы я дал клятву: господа, повинуйся вашей воле, с завтрашнего дня я буду жить, но не буду дышать! И вообще, я ведь ро-

дился в Лохусуу!.. О чем ты спрашиваешь, господин адвокат? Ах, почему же я тогда труд всей своей жизни, ах, так ты говоришь, начал лишь пятнадцать лет спустя? Замолчи! Да-а! Я родился в Лохусуу, хотел я сказать, а не в Ла-Манче, не в Ла-Манче! Ха-ха-ха-ха!

Однако на сей раз хватит. Дорогие гости, почувствуйте себя как дома. И мне позвольте чувствовать себя тоже как дома. Это значит, что я не позволяю себе мешать другим. Беседуйте, гуляйте, рвите цветы. Ежели сегодня и будет дождь, то совсем небольшой. Синецвет еще можно набрать по опушкам ячменных полей. Или катайтесь по озеру. Лодки у запруды. Возьмите две зеленые, на них краска уже высохла. Только не подплывайте слишком близко к рыбакам. Так. Девочки! Аннетте! Каролина! Урок на скрипке сегодня не состоится. У меня не будет времени. Упражняйтесь сами. Разучивайте следующие этюды. Завтра повторим. А теперь я хочу пойти и опустить в кислоту свой небесный камень и посмотреть, что произойдет. Хотя мне известно это заранее. А знаете, он, оказывается, влияет на стрелки компаса! Я уже проверил на своем карманном, это его зернистая структура с блестящими железными вкраплениями... Сага миа, ты даже аплодируешь моей уверенности?! Спасибо, спасибо! Ты это делаешь далеко не каждый день... Хотя я должен сказать, что ты замечательная жена, внимательная, бережливая, даже лампу велела задуть, это правильно... А почему вы все устались на дверь?

Ого... Кто этот странный молодой человек? Мы с ним встречались в феврале нынешнего года в Риге! Господин Петерсон, не правда ли? Но что с вами? Вы больны?

Сейчас вот, утром, на пороге моей столовой этот юноша...

3

Ничто меня в Риге не удерживало...

Подпоясаться, палку в руку и — в путь. Прежде чем окончательно завянут цветы и облетят листья. Прежде чем галки начнут собираться на башне церкви Якоба. Прежде чем зима все укроет белым покрывалом. Сходить туда. Пойти дорогой, большая часть которой хо-

рошо знакома. Кроме вот этих последних двадцати верст.

Даже странно, что так трудно они мне даются...

Папа Граве говорит: *Schöne doch deine Gesundheit!*¹ Какую только доuku не изъясняет папа Граве. О господи! Ведь милый старик, но филистер *par excellence!*² И для чего тебе так бравировать этим черным кафтаном?! Во-первых, другой у меня совсем износился. А во-вторых, для того чтобы возмущать вам подобных (да что там подобных, куда хуже, настоящих дурней!). Чего ради?! А просто так... О нет, не для того, чтобы они стали лучше... А чтобы показать им: можно быть и иным, не обязательно таким, как вы. Можно и без *redingot*'ов да бархатных жилетов. И вместо ваших *Spazierstock*³ов — десятифунтовая палица. Можно и так! Одним словом — можно быть и другим. И на свет явиться можно тоже по-другому, а не так, как вы. Не из дворянской усадьбы, не из бюргерского дома, а из простой избы... Aber, Christian, почему бы тебе не постричь свои русые волосы покороче?! Они у тебя до плеч... Так ведь ни один человек не носит! *Kein Mensch* — это вполне возможно... А половина крестьян носит. И половина небесных ангелов тоже! Поглядите-ка на свои картины в алтаре! Даже сам Иисус Христос! К которому мне якобы предстояло вскоре отправиться, пей я пиво и дальше...

Весьма недурная оказалась брага там, в пухталезваском трактире. И так чудесно согрела меня утром. В особенности на пустой желудок, после ночи на сеновале. Пухталезваский трактирщик не узнал меня. Зато я-то его, безусловно. Сразу же. Памятуя наши веселые пирушки, которые мы справляли под его крышей в прошлом году вместе с рижскими да лифляндскими студентами. Все тогда же, когда я стал фуксом*.

...Кончилась моя университетская пора... Да чего об ней тужить! Любезного мне профессора Хецеля, одного-единственного, которого там стоило слушать, они съели. Как вчера в Тарту сказали. За то, что он и о религии пытался говорить разумно. Да, в нынешние

¹ Пощади же свое здоровье (нем.).

² Здесь: по всем правилам, в совершенстве (франц.).

³ Трость (нем.).

времена этого делать не смей! Вот поглядеть хотя бы на старого папу Граве: уж как только он не потеет, когда приходится иметь дело с петербургскими проверщиками... и даже рот его источает те самые слезливые слюни, которых они ждут от него. Это вместо того, чтобы разумно толковать священное писание, как бы он сам того хотел... А господин Зонтаг! Даже сам господин суперинтендент *höchst-persönlich!*... Теодор немало рассказывал о бедах своего приемного отца... Нынче мы с ним больше уже не встречаемся... Нынче я, увы, — личность опустившаяся. А Теодор — приемный сын высшего в Лифляндии церковного вельможи. А ведь еще в минувшем году он был мне близким другом. Такой он парень, что, как только пришел, тут же признался, что явился не только затем, чтобы проведать друга, а по воле своего приемного отца в качестве шпиона... И дал прочесть все, что сообщил тому обо мне. Ха-ха-ха! Честно написал, а все же по-дружески: *Пьет. Однако умереннее, чем в предыдущем семестре.* Мог бы в два раза больше заниматься науками. И тем не менее успевает вдвое больше, чем все остальные, вместе взятые. Из чего следует, что стипендию вполне можно ему и в дальнейшем посылать...

А как тебе на первых семестрах спастись от попок? Друзья уже навеселе, лезут к тебе в окна и двери... Глаза блестят, щеки горят, сентенции, реплики так и летают от стены к стене; пенится смещение разума и пива. А когда вдруг на миг наступит затишье, дух захватывает от весеннего запаха лип на склоне Тооме... Сощурь глаза и сквозь кроны внимательно погляди на гору... Может случиться, что ты в самом деле увидишь, как вокруг красных стен библиотеки танцуют музы в белых одеяниях! Хлоп! Хлоп! — вылетают пробки из бутылок. Дзинь... кто-то мечом разбил окно на веранде господина Андерса — ненароком или по бесчинству — сам черт не разберет! Однако никакой неприятности от сего не последует. Ибо господин Андерс (хозяин квартиры и библиотекарь Моргенштерна, в душе старый *Bursch*²) сам в нашем обществе так веселится, что дым коромыслом... *deamus igitur juvenes dum su —*

¹ Самолично, своей высокой особой (нем.).

² Студент-корпорант (нем.).

шпиз... несется из десяти глоток — пронзительных и хриплых... В открытом окне лысая пылающая голова господина Андерса — ни дать, ни взять — второе солнце на небе, в дополнение к тому, что как раз сейчас опускается за тоомеские липы.. Из десяти пронзительно-хриплых глоток: *Vivant omnes virgines, faciles, formosae...*¹ Только может статься, я-то пью вовсе от того... Чувствую, как внутри у меня что-то вдруг леденеет... Может статься, я пью оттого, что с девушками у меня... Да-да-да, пить нужно поменьше, это само собой понятно. Но мужчине ничего ведь не делается от кружки пива или глотка вина. И разве я не доказал, что, ежели в самом деле того захочу, так и не буду рабом сих обычаев бражничества! Еще тогда, в гимназии, в терции*, когда целью своей жизни решил сделать миссионерство. И по добровольному своему желанию держался подальше от пива, да и от вина тоже. И вообще ел только корку хлеба да печенную в золе шелуху от репы и запивал все это холодной колодезной водой. Месяцами. Для того чтобы ради избранной профессии приучить себя по-спартански довольствоваться малым... *atque i-i-irriso-ogeees...* А может быть, я пью оттого, что не желаю пускаться с девушками в те пошлости, на какие все чаще отваживаются мои собутыльники?! А может быть, оттого, что мне все же хочется хоть раз этого отведать?! Господи, я ведь даже не знаю, что это такое...

Над сжатым полем потянуло ветром с озера, и меня насквозь продувает. Прохладнее, чем когда купаешься в студеной Двине. Просто холодно. А вон и башня эксиской церкви над вершинами елей, в пестросером осеннем небе. Острая, как большой кузнечный гвоздь.

Ну да... в Тарту я ходил просто так, чтобы еще раз побродить по знакомым местам. Ибо в Риге меня ничто не держит. И слава богу! Те несколько чурбанов-гимназистов, от которых я получаю на хлеб насущный за то, что (как известно, без толку) вколачиваю им в головы греческий и латынь, и этот чахоточный theologus, который, уйдя по болезни в отставку, учится у меня

¹ Веселимся, пока мы молоды, да здравствуют все девы... (студенческая песня, лат.).

древнееврейскому языку, и этот приказчик с понятливостью еврейского мальчика, которого я учу английскому (он так хорошо успевает, что денег я с него не беру), — все они подождут! Пока господин Петерсон сходит в город своих студенческих лет и воротится обратно. Ибо он решил это сделать. А свои решения он всегда выполняет. И так будет до конца жизни! Ибо воля человека (а это значит — его дух!) свободна лишь тогда, когда она пересиливает слабость плоти. Уже напечатаны четыре научных сочинения, касаемо языка... И в жизни никогда я не знал, что такое усталость... Удивительный какой гравий на здешнем тракте. Все время выскальзывает из-под ног, так что тебя волей-неволей пошатывает. Опять начинается этот чертов кашель... Ничего. С конца лица кровохарканья у меня не случилось.

Да, в Тарту я ходил просто так. Пройгись разок под окнами господина Андерса... в сумерках, чтобы меня не увидели из окна. Перешагнуть порог Тоомеской библиотеки... Еще раз вдохнуть этот удивительный запах меда и горькой пыли, который исходит от книг, когда их много, запах, навевающий сон и в то же время пробуждающий жизнь... Потом ночевал у Байера. Он остался мне другом. Он-то мне и сказал, что мне непременно надлежит сходить к пробсту Мазингу, что было бы свинством этого не сделать, ежели учесть все мои обстоятельства. Отец болен и уже второй месяц как не в силах звонить в колокола церкви Якоба, а ежели бы разрешили напечатать мою «Мифологию», то я получил бы свою сотню рублей серебром. Из которой половину я мог бы отдать родителям, сестре и братьям. (Отчего же половину?! Всю целиком!) И что именно у господина Мазинга совсем недавно была баталия с цензором Морицем за то, чтобы пошла моя «Мифология». И что теперь как раз самое время, чтобы такая оглушительно стреляющая пушка, как господин Мазинг, выпустила еще некоторое количество снарядов, и тогда бы цензура размякла (Байер, конечно, все это знает от Розенплентера, оба они родом из Вольмара, да к тому же родственники). Над страхами цензора Морица хочется и плакать и смеяться. Порочность и растленность моей «Мифологии» заключается будто бы в том, что я дерзнул и финских, и наших богов, и

разных лесных духов поставить рядом с христианским богом, девой Марией и Иисусом Христом!.. Пойдите, как это господин Мазинг якобы открыто где-то сказал... *малыш Мориц напыжился что есть мочи и такой бого- послушный крик против «Мифологии» поднял, что что нынче его наверняка сделают членом Оберконсультории... Хе-хе-хе... Значит, молодой господин Петерсон дает повод höhere Politik zu machen... höhere Provinzialpolitik zwar...¹ А все же!*

Сейчас молодой господин Петерсон идет в Экси. Ибо так он решил. После того как ему это наказал Байер. Отчего же не послушаться доброго совета. Нет, нет. Просить я не буду господина Мазинга ни о чем. Просто мое появление само напомнит господину Мазингу про «Мифологию». Этого ему будет достаточно, чтобы снова разразиться несколькими дополнительными залпами по Морицу. И по мне самому — тоже. Скажу даже — больше чем достаточно. И тем самым я сделаю для своих родителей, для брата и сестры то, что положено сделать сыну и брату. Больше, чем положено. Да и сейчас я туда иду! Собственно, я уже пришел.

Отсюда, с этой возвышенности, уже хорошо видно озеро. Будто длинный семиверстный нож поблескивает под пестро-серым утренним небом. Над ним курится легкий пар. Не знаю уж, теплый или холодный. Церковь и пасторат сразу за этим полем. Какая огромная мыза... Гигантские громады хлебов, конюшни, риги, сараи, каретники. Так, наверное, и должно быть, судя по тому, что говорят о господине Мазинге... И все это так близко от церкви, что белый божий дом едва виден. Правильнее было бы сказать, не церковная мыза, а мызная церковь. И шум, что до моих ушей доносится оттуда через поля и полосы кустарника, — это шум реки. У тех самых мельниц, о которых господин Мазинг не преминул мне сказать, когда мы зимой впервые встретились в Риге... *Ах, так вы, молодой человек, значит, читали мой «Маарахва пэдалалехт»? Все номера? И вы желаете моей газете долголетия? Очень мило, очень мило. Только лучше вы бы пожелали мне самому*

¹ ...делать высокую политику... правда, высокую провинциальную политику (нем.).

побольше времени! Ибо все эти *juridica*¹ здесь, в Риге, и пробство, и приход не отнимают у меня столько времени, сколько возня на церковной мызе. Там у меня на шее строительство двух мельниц. Так что если вы желаете нашему эстонскому народу добра, то пожелайте старому Мазингу побольше времени! Господин... Петерсон? Так-так. Тот самый, который опубликовал в «Бейтрэге» эти славные опыты о согласных и о чем там еще? Да?! Очень хорошо, очень хорошо! Взрослейте. И пишите дальше! Чтобы у нас было больше вам подобных... нет, я имею в виду не ваши страннообразные, непривычно длинные волосы, а ваш ум, который под ними чувствуется...

Ну да, даже он кольнул меня моими длинными волосами. Мои длинные волосы. Если хотите знать, так в прошлом году я видел знакомых Дербека, они из Рима возвращались обратно на родину через Ригу, молодые приверженцы искусства, а один — так просто всеми корнями деревенский, по фамилии Игнациус*, у всех у них волосы были, как у Христа, до самых плеч, они отрастили в Риме в знак протеста против французов... Однако же я видел одну литографию, на ней был изображен молодой Буонапарте в Италии (он стоял на мосту, не помню, как этот мост называется), и у него волосы были до плеч... Ха-ха-ха-а-а! Так что длинными волосами каждый говорит свое, то, что он хочет сказать, ежели, конечно, ему есть что сказать. И я с их помощью говорю... Ну да, когда-то, когда я еще вел дневник, я записал в нем: Христос, на которого я не в силах походить, и циники*, по следам которых я стараюсь идти... (Помню, в гимназии, в приме, наверное, на последних уроках старого Бротце, я вдруг стал думать, что стоило бы зачеркнуть циники, и вместо них написать стоики*, а потом все же решил в пользу циников, ради старика Диогена*. И держусь этого до сегодняшнего дня. И буду держаться до конца жизни!)... Ах, выходит, что своими волосами я говорю: циники и Христос? Едва ли. Я просто говорю: оставьте меня в покое. Позвольте мне быть тем, что я есть. В сущности я и циник, и пылинка Христа. Да. И молодой Буонапарте, только не тот, кровавый и толстый, которого теперь

¹ Здесь: собрания церковных деятелей (лат.).

похоронили там, на острове. И сын старого кикковско-го Яака и его жены Анне. И вольная душа, которая сама решает, что хорошо и что дурно. И еще — стихотворец этих длинноволосых деревенских поселян. Говорю о себе, а где-то за пазухой — легкий вегерок гордости и струя кичливости, но ведь это же правда, и сего не должно таить про себя: их первый стихотворец. А до ухода под смертную сень есть еще время. Я же с лица кровью не кашлял. Их первый песнопевец, о существовании которого они еще не догадываются, стихотворец, о котором еще никто не знает и который, может случиться, сегодня... А ежели я теперь сверну с почтового тракта направо и пойду вдоль озера в обход (вместо того чтобы идти в пасторат напрямик), для чего я это сделаю? Только ли ради этих пышных раки? Смотрите, как красиво они раскинулись по берегу над сверкающей водой, так что волна, пенясь и шипя, омывает им корни. А корни вьются вокруг валунов, будто змеи вокруг Лаокоона... Нет, нет! Это произойдет потому, что ежели человек решил пойти в обход (а в самом деле приятно поглядеть на эти раки вблизи), то ему непременно надлежит свое решение выполнить. Не бояться, что в последний момент он может чего-то испугаться и отказаться от своего решения... (Эта боязнь чего-то испугаться, к чему она в конце концов может привести? Ведь и смелость человека, и его трусость зависят в конечном счете только от того, четным или нечетным окажется последнее звено в цепи...)

Горбатый мост с белыми крашеными перилами над дамбой. Налево в парк ведет песчаная дорожка. Направо, за живой изгородью, — длинные каменные хлева (наверняка не меньше, чем на пятьдесят животных) и громадные конюшни (по крайней мере для двух дюжин лошадей). Потом эта самая мельница, где клокочет вода, скрежещут жернова и пахнет мукой, в окно видно, как в мучной пыли усердно старается мельник со своими подмастерьями. Второй мост — по существу мельничная плотина, по которой идет дорожка, огороженная перилами. Вода серого озера Саадъярв на плотине и в водоворотах зеленая, пенистая и быстрая. Дальше виден каретник, в его открытых воротах в полутьме сверкает позолотой (господи, уж не сам ли господин губернатор Паулуччи приехал в Экси в гости к пробсту

проведать свою соотечественницу — супругу пробста?!) такая карета, что... Впрочем, Байер ведь говорил, что господин Мазинг будто бы купил карету у какого-то английского адмирала...

И все же господин Мазинг все поймет.

Уныло глядящая церковь. Там, за двойным рядом елей. В утренней прохладе издали видно, что ее белые стены насквозь холодные. Теперь от высокого берега реки начинается тропинка, она ведет прямо на круглую дорожку перед господским домом. Посредине кольца — группа высоких желтеющих лиственниц на фоне серого неба. Между лиственницами и застекленной верандой — стеклянный шар на толстом столбе, отражающий с одной стороны дневной свет, а с противоположной — утренние огни в доме.

И все же господин Мазинг все поймет. Иначе какой же смысл был бы идти к нему!

В освещенных окнах силуэты сидящих за столом. У него там целое общество собралось. Байер сказал, что у него всегда множество гостей. Бог с ними. Меня они не касаются.

И все же он все поймет.

Теперь вдруг лампу в столовой погасили. Ну да, ведь уже давно рассвело. Желтевшая внутренность прозрачного дома сразу пропала за синеватыми стеклами, в которых отражается серое небо... И все же господин Мазинг все поймет! Несомненно поймет! Должен же быть хоть кто-нибудь, кто поймет!

Ох, кое-что понимают все. Само собой разумеется. Байер тут же сказал: «Ой-ой! Это же прямо папа Клопшток* persönlich!»

А Теодор сообщил своему приемному отцу: «Он написал несколько од, судя по которым можно даже сказать, что это Пиндар эстонского языка!» И домашние мои тоже кое-что понимают, когда я им иной раз читаю что-нибудь вслух. Батюшка даже трубку изо рта вынул, когда я прочел им:

Возле хижины своей
напевает старый Яаку:
«Птицы к югу потянулись...»¹

¹ Здесь и далее стихи переведены Светланом Семененко.

А мать аж заплакала в голос в тот сентябрьский вечер в прошлом году, когда я ходил их проведать... Окно было отворено, алело небо над крышей церкви Якоба, и на ее башне кричали галки. А мать уже взялась за спицы, чтобы вязать мне фуфайку. Теплую фуфайку из-за этого настырного кашля. И она в голос плакала, когда в их сумеречной комнате я читал:

Певец, точно яркий светоч,
стоит в окружении братьев
и на струнах бряцает...

Матери— они удивительные... Ну, с чего это она?.. Выходит, по-своему каждый что-то понимает. Но до конца — язык, и стих, и ритм, включая то самое, что во всем этом должно таиться и чему нет названия... От Пиндара до а-ла-лу-ла-ло выйдумааских пастухов... Кто до конца поймет все звуки моей музыки, все мои усилия целиком — кто? Ни одна душа! Честное слово! Разве Розенплентер способен понять? Нет, хотя ему и принадлежит честь быть лучшим знатоком языка. Ибо он и есть только знаток. Он бы сомневался и обдумывал, правильные ли у меня флексии, и чесал бы затылок по поводу инессива*, который у меня не такой, как у пярнусцев. ...А Кнюпфер? Он мог бы мне сказать, подлинны ли мои пастушеские аллитерации (по-видимому, сказал бы, что нет!). Но оценить все в совокупности, все во всех отношениях, этого бы они не сумели. Как странно, язык существует (и какой язык!), народ существует и песни существуют, но нет человека, который бы все поставил на место... Кроме одного-единственного... Слава богу, что он все же есть...

Ах да, но и Мазинг будто бы сказал нечто критическое по поводу моих маленьких переложений из Анакреонта* (ведь Розенплентер писал мне), и поэтому «Бейтрэге» пока их не напечатали... Ну что ж, пусть так... Это же были такие незначительные попытки. Напрасно Розенплентер послал их ему. И я напрасно посылал их в Пярну... Помню, как они возникли... Я еще учился в гимназии, в приме. Карл как раз в эту минуту читал мне мораль. Что я непростительным образом пропиваю дарованные мне богом таланты (случилось, что я и в приме другой раз прикладывался к пиву). Поздно вечером я пришел к Карлу и попросился к нему но-

чевать... чтобы родители не видели, как у меня блестят глаза и пылают щеки, и не почувствовали пивного запаха. Это бы их очень опечалило. Карл жил возле самой реки, снимал комнату в доме одного торговца рыбой, поэтому у него было в этом отношении вольно... Карл впустил меня и тут же принялся читать мне мораль. От его крохотной железной печурки шел жар, и выпитая бурда сразу же ударила мне в голову, я услышал шорох крыльев Nike, и меня обуяло снисходительное превосходство захмелевшего человека. Тут мне пришли на память маленькие стихотворения Анакреонта. Я придвинул к себе лежавший на столе перед Карлом лист бумаги (он рисовал на нем обнаженных женщин), перевернул его на другую сторону и, поскольку в греческом Карл был не силен, хотел написать ему по-немецки: *Alle Acker trinken...*¹ и так далее. И вдруг подумал, зачем, собственно, мне писать по-немецки, ежели он весьма пристойно умеет болтать по-эстонски, и я то и дело, чтобы подразнить его, заговаривал с ним на эстонском языке?! И ежели эти стихи никто еще не пытался переложить на наш язык! Помню, что зажмурился и почувствовал, как кровь стала сильнее пульсировать у меня в запястьях и в голове зашумело. От воодушевления даже лицо стало пощипывать. Будто у меня самого начала расти рыжая борода древнего Анакреонта... Я взял перо и написал:

Лес без останову
 пьет земные соки,
 море тянет жадно
 из речного устья,
 полдень — воды моря,
 месяц — влагу полдня.
 А меня друзья бранят:
 от жажды сохнем!

Потом я снова перевернул листок с нарисованными Карлом голыми грациями. Они меня чем-то задели. Наверное, потому, что мне было одновременно и стыдно и сладостно на них глядеть, ибо они были удивительно умело и с большим знанием изображены, хотя скорее

¹ Все поля пьют... (первая строка стихотворения Анакреонта в немецком переводе).

походили не на граций, а на больдеравских банщиц. Так или иначе, но и другие маленькие стихотворения Анакреонта в тот же миг пришли мне на память, и поперек нарисованных Карлом голых животов я написал:

Чем быку гордиться?
Острыми рогами!

И далее...

Зверь гордится силой,
разумом — мужчина...
Ну, а жены наши?
Жены — красотою...
Та, что всех прелестней,
пламени сильнее.

При этом я думал (только совсем про себя) о том пламени, которое обжигало меня, как только я начинал думать о женщинах... Но я-то, в сущности, не знал ни того, что этим хотел сказать Анакреонт, ни того, за что господину Мазингу угодно было упрекнуть мои строфы. Ах да: *что у нас все ужасно рано хотят быть ужасно зрелыми!* Примерно так он сказал, как я понял из письма Розенплентера. Ха-ха-ха-а! Господин пробст, очевидно, не обратил внимания на то, что имел дело с Анакреонтом, а не со школьником... Ибо сам-то он умеет ценить хороший напиток. И про его молодую жену Байер сказал, что она у него... как же он сказал?.. *черная виноградинка в можжевельнике!*

На дверях большая, до блеска начищенная медная ручка. Дотронулся, и до самых локтей холод пробрал. Пол на веранде скрипит от моих шагов. Справа и слева пестро покрашенные садовые стулья с брезентовыми спинками. Я отворяю дверь в столовую и с порога гляжу на сидящих за кофейным столом. На тех, кто сидит ко мне лицом. И тут мне приходит в голову, что я забыл постучаться. У некоторых от удивления такие потешные лица, что мне становится смешно. Борясь со смехом, но не давая себе труда вполне справиться с ним, я стучу в пол своим десятифунтовым посохом (в нем в самом деле есть какая-то потуга казаться пророком и в то же время нечто издевательское), я стучу своим посохом в пол столовой господина Мазинга. Это вместо забытого мною стука в дверь. Теперь оборачиваются те, что сидят ко мне спиной, и смотрят на ме-

ня. И поскольку я могу быть уверен в том, что они меня поймут, я говорю по-эстонски:

Доброе утро, господа!

Сегодня утром, на пороге их столовой... я...

4

Ой, святой Дженнаро, в первый момент я просто не могу понять, что заставляет меня так в упор смотреть на него... Он же не делает ничего особенного. Он просто стоит в дверях и слегка кивает головой, как будто всем, и все же будто прежде всего мне, как хозяйке дома. Лишь мгновение спустя до меня доходит, почему все сидящие за завтраком, включая и меня самое, на какой-то миг от удивления онемели. Оттого, что, судя по его внешности, совершенно невозможно определить положение этого мальчика в обществе.

Ему немногим больше двадцати. Благодаря долгому здешнему опыту мне это ясно с первого взгляда. Хотя, если судить по тому, как выглядят люди на юге, несмотря на его высокий рост, я сочла бы, что он еще моложе. Но я не могу понять, к какому из здешних сословий его можно отнести. А ведь здесь, у Отто, мне довелось видеть неисчислимое множество самых разных людей. Этот мальчик не дворянин, не литератор, он не из бюргеров, не из ремесленников, не из рабочих людей, не из поселян. Может быть, в нем есть что-то от каждого из них.

Узкие, довольно стоптанные городские башмаки. Белые студенческие панталоны от долгой носки залохматились, однако, несмотря на то что они потертые и изношенные, все же чистые. Темно-серый крестьянский кафтан из домотканины. Кожаный кушак в полторы ладони шириной туго затянут очень грубой железной пряжкой. Разделенные прямым пробором русые, как у крестьянина, волосы доходят до плеч. Такие длинные у молодых мужчин я видела только среди братских проповедников. И затененное этими волосами бледное, но от природы круглое молодое крестьянское лицо: своенравные брови, толстый нос, небольшой чувственный и упрямый рот. И удивительно пылкие синие глаза. Такие синие, какими бывают лепестки синецветы, который Отто только что посоветовал своим гостям нарвать. Глаза такие синие, что если дол-

го в них смотреть, то становится не по себе... И все же, несмотря на всю свою необычность, он несколько не смешон. Скорее даже прежде всего удивителен. Похоже, что Отто его знает. Чему я несколько не удивлюсь, ибо людей, с которыми он возится или просто имеет дело, сосчитать невозможно. От нищих и бежавших из войска до министров и кавалеров высших орденов при дворе. С последними он знаком, как я начала подозревать, главным образом через его связи с масонами... Теперь Отто просит гостей на правом конце стола потесниться, продвинуться на одно место дальше и сажает этого юношу между собою и профессором Еше. Отто даже просит налить ему еще чашку кофе. Это явно свидетельствует о том, что он предвидит интересный разговор, настолько интересный, что стоит на полчаса отложить суету с небесными камнями.

Теперь этот человек, правильнее будет сказать этот мальчик, сидит по правую руку Отто, а я сижу слева от Отто, и они между собой разговаривают. Отто спрашивает, а этот мальчик отвечает — опять все про Розенплентера с его «Бейтрэге», и про другие газеты, и про Зонтага, и еще про каких-то финских лесных духов... Я смотрю на лицо этого мальчика рядом с острым профилем Отто и вижу, что оно у него, в сущности, совсем еще детское. Но удивительно самоуверенное. И не от охватившей его робости (как иной раз бывает у молодых людей, когда они оказываются рядом с авторитетным пожилым человеком); его лицо выражает свободную, само собой разумеющуюся в себе уверенность. Он очень серьезно слушает Отто и точно ему отвечает. По лицу Отто я вижу, что ответы ему нравятся. В противном случае у него привычка тут же начать одергивать собеседника, будто перед ним плохо обученный конфирмант. А этот молодой человек, слушая Отто, внимательно сдвигает свои пепельные брови вразлет, обдумывая ответ, вытягивает трубочкой нижнюю губу и так отвечает, что у Отто от удовольствия подергивается уголок глаза. И когда Отто вдруг раздражается громкой тирадой (наверное, опять по поводу цензора Морица), что тот должен отдавать себе отчет, с кем имеет дело, я вижу, как у мальчика дрогнул правый угол рта. Но он не говорит ни да, ни нет.

Отто отхлебывает кофе, набивает пеньковую труб-

ку, зажигает ее и предлагает свою серебряную табакерку этому мальчику для его маленькой трубочки с прямым мундштуком. Но тот отрицательно качает головой, вытаскивает из-за пазухи очень старый свиной пух и набивает трубку. Теперь он высек огонь, и я чувствую, что от его табака совсем иначе пахнет, не так, как от канастерского табака Отто. У табака этого мальчика в сущности запах обыкновенного деревенского доморощенного табака, но с каким-то странным, сладким привкусом, и я даже спрашиваю у него, что он курит. Он смотрит на меня поверх жидких седых волос Отто (такой он высокий) своими пугающими синими глазами и сквозь облако дыма говорит, что это деревенский табак его родной Выйдумаа (я не знаю, где это), смешанный с цветом шиповника. И я чувствую, что ответа я не слышу, ибо под его прямым взглядом, бог ведает от чего, лицо и шею мне заливают краска... как будто перед всем застольным обществом я поймана невесть на какой предосудительной мысли... Я же ни о чем безнравственном не думала... еще не думала, святой Дженнаро, ты это знаешь, тебе мне не нужно в этом клясться. Я ведь уже не молоденькая телочка, которая ни с того, ни с сего то краснеет, то бледнеет, но я еще и не в том возрасте, когда женщина начинает увядать, и тогда с некоторыми будто бы такое происходит. Не знаю уж, сколько времени я бы так пылала, не поверни старый Еше свой кривой нос к мальчику и не скажи:

— А-а-а! Теперь я вас узнал. Разумеется. Вы тот самый юноша, о котором года два назад Хецель мне говорил, что у него есть один студент — самый удивительный юноша из всех, кто у него когда-либо учился...

— А в каком отношении самый удивительный из всех, кто у него когда-либо?.. — спрашиваю я, произнеся гораздо больше слов, чем это требовалось, чтобы спрятать за ними свое пылающее лицо, которого стыжусь.

— Самый беспорядочный, самый упорный и самый даровитый, — говорит Еше и моргает отечными веками.

К своему большому облегчению (и краска сразу отливает от моего лица) я замечаю, как после этих слов Еше у мальчика слегка розовеют скулы. И я думаю: милый мальчик, ты уж не бог весть какой самоуверенный...

— Еще,— говорит Отто и по своему обыкновению прочищает горло,— как ты непедagogичен! Самый-самый-самый! Столь молодой человек никогда не может быть самым! Ни самым глупым, ни самым умным.— Он встает:

— Господин Петерсон, почувствуйте себя как дома. Мы обедаем в три часа. Ко мне приходите часов в шесть. В семь часов у нас пьют кофе. Кара принесет для вас и для меня кофе в мою рабочую комнату. За чашкой кофе и за трубкой мы с вами побеседуем. До свидания! Кара или кто-нибудь другой покажет вам все, что здесь стоит посмотреть. Но, собственно, смотреть-то здесь особенно нечего...

Сразу следом за мной общество встает из-за стола: домочадцы идут по своим делам, а гости, как обычно, кто куда. Отто собирает в мешок свои небесные камни с цветочного столика и отправляется к себе в рабочую комнату. Еще идет на веранду, садится на брезентовый стул, закуривает сигару и принимается дальше читать огромный манускрипт, который у него уже третий день валяется грудой на полу, бог знает кем написанный, о каких-то византийцах. Прислали из Петербурга, чтобы Отто сделал разбор (он у него уже готов, но манускрипт попался Еще на глаза прежде, чем был отослан назад). Госпожа Еще набрасывает на плечи пелерину и отправляется побродить у озера. Антона у черного хода уже ждет оседланный Гектор; он каждый день катается верхом и сегодня поскачет, наверное, куда-нибудь в сторону Паламусе. Майор Адлерберг или полезет наверх в свою комнату полежать после еды, или направится в гостиную играть в карты с Каролиной, Оттилией и Элеонорой. И тогда до самого обеда оттуда будут доноситься громкие плоские остро-ты господина майора, от которых линияют обои, и такие раскаты его смеха, что страшно за оконные стекла... Хольман, по знаку Отто, поведет школьных учителей к нему в рабочую комнату, как только тот начнет там возню с мензурками и склянками с кислотой для своих небесных камней (по правде говоря, чудно все это), и они примутся обсуждать, какой методой надо обучать чтению и как проводить опыты в деревенской школе.

Все расходятся, только Анита и этот Петерсон остаются стоять посреди комнаты. И я тоже. Анита делает

шажок, наверное, для нее самой невольный, в мою сторону. Анита — милый ребенок. Она, правда, некрасива. Слишком прозрачна. Но у нее прекрасные темно-серые глаза, и сейчас она именно в том возрасте, когда перед тобой то кроткая девчужка, то вдруг за словом в карман не лезущая взрослая девчонка. Она делает едва заметный шаг ко мне. И я знаю почему. В этом доме, где так много людей, она чувствует себя одинокой. И с полным основанием. Ибо сестры отделились от нее. Все из-за той симпатии ко мне, которую она не прячет. И еще больше из-за заботы, которую я проявляю к ней. А Отто?.. Отто старается быть одинаково справедливым ко всем дочерям и со всеми время от времени сердечным (время от времени, как я говорю), но в общем он безразличен и ему до них мало дела. У него попросту нет времени для дома (хотя, когда уезжает, каждый день находит время, чтобы писать, странный человек...) Так или иначе, но Анита в этом доме одинока. Она не видит тепла, кроме того, которое существует между мною и ею. Может быть, с моей стороны даже чуточку в укор тем, остальным... И сейчас она делает шаг ко мне. А я делаю шаг в сторону этого мальчика, он стоит возле цветочного столика и теперь смотрит на грязь, которую оставили на стекле Оттовы небесные камни. Я делаю шаг в его сторону. Ибо и он не должен чувствовать себя одиноким в незнакомом ему, запутанном доме. Очевидно, он пришел к Отто по какому-нибудь литературному поводу. Как сюда многие приходят. Едва ли он из Тарту приплелся сюда пешком из чистого любопытства. Впрочем, и это здесь весьма принято. Нет-нет, он здесь явно по делу. И сейчас в этом чужом доме он чувствует неловкость.

Я подхожу к нему. Мне хочется спросить, кто же он на самом деле. Мне хочется, чтобы он еще раз взглянул на меня своими синими, как лепесток синецвета, глазами... И прежде чем я успеваю что-нибудь сказать, он уже смотрит мне в глаза, и я чувствую (святой Дженнаро, я ведь, можно сказать, старая женщина, нет, нет, разумеется, не в прямом смысле старая, но женщина, так много повидавшая в жизни, в мире, видевшая столько людей, которая не смеет теряться от синих глаз мальчика непонятного сословия!), я чувствую, что снова начинаю краснеть... В отчаянии я пыта-

юсь смотреть куда-то в сторону, на что-нибудь другое, только не в эти горячие, бездонно-синие мальчишеские глаза. Я смотрю вниз и вижу (и не вижу) возле столика горшок со змей-травой, который Отто поставил на пол (никогда он не кладет ничего обратно на место!), и этот мальчик следит за моим взглядом и с какой-то неуклюжей ловкостью поднимает цветочный горшок с пола и ставит его на стол.

— Так?..

— О да! — Я почти вскрикиваю от облегчения. Ибо я разом поняла, что мне надо сделать. Я говорю:

— Анита, будь добра, покажи господину Петерсону наш пасторат. Только надень пальто, чтобы не простыть. Анита у нас часто кашляет...

— Я тоже, — говорит этот мальчик, смущенно улыбаясь, и ловит мой взгляд, так что мне снова приходится смотреть в сторону.

— Ах, вы тоже? Анита, покажи господину Петерсону озеро и парк, и лодочный причал. И церковь, если он захочет посмотреть ее изнутри. Ключи, ты ведь знаешь, висят в сенях на гвозде. Но по озеру ты не катайся! Если господин Петерсон пожелает — молодым людям иногда хочется покататься, — то он, разумеется, может. Все равно на какой лодке. И возвращайтесь к десяти часам. Анита, ты ведь знаешь, что отец очень сердится, если ты не упражняешься на скрипке. А если господин Петерсон захочет что-нибудь почитать, то библиотека вот там, за этой дверью. Я потом покажу вам. А сейчас мне нужно...

— Да. Конечно, сударыня, большое спасибо. До свидания. Значит, пойдём любоваться природой, барышня...

— Меня зовут Анита.

— А меня — Як.

Меня — Як, — говорит этот мальчик, и мне почему-то становится даже жутко. (Только в этот момент я узнаю, как его зовут.) Но вздрагиваю я, в сущности, от того, что... Понятно, что Анита называет ему свое имя, она же ребенок, но я как-то не понимаю, почему ей в ответ он тоже называет себя Як... (Очевидно, он — эстонец, учившийся в университете. Господи, вот это интересно! Откуда он взялся?.. Такие ведь редко встречаются! Як... Всякий более или менее образованный

человек на его месте сказал бы: Aber ich bin Studiosus Jacob Petersohn¹!

— Да, я уже слышал, что Анита. Красивое итальянское имя. Анна на древнееврейском языке означает любовь. В Италии говорят Анита. Ведь ваша мама...

Они проходят через веранду.

Этот мальчик, само собой разумеется, считает тринадцатилетнюю Аниту моей дочерью... Его наблюдательность небезупречна, хоть он и знает, что Анита по-древнееврейски значит любимая... И хоть он и пропускает Аниту вперед, но не видит, что нужно помочь ей надеть пальто... Мне немножко жаль, что это так, и чем-то приятно...

Но теперь мне нужно... что же, собственно, мне теперь нужно? Господи, да мне самой все же нужно по-человечески одеться!

Я быстро иду сюда, в спальню. Я даже запыхалась. Святой Дженнаро — что же это со мной?! Я смотрю на себя в зеркало, в то самое трюмо в извивающейся раме, и от радости готова смеяться! Конечно, моя кожа покрылась летним загаром от стряпни во дворе, от хождения по полям, но моя природная смуглость, столь здесь редкая, проступает даже сквозь загар и сейчас, когда у меня пылают щеки, придает лицу особую выразительность... И я радостно спрашиваю себя, хитря и притворяясь непонимающей: что же это со мной?!

Я раскрываю гардероб. На какой-то миг застываю в испуге. Как большие темные птицы, висят передо мной три сюртука Отто — серый, коричневый и черный... как три огромные, пахнущие табаком птицы, три мертвые птицы... Уф!.. Потом я начинаю перебирать свои девять платьев, это очень просто, гораздо проще, чем мне хотелось бы... Три платья — уже старые домашние тряпки, три других — слишком темные, зимние, а сейчас ведь еще, можно сказать, лето!.. Все-таки лето. Из оставшихся трех серое прюнелевое я сразу же отвергаю, оно мне надоело, слишком часто я его ношу, а сегодня мне хочется надеть что-нибудь менее будничное... От вечернего платья из голубого шелка после минутного размышления я все же отказываюсь. Оно оставляет открытыми плечи и грудь, и на юбке три венка искусственных цветов... И от этого... И наконец послед-

¹ А я студент Якоб Петерсон (нем.).

ним остается (глупо, конечно, говорить на конец, если у тебя всего пять пристойных платьев, а, например, у госпожи курсиской Шуббе — муж которой далеко не пробст! — их по меньшей мере дюжина. Знаю, знаю, что это совсем неважно... но что правда, то правда). Так что последним остается прошлогоднее венское платье с короткими рукавами-буфами из желтого шелка в крупную клетку, которое тоже не закрывает плеч, и на его квадратном декольте венки искусственных чайных роз. Но нет... это тоже слишком, сегодня это тоже слишком... Гм... Но для чего же я тогда вообще сделала себе это платье, выпросила его у Отто (особенно выпрашивать, правда, не пришлось... но все же... Как тоскливо сжалось сердце, но вот уже и прошло), для чего я вообще сделала себе это платье? Чего ради мне нужно было стерпеть, когда год назад наши пасторши сочли это платье на супруге пробста почти что распутством... так что я осмеливалась надевать его только в присутствии Клингера и Жуковского, так же как и то, голубое, в котором в Экси я ни разу не решилась появиться... Но сегодня здесь, дома, и это желтое все же слишком... Нет, отчего?! Если мне однажды захотелось немного блеснуть здесь, среди лесов и полей и этих стен...

Я снимаю желтое платье с вешалки, прикладывая его к себе, смотрю на себя в зеркало и напеваю (может быть, я уже заразилась рифмоплетством от Оттовых виршей — он время от времени читает их нам, домочадцам), я мурлычу какую-то крейцеровскую мелодию, но на свои слова:

Не боюсь, не боюсь, не боюсь!
Наряжусь! Наряжусь! Наряжусь!

Я стаскиваю с себя утреннее розовое платье и льняную сорочку, которая под ним, вынимаю из комода другую, из тонкого хлопка, пахнущую лавандой, очень открытую, без бретелей, сшитую специально для этих платьев. Я слегка пугаюсь, мне показалось, что она стала мне в груди теснее, чем была год назад... Потом поверх рубашки надеваю свое венское платье и, когда, все еще отчего-то волнуясь, через плечо заглядываю в зеркало, вдруг чувствую, что, безболезненно и совсем того не заметив, я как бы раздвоилась... передо мной две совершенно по-разному чувствующие и по-разно-

му думающие женщины (пусть внешние они настолько схожи, что даже зеркало не обнаружит разницы)! Да, я раздвоилась: одна женщина торопливо, в непонятном волнении, даже слегка вспотев под мышками, надевает на себя одежду и высоко на затылке закалывает желтым, как янтарь, черепаховым гребнем свои великолепные темные волосы, растерянно трет щеки, кончиком языка облизывает губы и взвешивает, не следует ли их подкрасить, чтобы они стали ярче, где-то у нее должна быть забытая коробочка или баночка алькоанной помады... однако все же отказывается от этой мысли, потому что уж кто-кто, а госпожа Еше сразу это заметит и непременно заведет по этому поводу громкий разговор. Да, я раздвоилась: одна женщина суетится по эту сторону зеркала, а другая стоит по ту сторону и, усмехаясь, следит за всем, что делает первая... И та, вторая, насквозь видит первую так же ясно, как зеркало, за которым она находится, видит наполовину придуманное, наполовину искреннее увлечение той — торопливо переодевающейся — этим мальчиком, этим образованным мужиком, этим необыкновенным Яаком... Та, зазеркальная, смеется над этой. Вполне понятно. Даже порицает ее. Иначе и нельзя относиться к такой детской затее, сохрани бог... А все же та, другая (поскольку от помады она отказалась, можно не бояться, что закрасятся зубы), в тревоге кусает губы: что же теперь будет дальше? Кстати, что будет дальше, весьма интересуется и та, которая, сидя на табурете, быстро переодевает чулки и туфли, но она совсем не тревожится, ей только очень любопытно. Но ни одна ни о чем другую не спрашивает. Ибо стекло все равно не даст услышать вопросы...

Все же, когда первая (уже в своих самых красивых, кружевным узором связанных розовых чулках и в самых своих новых и тем не менее уже слегка поношенных зеленых сафьяновых туфлях на высоких каблучках) торопится теперь в библиотеку, чтобы взглянуть, не валяются ли там в беспорядке книги, которые смотрели Отто и его гости, грязные кофейные чашки и пласты трубочного нагара, вторая беззвучно скользит за ней. В спальне остается только зеркало. Но невидимое стекло идет вместе с ними (или с нами! Как мне сказать?) между ними (или между нами!)..

По пути первой (ой,— мне... другой... нам... святой Дженнаро, мое смятение не утихает, наоборот, оно все растет!) вспоминается, что Леэна и Кай ждут от хозяйки распоряжений по поводу беления щелоком... Но в венском платье из желтого шелка, отделанном у ворота чайными розами, все же нелепо бегать в кухню и прачечную... Я кричу из столовой через коридор в кухню:

— Минна! Минна!

И когда Минна просовывает в столовую свой накрахмаленный чепец и смешное сморщенное лицо (Отто говорит: как вялая картофелина), я отдаю ей, стоя в дверях библиотеки, нужные распоряжения: чтобы щелока положили на треть больше обычного и чтобы полоскали в такой горячей воде, как только терпят руки! В ведении здешнего домашнего хозяйства со всеми его повседневными нуждами я вдруг становлюсь необыкновенно предприимчивой — мое зазеркальное «я» прошептало б мне, если б могло: это оттого, что своим усердием ты заранее хочешь искупить... нечто такое, чего ты еще не намереваешься делать, но о чем ты знаешь, что оно дурно...

Прежде чем скрыться в коридоре, Минна смотрит на меня своими маленькими слезящимися глазками и спрашивает с гордостью и некоторым испугом:

— Какие же господа должны к нам нынче пожаловать?!

— Все уже здесь,— говорю я и притворяю за собой дверь в библиотеку.

Большой стоячий Chater показывает без четверти десять. Они вот-вот должны вернуться. А в библиотеке все именно так, как я и предполагала. Я сбрасываю вонючий нагар от трубок Адлерберга, Еше, Отто и еще не знаю чьих в медную пепельницу и гусиным крылом обметаю курительный столик и края книжных полок. Я складываю ровной горкой разбросанные на пульте тома. Обрато в шкаф я их не ставлю. Ибо Отто непременно поднимет крик — опять что-то оказалось не на месте. Я не раз уже это слышала... Я стираю пыль, потом подхожу к окну. За стеклом — десять шагов подстриженного газона, утренний ветерок колышет на нем несколько коричневых листьев. Потом идут ореховые деревья, большие, двадцати-, тридцатилетние, слишком

старые, чтобы приносить хорошие плоды, и за ними внизу, у подножия берега, виднеется бревенчатая, опоясанная мхом стена мельницы под драночной крышей. И на реке — плотина, сквозь желтые перила вдоль дорожки по ней видна шумящая река... Оттуда они должны прийти. Но их еще нет. Его еще нет... Я чувствую, что все больше становлюсь той женщиной, которая здесь, в комнате, возится с гусиным крылом, и все меньше обращаю внимания на ту, зазеркальную. Та, разумеется, тоже здесь, это правда. Их даже две: я вижу ее в приоткрытых двойных стеклах окна и в дверце книжного шкафа. Она смотрит на меня с двух сторон. Я поворачиваюсь спиной к той, что в оконных стеклах, и смотрю на ту, которая в стекле книжного шкафа (может быть, от того, что первая более четкая, а вторая более расплывчатая). Я спрашиваю:

— Отчего это непозволительно?! Посидеть здесь, в библиотеке, и выпить чашку кофе с одним studiosus'ом, правда, кажется, несколько необычным, но тем интереснее, что он устраивает маскарад своим крестьянским кафтаном и к нему мой муж явно испытывает уважение...

— Минна! Минна! — кричу я в столовую (может быть, для того, чтобы не слышать, как мое зазеркальное «я» говорит: «Слушай, теперь в свое оправдание ты уже ссылаешься даже на уважение, которым он пользуется у твоего мужа...»).

— Минна!

И когда Минна появляется, я говорю ей:

— Позаботься, чтобы поставили на огонь свежий кофе!

— Хорошо, сударыня. На сколько приборов и где накрыть стол?

— Это я сделаю сама. Да, да. Ступай!

Минна опускает голову, смотрит на меня исподлобья сквозь свои белесые ресницы и, разумеется, уходит. А я достаю из буфета две крохотные французские кофейные чашечки с золотым дном (их у меня всего две и есть) и ставлю их на стол в библиотеке.

В последний момент мне приходят в голову всяческие мысли: может быть, следовало подушиться одеколоном с запахом фиалки (но почему? Глупости... если я уже выбрала тот, что пахнет розами, поскольку у

меня на платье чайные розы!), и что я могла бы сбегать на поле и нарвать синецвета в маленькую вазочку черного мрамора: когда он придет, приятно было бы убедиться, что его глаза в самом деле такие же синие...

Половина одиннадцатого... А если Анита простудится... Но почему я нервничаю, ведь я двенадцать лет ничего похожего не делала... Чего?! Чего? Разве я мало пила кофе наедине с гостем и в Виру-Нигула, и в Тарту, и здесь? Господи, я же не рабыня, я свободна, как маленькая королева, как любит говорить Отто. Разве я в самом деле должна каждый раз, когда почувствую интерес к какому-нибудь молодому мужчине, на протяжении всей жизни кричать себе нет! Нет! Нет?! Это просто смешно. (Мое зазеркальное «я» с мрачным укором смотрит мне в глаза: боже, откуда только берутся эти ужасные вульгарные мысли?) Двенадцать лет я никогда ничего себе не позволяла, почти что ничего, а сегодня...

...А сейчас от волнения у меня комок подступает к горлу — я вижу в окно, что они идут через плотину. Анита семенит впереди (не понимаю, где они так долго бродили!), а он шагает за ней в два раза медленнее, и шаги его вдвое длиннее. Теперь их из окна уже не видно, и вдруг на какой-то миг я чувствую, что способна даже следить за ними... чтобы не дать им поцеловаться, если бы они попытались... (Среди бела дня во дворе пастората... Господи, какая нелепость может прийти человеку в голову!)

— Минна! Теперь неси кофе сюда!

Горячий кофейник под вышитой бисером шапкой уже на столе, а этот мальчик входит в столовую. И когда я выхожу из библиотеки ему навстречу, святой Дженнаро, я чувствую, что, несмотря на все волнение, крепко держу себя в руках! Я чувствую, что те семь или восемь лет, на которые я старше его и которые должны бы меня печалить, доставляют мне странное удовольствие: они делают меня уверенной в себе, дают мне ощущение материнского превосходства в моем отношении к этому своеобразному юноше. Я бросаю взгляд на ту, зазеркальную, глядящую на меня, поблескивая золотыми корешками романов Прево, и читаю ее мысли: *Чем-то ведь нужно утешаться, если тебе уже не двадцать два и не двадцать три...* Хорошо, хорошо. До-

пустим даже, что я видела жизнь как угодно со стороны — из окон карет, путешествующих по Европе, из окон Санкт-Петербургских купцов (из окон номера в «Имперiale», о боже...), из окон кухни и детской в Вирру-Нигула и Экси. Все же я повидала ее со многих сторон и многое в ней увидела, так что сейчас я говорю совсем спокойно и ровно:

— О, господин Петерсон, вы так долго гуляли, можно подумать, у нас здесь можно найти невесть сколько достопримечательностей...

— Красивое у вас здесь озеро, — говорит он серьезно и смотрит в окно, не видно ли его отсюда, — Анита водила меня почти до самого Кукулинна смотреть этот валун.

— Правильно, вы же знаток мифологии, — говорю я, ибо утром за столом я одним ухом слышала, что он занимается какой-то мифологией. — Кстати, — говорю я (бог его знает, может быть, я что-то путаю, но почему-то мне кажется, что хорошо будет это сказать), — кстати, если вам покажется, что... что господин пробст относится к таким вещам без должного уважения, то это заблуждение, потому что...

— Разумеется, — он перебивает меня на половине фразы, — господин пробст никоим образом так не думает. К народному наследию он относится с большим уважением. Только о народных песнях эстонцев он сказал, что они — дело будущего, ими займутся те, что придут после нас. Потому что мы все — еще только начинатели. Но это не совсем так.

— Мне очень приятно, что вы это знаете. А теперь после нашего холодного озерного ветра выпейте чашку горячего кофе!

Я сажусь. Садится и он. Я наливаю кофе и предлагаю ему красивые синеватые куски сахара в серебряной сахарнице.

— Спасибо! Нет.

Он кладет ногу на ногу, его длинная голень опирается на колено, узкие, разлохматившиеся студенческие панталоны задираются и обнажают щиколотки. Быть может, это его башмаки, старательно вытертые пучком травы и все же покрытые полосками грязи, наводят меня на мысль, что, если этот мальчик рассердится, он помчится сквозь чашу, как молодой лось. Но сейчас,



положив ногу на ногу, он с таким видом пьет дымящийся кофе, как будто в чашке, из которой он пьет каждый день, не только позолоченное дно, а она вся целиком сделана из золота... За кофе мы беседуем. Он — сын рижского звонаря. Так что происхождение у него не такое уж низкое: судя по его кафтану, я думала, что он от сохи... А университет он в прошлом году бросил, потому что ничему стоящему его там не научили...

— То есть как?!

— Потому, милостивая государыня, что вся эта гуманитария, которую там изливают, большей частью просто схоластический мусор многосотлетней давности...

Вот как... Я чувствую, что могу оказаться на зыбкой почве... само собой разумеется, эти слова — не что иное, как присутствие молодости отсутствие чувства меры, правда, одушевленное самоуверенностью и этим поднятое на необычайную высоту, как мне кажется...

— Но почему на вас такая необычная одежда? Не правда ли, вы простите мне мое любопытство?..

Я спрашиваю его об этом как только умею мягко и заинтересованно. Потому что для него самого его странности должны иметь глубокий смысл. Я почти готова погладить его большую жилистую руку, чтобы придать ему смелости. Но ему этого не требуется. Он просит разрешения закурить трубку. Он говорит:

— Сударыня, ежели вы желаете знать мою философию, то извольте: я хочу, чтобы эта одежда звучала призывом: *останемся верными своим корням, будем верны самим себе!* Ах, всегда ли это так уж необходимо? Если нужна жизнь отдельного человека, то жизнь народа — уж во всяком случае не меньше, по моему... А я с давних пор смотрю, как образованная часть эстонского народа, эта чудовищно малая его часть, которая странным образом все же возникает (я говорю не о мельниках или там бурмистрах), как она сама старается исчезнуть, как она сама большей частью из кожи лезет вон, чтобы отказаться от себя. При этом грубые души прямо признаются — во имя жирного куса, а философствующие головы говорят — в силу неизбежности... Был, например, в Тарту один студент, на несколько лет старше меня, некий Плошкус, он распевал, по-немецки, правда: *Ich bin ein Este!*¹. А теперь уже известно, кем он стал...

— Кем же?

— Господином пастором, который говорит своим деточкам, что они немцы!

Лоб господина Петерсона гневно нахмурен. Ого, думаю я, он может быть даже таким... И мне приходит в голову слегка его подразнить. Чутьочку смутить этого мальчика. Просто, чтобы увидеть, как он выйдет из положения. Я говорю:

¹ Я эстонец.

— Но, господин Петерсон, разве это само собой не разумеется? Здесь, в этом доме, ведь тоже всегда...

Он прерывает меня, не дав мне закончить фразу.

— Господин пробст по крайней мере никогда не пел *Ich bin ein Este*, хотя, конечно... Ну да... А в прошлом году я попал с одной студенческой компанией к фон Липхарту на Раадискую мызу (там больше прекрасных произведений искусства, чем где-либо во всей Лифляндии), и там был один тринадцатилетний мальчик, о котором я и раньше случайно слышал, по фамилии Крюгер, учившийся в школе на деньги Липхарта, сын кладовщика Каавеской мызы. А когда я заговорил с ним по-эстонски, он сказал, что он меня не понимает! Единственное, что меня утешило и вселило некоторую надежду, что при этом его широкое лицо деревенского мальчишки стало пунцовым. Я на каждом шагу слышал такой ответ и большей частью не видел никакой краски стыда. И тогда я решил: кто-то должен положить начало правде! Собственным примером.

Он хмурит брови и смотрит в окно на вершины елей, его упрямый подбородок, обрамленный рыжеватыми бакенбардами, выдвинут вперед. Я говорю:

— По вашим словам чувствуется, насколько горячо вы к этому относитесь. Это так приятно видеть... Здесь, в стране, где в чести равнодушие.

Я жду, что он повернет ко мне лицо, но он не обобщивается. Он смотрит на вершины елей и взвешивает значение моих слов. Или он просто их не слышал?..

У меня нет никакого плана. Я дышу им, его тревогой, его неуклюжестью, его отрицанием авторитетов и утверждением бунта, горько-сладким запахом его табака, потом и молодостью его тела и озерным ветром, который пришел в комнату вместе с его растрепанными волосами... Но я ведь могу только импровизировать. Я говорю:

— Если бы у нас здесь, в Лифляндии, действовали карбонарии, вы наверняка были бы среди них...

Теперь он скользнул по мне своим пугающе синим взглядом:

— Они ведь там, в вашей Италии. И ведь не уголь же они там жгут. Мне, в сущности, мало довелось про них слышать.

— О, вы не слышали? — спрашиваю я с жаром (как

раз недавно я кое-что узнала про карбонариев от Отто. Будто нынче о них много стали говорить в Неаполе и во Франции, и что, несмотря на свое бунтарство, во многих отношениях они идут от христианских и даже масонских суждений) и наклоняюсь к нему совсем близко — кресло, на котором он сидит, немного ниже моей софы, так что он должен почувствовать теплый запах роз, которым пахнут мое лицо и шея... — Карбонарии, нынешние правдоборцы в Италии, — это те, которые там — в городах, и в горах, и повсюду — хотят остаться верными себе... Их девиз — он мог бы подойти и к здешней стране, — если не ошибаюсь: *Месть ягненка, угнетенного волком!* Подождите. — Я снова наполняю наши чашки. — У нас здесь где-то должно быть небольшое сочинение одного итальянца про карбонариев (оно в самом деле должно быть, я это знаю, Отто давал мне перевести одно место, которое сам он точно не понял). Я подхожу к книжной полке и с самой своей обольстительной улыбкой смотрю через плечо:

— Оно там, наверху, вы не хотите...

С некоторым промедлением он понимает, что следует мне помочь. Он подходит ко мне сзади. Я оказываюсь между ним и полкой и делаю шаг в сторону. Я чувствую через платье, что касаюсь его плечом...

— Оно там, довольно высоко, справа...

Он вытягивает руку почти до потолка. Он очень высокий, этот юноша. Сразу же достает брошюру и, стоя посреди комнаты, принимается читать.

— О, вы знаете и итальянский язык?..

— Нет.

— Как же вы тогда?

— Если вдуматься, более или менее понятно...

— Для этого нужно быть необыкновенно умным, — говорю с восхищением (я в самом деле несколько поражена) и подхожу к нему... — Кем она написана?

Книга у него в руках. Я перелистываю несколько страниц обратно. Мои пальцы в полудюйме от его пальцев.

— Карло Джузеппе Ботта*. Я не знаю, кто это.

— Я — тем более.

Его шершавый шейный платок в синюю крапинку и крохотная серебряная брошь на нем против моей щеки. В правой руке он держит книгу, в левой — трубку. Свя-

той Дженнаро, я не смею поклясться тебе в том, что случившееся произошло совершенно случайно... В тот миг, наверное, это было в самом деле уже не совсем... Я поворачиваюсь налево — он держит трубку в левой руке, она на уровне моей груди — и, поворачиваясь, правым, напрягшимся от возбуждения соском, я медленно и чувственно провожу вдоль его руки, от запястья до кончиков пальцев. Он не отодвигается. Он не шевелится. Ни слова не говорит. Но вдруг устремляет на меня взгляд... и мне кажется, что его ослепительно синие глаза темнеют от необычайного удивления. Я говорю:

— Имя их предводителя, кажется, Саробianco... Правда, смешно: Саробianco — Белоголовый, а у него наверняка черные волосы, а вы такой светлый...

Я еще что-то говорю. Мы снова садимся. Не помню, что я говорю... Всемогуший боже, во всяком случае не то, что чувствую... Я чувствую, что я хочу, чтобы он желал меня...

Слава богу, я уже слышу, как в другом конце дома девочки пиликают на скрипках, и ко мне возвращается ощущение места и времени... И сознание, что я — жена высокого духовного лица в этой на всем белом свете самой фарисейской стране.

— Ой! — вскрикиваю я испуганно, взглянув на стоящий Chater, — уже половина второго!

Глазами я уношу с собой этого Яака целиком. Его молодую неуклюжесть, его мальчишескую беспомощность, его облик мужицкого мальчика, олимпийское спокойствие его лица, его длинные сильные руки, золотистые искры его бакенбардов, смущение и удивление в его потемневших глазах.

— Теперь мне нужно идти. Мне очень жаль... — Я делаю короткую многозначительную паузу. — Но здесь около тысячи книг. Вам ведь хватит их... до обеда?!

Я поднимаюсь, чтобы уйти. Он тоже встает. Я беру его за руку, чтобы посадить обратно в кресло:

— Не нужно, не нужно. Сидите...

Его крупная рука совсем не такая прохладная, как я думала. Она теплая. Она даже горячая. Как будто у него лихорадка.

— До свидания. Мы увидимся за обедом.

Я быстро выхожу из библиотеки. (Мне в самом деле

нужно позаботиться, чтобы обед был хорошо подан.) Мимоходом я бросаю взгляд на стекла книжного шкафа. Мое ироническое «я» уходит со стекла и, толкнувшись в белую известковую стену, исчезает. Остается только мое настоящее «я».

5

Так-с. Хольман со своими учителями ушел. Теперь можно свободно потянуться у себя в рабочей комнате. Э-э-эх! По правде говоря, в последнее время мне становится здесь как-то душно. Эти груды книг, и рукописей, и всяких инструментов, и не знаю какого еще хлама. Э-э-э-х!.. Свободно потянуться...

Полтора часа разъяснял я этим учителям, что, мол, не надо напрасно бояться: моя метода школьного обучения, правда, близко схожа с той, которая запрещена правительством, но все-таки она не та же с а м а я! Не знаю, достаточно ли хорошо они поняли. Их почтение ко мне так велико, что едва ли можно допустить, что они станут возражать или даже что-нибудь переспросят, или тем более выскажут какое-нибудь сомнение. Пусть так. Скажем, я это заслужил. Трудом заслужил. Однако ж свою почтительность они могли бы проявлять с меньшим смущением и более интеллигентно. Ибо, чем меньше я стараюсь считать их себе равными, тем мне докучливее их самоунижение. Ну, да это, в конечном итоге, вопрос ф о р м ы, вопрос внешнего показа... Да, но для меня, как ни говори, отстаивание моей методы обучения — дело не показное. Э-э-э-х, какие это пыльные мешки в Санкт-Петербурге выдумали, что любая метода, согласно которой школьники занимаются друг с другом, есть ланкастерство... А ланкастерство министр объявил ересью. Однако же ланкастеры появились в Англии всего-то десять или пятнадцать лет назад, а я видел, что по моей методе учили в школе для бедных в Халле когда? В 1783 году. В ту пору человек, чьим именем ланкастерцы себя называли, еще на горшок не просился. Ну, да... ланкастерская ли моя метода и в какой мере она ланкастерская (не по происхождению, по практическому совпадению), сего я и сам до конца не знаю. А они там.

Петербурге, — и того меньше! Этого я, понятно, деревенским учителям говорить не стал... И вообще, нельзя же судить о деле по названию (да при том еще по необоснованно прилепленному названию!), следует судить, уважаемые начальники департаментов, *etc* по истинным результатам, по тому, какие плоды оно приносит на практике.

Да. Однако, давая учителям разъяснения, я в такой раж вошел, что только язык у меня работал, а руки бездействовали...

Так. Бутыль с серной кислотой здесь, в стенном шкафу. Кхм!.. Больше половины еще осталось. Мало ж я израсходовал. Да много ли было у меня времени, чтобы гравировать картины к моим сочинениям, как я сие планировал.

Так-с. Одна мензура. Вторая мензура... Прежде всего нужны подходящие осколки... Небольшой молоток... да куда же он позавчера девался, этот небольшой молоток?.. Ага, вот он, под пробной проповедью господина studiosus'a Шнелля! Ну, такого жалкого коверканья языка, как эта проповедь, не сумел бы выжать из себя даже сам господин пробст Берг... Ибо это совершеннейшая епископальная бестолочь...

Тьфу ты, сатана! Теперь ноготь на большом пальце две недели будет синим... Зато осколки получились такие, как надо... Все-таки голову на отсечение я еще не дал бы, что эти камни — небесного происхождения. Ибо все, что понарасказали мне в Кайавере, нисколько не исключает и другого предположения. Напротив, может случиться, что описание пастушонка локоского Михкеля даже усугубляет его возможность... *И потом пронесся огненный шар! И ударила такая молния, будто прямой прут проткнул дождь и тучи...* А что, если это в самом деле была всего-навсего паршивая молния? Которая — у-у-у-х — угодила прямо в громадный валун на поле локоского Михкеля? Так что по всему пару разлетелись огненные осколки того самого валуна?.. Именно это я прежде всего сейчас и устанавливаю.

На вершине валуна были две глубокие трещины, и поверхность в несколько квадратных футов, по-видимому, расплавилась. Я велел Михкелю притащить лестницу и битый час стоял, и на четвереньках ползал,

и на животе лежал на этом валуне. И наколол-таки от расплавленного края несколько фунтов осколков. После чего задний карман моих панталон так раздулся, будто у меня в нем пятьсот рублей золотом лежали...

Одна мензура и вторая мензура...

В сущности, это занятие — просто отдых. У себя самого украденный, а все же отдых... Эта возня с делами, с которыми, вообще-то, возиться не следует. С которыми даже не должно мне ковыряться, ежели подумать о злосчастном отсутствии у меня времени... Однако, тем легче себе самому доказать, что все это крайне нужно. Тем легче, что возня с ними в самом деле до крайности необходима. Ибо, в противном случае, половина дел в нашем дорогом отечестве так никогда и не будет сделана. Конечно, мне приходится вечно разрываться... Из-за того, что нет людей... Кстати, а что это, вообще, за дурацкое объяснение?! Кто его выдумал? Что оно поясняет?! Ни черта оно не стоит! Людей для общего дела повсюду одинаковое количество: где тысяча людей чего-то захочет, там охотников действовать найдется не меньше, чем в десяти тысячной или десяти миллионной нации. А ежели окажется, что в одном месте их меньше, а в другом больше, то единственно только от того, что среди тех, других, реже встречаются лентяи, лодыри, люди корыстные и безответственные! Подобные нашим лифляндским литераторам и начинающим сочинителям. Э-эх... опять я сразу на них перешел...

Первая мензура и вторая мензура. Кислоты в каждую, ну, скажем, до четвертого деления... Нет! Обожди! Прежде увеличительное стекло...

А этот Антон, эта проросшая картофелина, еще с иронией спрашивает меня, что, мол, отчего же я на пятнадцать лет раньше не стал выполнять своего решения служить народу?! Этот доблестный наездник полагает, что со своими грошами секретаря кредитной кассы он — подходящая партия для моей дочери... А о том, как на меня подействовало, когда первая же моя работа была в пух и прах раскритикована моим уважаемым другом (я имею в виду йыхвиского Коха), — про то сей жалкий молокосос не спрашивает! Ну, может быть, не совсем уж в пух и прах... а все же вышло

так, что пришлось мне полностью признать, что Кох был прав... и для моего самолюбия этого хватило на пятнадцать лет... До сих пор еще у меня горят щеки, когда вспоминаю, как пожирало мой букварь пламя, в которое я один за другим побросал все триста экземпляров. Каждую книжку я сначала разрывал вдоль, по корешку... не знаю уж для чего... из мести или чтоб быстрее горели... Они по большей части были крепко сшиты и сопротивлялись... так что я раздирал их, сжав зубы... азбучных петушков с поникшими крыльями. В печку, в печку, в печку!.. Большой закопченный очаг в кухне Люгануского пастората, красные и черные тени колыхались на бревенчатой стене... и мой позор... Э-э, я бы не удивился, ежели бы на лбу у меня появился огненный знак.

...Увеличительное стекло — хорошее толстое стекло, ручка обмотана медной проволокой — откуда ж я привез его себе? Из Санкт-Петербурга, правильно... Когда в последний раз был у адъютанта великого князя... Хм... Кара до сих пор не может понять, для чего мне пригревать у себя этого краснорозега Адлерберга, этого господина майора, который грохочет как барабан на подставке... Удивительно, как плохо женщины разбираются в вопросах дипломатии... даже женщина с таким гибким умом, как *la mia carissima*¹. Я Каре разъяснял: в Петербурге у Адлерберга есть сводный брат, он — адъютант Николая Павловича, но она не поняла («Ну и пусть. А все равно он неотесанный пошляк»). Это, конечно, правда. Однако он из тех, кого можно использовать. К счастью. Ибо он честен. И хоть среди ночи готов дать мне рекомендательное письмо к своему сводному брату! ...Иисусе Христе, да меня бы уж семь раз со всеми потрохами съели разные рихтеры, морицы, ливены, ежели бы таким путем я не нашел лазейки, чтобы через нее обращаться к министрам, а в случае особой нужды — даже к самому государю.

Посмотрим теперь наши осколки через увеличительное стекло... По виду оно куда более мощное, чем на деле. Увеличение всего в пять раз. А все же будто совсем особый мир тебе открывается, гляди, какой *pausage* из красно-серо-черных пятен, будто задница

¹ Моя самая дорогая (ит.).

у телка, родившегося от быка местной и коровы немецкой породы... А это гранит локоского Михкея... Он и был как гранит, когда я колол его, лысого черта, колотил, колотил и все же наколол изрядное количество... Но колотить я его, дьявола, мог с такой силой, потому что и сам я — гранитный старик... я и сам телок от родителей различных пород: один — местной, а другой — немецкой. Ха-ха-ха-ха-а... Конечно, по крови-то я мог с одинаковым успехом объявить себя как эстонцем, так и немцем... Ну, а кому была бы от того польза, ежели бы я стал разглагольствовать про крестьянскую кровь своего отца? Я говорил (и до сего дня говорю) больше о матери, на что имею точно такое же право... Даже большее! Ибо, когда я только что начал учиться, да и во время последующего моего обучения ее влияние на меня было сильнее, чем отцовское. Да-а. И в конечном счете все мое дальнейшее продвижение только благодаря ей и было возможно (всякий знающий здешние порядки сие поймет), несмотря на унаследованное от отца трудолюбие и старательность, все же оно было возможно единственно лишь благодаря тому, что я объявил себя немцем! Единственно лишь благодаря тому удалось мне кое-что сделать и принести кое-какую пользу сему злосчастному народу, что я рано вырвал себя из него... Смолоду в порыве гордости я бывал еще способен (вообще-то, конечно, только от неуравновешенности, по сие время в памяти у меня несколько таких мгновений), я бывал недалек от того, чтобы закричать: *Пусть всему миру будет известно, что по рождению я наполовину принадлежу к их рабскому роду и морально я останусь с ним до конца!*.. Все же мне было бы непросто это крикнуть. Не только от того, что это значило бы прыгнуть в бездну. Но еще и от того, что невозможно тебе кричать полным голосом, ежели, чтобы не изменить истине, тебе следует крикнуть: *на по л о в и н у принадлежу...* А вторую половину своего «я», более благовидную, я утаить не посмел... И меня, наверно, поймут, когда впоследствии это станет предметом обсуждения (наверняка совсем не глупо, что Отто Виллем Мазинг мимоходом размышляет и о том, что станут о нем думать через сто или двести лет...) Вообще ныне, уже на старости лет, находят на меня минуты странной

слабости, когда я вдруг подумаю, что есть в жизни еще и нечто иное, достойное стремлений, а не только щеко-кочущее прикосновение ветерка, когда ты летишь на крыльях молодости или когда в зрелые годы будто чувствуешь одобрительное поглаживание по затылку за то, что ты оказался полезен. Ощущение, что ноги твои вросли в плитняк и, когда ты поднимаешь их над ним, к тебе приходит чувство земли, понимание, что ты из нее вышел и что в нее тебе надлежит вернуться и из нее тебя снова поднимут... Может быть, это чувство преданности... Э-эх, заразился я, видно, слезливой, пиитической чувствительностью. Яснось определяет все: гляди, как под увеличительным стеклом локально и четко видны эти черные, и серые, и красные пятна. Картина совершенно индивидуальная, ее нельзя спутать с другой. Это же хлам из карманов моих штанов. Теперь тот другой, который я хочу возвысить до небесного камня: темно-серый, почти черный с желтоватыми прожилками наполовину расплавившийся шлак. С какими-то сверкающими зернами. Во всяком случае неопровержимо видно, что это совсем иное вещество...

А теперь еще одна мензура. Вторая мензура, и в обеих до четвертого деления серная кислота...

...Разумеется, сорок лет назад я мог сделать то самое, что нынче, по-видимому, решился сделать сей молодой человек, который сегодня утром изволил прогуляться сюда, в Экси, как же его имя?.. Петерсон! Первым мог бы быть я... А может быть, и не мог бы... Ибо, каким бы образом ни были сплетены все ожерелья в канате истории, в этом плетении есть свой порядок. И каждый дюйм каждого ожерелья в начале и в конце закреплен. Может быть, я и не мог быть первым... Во всяком случае, если даже нынче, после всего того, что за это время мир пережил, это — глупость, то сорок лет назад это было бы чистым сумасшествием... ежели бы я, к примеру, не ответил старому Мантейфелю — в ту пору молодому Мантейфелю, — когда он позвал меня путешествовать с ним по Европе, ежели бы я не ответил ему с благодарностью и готовностью: господин граф, ваше предложение для меня большая честь, ибо вы известны у нас в стране вашим своеобразным, свободным умом, и ежели вы

полагаете, что я гожусь быть вашим собеседником на фоне Пиренейских и Альпийских гор, то я в самом деле постараюсь таковым оказаться, и не только ради чести, мне оказанной, но и ради собственного образования. Чистым сумасшествием было бы ответить ему не так, а сказать, например: граф, я и прежде отказывался от помощи господ дворян, когда они, по моему разумению, унижали мое достоинство (разве у меня не было полного права так ему сказать; ежели бы подумал о том, как я послал в преисподнюю стипендию господина Пайкюлла?!). Я и прежде так поступал, и хотя вы, граф, слывете у нас свободным умом, но в сущности это не больше чем комедиантское представление большого барина, и я не желаю унизиться до такого положения, чтобы меня можно было бы счесть *вашим духовным лакеем*. Так что вашего предложения я не приму и помашу вам рукой: полезайте в карету! Прощайте!

...До четвертого деления... Ха-ха-ха-ха-ха-а! Это «прощайте», которого я тридцать лет назад не сказал, приводит мне на память другое «прощайте», совсем недавнее, которое я в прошлом году сказал... гораздо более высокому лицу... До четвертого деления, только осторожно, чтобы кислота не брызнула на руки, она ведь у меня восьмидесятипроцентная... Весьма высокому лицу... Ух ты, сатана рогатый... Но это последнее «прощайте», ежели уж быть честным, мне было возможно сказать единственно благодаря тому, или хотя бы в известной мере благодаря тому, или хотя бы, в символическом смысле, единственно благодаря тому, что я не сказал его тому, первому,— то есть Мантейфелю (и еще многим, многим другим)...

Помню, когда маркиз Паулуччи велел пригласить меня в кабинет, у него уже горела люстра с хрустальными подвесками. И я вошел к нему с радостным сознанием: сейчас я узнаю, что и генерал-губернатор разрешает мою газету. Наконец-то! Ибо разрешение министра пришло ко мне за неделю до того. И вот сей маркиз поднимается из-за своего стола красного дерева, как и подобает воспитанному человеку, идет мне навстречу, пожимает мне руку более дружески, чем это было в предшествующих случаях (я уже несколько раз бывал у него по поводу своей газеты, пытаюсь пробить брешь). Он милостиво сам подводит меня к стулу по

другую сторону стола и возвращается на свое место. И когда мы уже оба сидим, я говорю:

— Господин маркиз, я надеюсь услышать от вас, что вы разрешаете мою газету?

Со своей хитрой усмешкой пьемонтца он говорит:

— Та-та-та!.. Не будем спешить, господин пробст. Не сразу. Но, может быть, в скорое.

И тогда, черт подери, мой характер встал на дыбы! Я чувствовал, что исхожу злостью. Что это еще за дьявольская проволочка и канитель?! Я забыл про ужасное самомнение этого итальянца (и думал только о своем собственном, совсем неуместном, когда тебе скоро уже шестьдесят, а ты занимаешься столь ответственными делами). Одним словом, допускаю совершенно непростительный промах по отношению к этому пустельге-маркизу. Я говорю:

— Но, господин маркиз, ведь у меня в кармане лежит разрешение министра!

У маркиза во рту торчит сигара, и начальник канцелярии Фелькерзам уже высекает для него огонь. Уставившись на меня, маркиз поднимает руку, и Фелькерзам на шаг отступает назад. Маркиз кладет незажженную сигару в мраморную пепельницу. Конец сигары намок в его толстых губах. Он встает. Это означает, что и мне надлежит встать. В это мгновение я увидел, что он еще приземистее, чем всегда мне казался, что шея у него еще короче, что его воротник с золотыми листьями еще выше, бахрама эполет еще жестче. Он пронзительно кричит не на самом лучшем французском языке:

— Ах, так вы за моей спиной обратились к министру! Таким способом вы вольны делать дела со своим богом! Если бог не помогает, можно бежать к святому Непомуку — «помоги ты»! Со мною так дела не ведут! Я запрещаю вашу газету! Она не нужна! Ведь ландтаг все равно категорически против вашей газеты. А господа в ландтаге в конце концов тоже знают, что им нужно. Разрешение министра? Здесь генерал-губернатор — бог! И ваш святой Непомук никак не спасет вашу газетенку! Нет, *Finita! Schluss! Procuûre!*

Десятилотовый золотой перстень с печаткой сверкает в огнях люстры, когда он вытягивает свою корот-

копалую руку, не для того, чтобы подать ее мне, а чтобы показать, где находится дверь.

— *Finita! Schluss! Прощайте!*

Я был так зол, что только спустя некоторое время сполна понял, насколько это было оскорбительно. Разумеется, я мог бы сжаться и приняться за объяснения (не выгнал же он бы меня), что, мол, милостивый господин маркиз, я не знал... я не сумел учесть... я так долго ждал и надеялся... поймите, мелкие заботы маленького человека по ничтожному поводу... (Почему бы и нет?.. Мне и раньше доводилось примерно такое произносить.) Но вдруг я чувствую, что чаша моя полна! Я выпрямляюсь. Я поднимаю свой острый нос и слегка откидываю голову назад, чтобы придать взгляду ироничность, я оглядываю маркиза с головы до ног. Я совсем невысокого роста, но он наверняка на полголовы ниже меня. Я стараюсь быстро найти фразу или движение, чтобы с достоинством удалиться. С достоинством и несколько презрительно. Его быстыдное «*Finita! Schluss! Прощайте!*» продолжает звучать у меня в ушах... Мне надлежит показать свое превосходство, хотя я точно знаю, что если генерал-губернатор вмешается, то министровым разрешением на газету только и остается, что потеряться... *При местных порядках под предлогом неблагонамеренности в умонастроениях соответствующего лица* здесь все дела могут затолкать в один горшок. Так или иначе я чувствую, что мне надлежит... И он тоже чувствует: что-то вышло не так, то есть, что я не намерен просить прощения и с поклоном отступить. Он остается стоять с вытянутой рукой и как-то нерешительно смотрит на меня своими выпученными косыми глазами. Но чего не находят мой ум и мой жизненный опыт, то откуда-то из глубины моего существа подсказывает мне шестое чувство... Только по дороге в гостиницу я начинаю припоминать, каким образом я вышел из кабинета Паулуччи. Прежде всего левой рукой я подал знак господину Фелькерзаму: мой жест легкого сожаления каждый хоть раз бывавший в театре может понять только так: *Это не ваша вина, милостивый государь, что ваш начальник так дурно воспитан...* И при этом я улыбнулся давней улыбкой моей матери, озабоченной и мимолетной улыбкой дворянской снисходительности, с которой она,

бывало, выпроваживала нас, детей, из кухни в маленькую заднюю комнату, когда отец, хлебнув в какой-нибудь очень морозный день церковного вина, приходил домой и принимался бранить начальство и топором рубил надвое чурбан перед очагом. С этой улыбкой я вытянул правую руку до подвесков на люстре и помахал господину генерал-губернатору через стол:

— Проща-ай-те!

Точно так, как некий студент в Халле махал легкомысленным девицам, когда на заре выходил на бульжники Ноhe Кгäте, торопясь к себе в мансарду...

На следующей неделе я как штык был уже в Петербурге — в тот самый раз я и купил себе это увеличительное стекло, — и господь мне помог: маркиз, правда, старался меня укусить, да зубы у него застряли в аксельбантах столичного Адлерберга!

...Да-да-да! В нужной мере (и даже больше того) я был тверд. Но, к счастью, мне присуща и разумная эластичность... А теперь нальем эту кислую подливу сюда в мензурку... Будь ты неладен!.. Брызнула все-таки капля на тыльную сторону левой руки. Скорее подставить под воду с золой и насухо вытереть... Ну, рана на руке все равно будет... Пустяки... А во вторую мензурку я сейчас наливать не стану. Нет. Ибо, ежели бы я оба камня одновременно опустил в кислоту, мне бы потребовались глаза хамелеона... потребовались бы глаза генерал-губернатора... (Хо-хо-хо-хо-о!), чтобы одновременно следить за тем, что происходит в каждом из сосудов...

Итак... Да-да-а: к счастью, была у меня разумная эластичность... И я скажу вам, ежели сей довольно умный длинноволосый верзила (а пивом от него, шельмеца, все ж таки разило!), ежели сей — как же его зовут? — да, Петерсон хочет чего-нибудь достигнуть, чего-нибудь стоящего, чтобы и о нем через сто или двести лет как-то помнили, то и ему следует быть эластичным... Кстати, что касается его «Мифологии», так я назло Морицу буду интриговать, чтобы она пошла. Правда, приятно в этом Петерсоне то, что сам он со мной об этом не заговорил. Будем надеяться, что и в шесть часов он этого не сделает... Но его переложения из Анакреонта, те, что присылал Розенплентер, по правде говоря, довольно жалкие... Лес пьет, море тянет

или как там у него было?.. Вздор! Разве это поэзия?! Он с а м так булькает своим пивком! Я повторяю, от него разило пивом...

...Ну, теперь осторожно... чистая бумага приготовлена, карандаш приготовлен и мой репетитор тоже здесь, теперь... только осторожно... плюх!

Что происходит?! Ровно ничего не происходит... Именно так, как я и предполагал... Одна секунда, вторая секунда, третья... пятая... десятая... Записать: на десятой секунде, на одном темно-коричневом (то есть *naturaliter* сером) — золотистый пузырек величиной с булавочную головку. Пятнадцатая секунда. Двадцатая. Тридцатая. Второй золотистый пузырек. Записать: на тридцатой секунде — второй золотистый пузырек... И больше ничего. И в начале слова изволит вместо *h* писать *spiritus asper*¹... Да, только это не его находка... Но до такого рода модных глупостей он, сдается, еще больше охоч, чем это в моде у ему подсобных... Итак, два золотистых пузырька и больше ничего... Превосходно... А второе переложение из Анакреонта и вовсе переиначено... Как будто женщина вовсе лишена ума... Нужно признаться, что Кара иной раз вполне на одной доске со мной. Да-а. Разумеется, ежели перевод точный (не было у меня до сих пор времени проверить), то за эту глупость в ответе сам древний Анакреонт... Но за *lexika* эстонского языка отвечает этот молокосос. А она у него — ниже всякой критики! *Та, что всех прелестней*. *Прелесть* — это же значит ковы, хитрость, коварство, лукавство, обман! *Прелестный*, как *adjectivum*, что это, по его мнению, там означает? Ага, понимаю, он хочет сказать *красивей*, но языка не знает и говорит *прелестней*, и все эстонцы будут над ним смеяться... В шесть часов, когда он придет сюда и я буду с ним беседовать, спрошу его про Зонтага. Ибо сдается мне, что этот парень (как ни странно) близко соприкасается с суперинтендентом. И по поводу его Анакреонта я выскажу ему правду. Розенплентер ведь не решится пересказать ему мое мнение, слишком он для этого деликатен. А молодому человеку следует сразу знать, чего стоят его опыты. Вреда от того, что он узнает, ему не будет. Одна польза. Ежели только он сам чего-то стоит. А судя по его «Мифологии», это

¹ Апостроф (лат.).

именно так. И этого я никогда не скрывал. И ежели он будет усердно трудиться, из него может получиться неплохой лингвист. Должно быть, он и стихи писал. Не помню, кто мне говорил. Только, разумеется, он не поэт. Это уж сразу видно...

...Осторожно! Теперь! Плех!

О-о-о! Какой взрыв! Ух ты, как забродило! Того и гляди кислота через край польется! Ей-богу, настоящий шторм в мензуре! В первую же секунду десять тысяч пузырьков! Одним словом, ясно! Неопровержимо ясно! Где мои выписки из Гвидотти... Ага, там, в манускрипте библейской истории... Стой-стой-стой, вот они!

«Сердцевина, часто довольно гетерогенная, подобная известняку масса, будучи опущена в кислоту, вызывает сильнейшее шипение»... Ну, мои господа оппоненты, мои господа приверженцы трезвости, мои господа апостолы деловитости, все вы, взявшие в привычку столь часто каркать против моих утверждений, теперь вам ясно?! Ах так, а удельный вес? А все же? Минутку, минутку, минутку!

Кислоту обратно в бутылку. Мензуры сполоснуть... Какой приятный резкий запах у серной кислоты... Теперь налить воды... Так. Какова же кубатура камней из кармана моих штанов?

...Семь и восемь десятых кубического дюйма... Округлим до восьми... Нет, не будем округлять. Вычислим точно. Семь и восемь десятых... Теперь весы... Где они у меня...

Та, что всех прелестней,
пламени сильнее...

Что сей Анакреонт, сей старый мужеложец вообще хочет этим сказать?! А я бы сказал так:

Той, что всех красивей,
и огонь не страшен...—

или примерно в таком роде... Ну да, только я не совсем уверен, что Кара назвала бы огнем то, что она разожгла во мне... Ха-ха-ха-ха-а... Но, истинная правда, и она это знает (впрочем, знает ли?), конечно, знает, что, по мере того как с годами этот огонь все уменьшается, тем более истым он становится. Да. Само собой понятно, что так оно и есть. Что?.. А может быть, в нашей жизни с ней и не было истинного огня? Может быть, у меня, по моей натуре, его не было? Во всяком

случае, такого, который полностью завладел бы душой и телом Кары?.. Чушь! Спустя несколько месяцев после нашего венчания она напомнила мне своим птичьим щебетом, что в тот самый вечер, когда нас повенчали в церкви Яана, я три часа просидел за письменным столом над каким-то письмом Розенплентеру... Может, так оно и было. А почему бы и нет?.. Господи боже, к тому времени мы уже десять лет жили с Карой. А нынче вот уже скоро двенадцать будет. И должен признаться, что, хотя, памятуя о покойной Доре, внутренний голос запрещает мне об этом даже самому себе говорить, с Карой я, как бы это сказать, ну, счастливее, что ли (да, наверное, более точного слова и не подберешь), счастливее, чем был с Дорой. Не оттого, что Дора так рано начала хиреть и таять и становилась все тише и прозрачнее. А оттого, что при всем этом она продолжала оставаться дочерью тартуского ратмана...

Ах, вон они где весы... Теперь — найти гири. Да-а. Я уже говорил: я считаю, что презрения достойна не моя профессия священника, а большая часть моих собратьев по профессии, а про свою профессию я сказал бы, что во всяком случае здесь в моральном отношении она одна из лучших. Ибо мантия надежно скрывает происхождение человека, если оно у него не совсем ясное. Она делает его для всех кругов, как я говорю, человеком acceptable. Это так. А все же Дора оставалась такой же гордой и странной дочерью ратмана, каких в наших городах прежде называли *Bräurpfanne*¹, и я солгал бы самому себе, ежели бы сказал, что это никогда не вызывало досады и не причиняло огорчений сыну деревенского кистера. Но минутами, само собой понятно, заставляло и гордиться. Конечно, эти минуты были несколько смехотворны. И все же они как-то поднимали и возвышали. Давно, когда мы с Дорой только еще начинали нашу брачную жизнь в старом Тарту, еще не знавшем оживленности, которую принес университет (это было в середине девяностых годов), мне доводилось бывать в магистрате на торжествах у купцов и цеховых мастеров и сиживать за одним столом с патрицианскими семьями, и я нередко

¹ Пивная корчага (нем.). Так называли завидных невест из богатых купеческих семей.

думал, куда я, однако, попал — полунищий, начинающий пастор, много здесь бегают мне подобных, больше, чем нужно... Да-а, пусть в Халле я сколько угодно вращался в обществе Вольфов и Граффов* и даже самого Гомера, а все же стать своим человеком в тогдашнем провинциальном и патриархальном Тарту, как это ни кажется смешным, было приятно и, кроме того, в известной мере существенно. И было бы огорчительно оказаться чужим... Осталось у меня в памяти одно мгновение в этом самом магистратском зале. Я вдруг заметил, как они между собой близки, мой тесть и теща Элертц, и все эти Леманы, и Клейны, и прочие родственники ратманов, и другие родичи — владельцы недвижимой собственности, магазинов, складов и кораблей — повсюду, от Пярну до Риги, как они с полуслова понимают друг друга, поскольку они все принадлежат к одному обществу, несмотря на купеческую и прочую конкуренцию... как жужжание их голосов, смех, обрывки фраз и жесты создавали некую единую, особую атмосферу и как одинок я был возле них и вне их, и тогда я разом понял (тут же, в зале, касаясь затылком дышавшего прохладой окна со стороны реки, в то время когда магистратские слуги наливали вино в бокалы), что *свиное жаркое, старое бордо и прочие comestibilia¹ и есть душа этих людей, но litteraria² для них — ничто*. Ну да, между нами говоря, в то время и я еще не был большим литератором, и, может быть, мне и самому еще не было до конца ясно, что именно для меня в жизни ценно и какова моя жизненная цель, но я уже предвидел ее. Очевидно, моей душе было необходимо что-то, во имя чего можно было отвергнуть этих людей, держаться от них на расстоянии, что-то, что позволило бы мне считать себя лучше. И теперь, *post factum*, я вправе сказать: я справедливо предвидел свое превосходство в надежде на планы, у которых, правда, еще не было лица... Годами я добивался того, чтобы подняться, и я стал своим не только среди тартуских бюргеров, но и в кругах эстонского земельного дворянства. Во всяком случае — почти своим. И рядом с Дорой полностью освободился от

¹ Лакомства (лат.).

² Словесность (лат.).

чувства собственной неполноценности... Но к тому времени Дора стала совсем больной, и чем во всех отношениях успешнее шли мои профессиональные дела в Виру-Нигула, тем чаще наш дом стали посещать семейные несчастья... Как те черные тучи над нигуласкими полями, которые гнал осенью с моря северо-западный ветер, тяжелые и низкие, они волочились по стерне до зданий, ползли по стенам, по крыше, и казалось чудом, что они не проникали сквозь стыки бревенчатых стен и не продавливали черепичную кровлю. Самым тяжелым наказанием были отцовские приступы безумия, год от году все учащавшиеся. Во время ужасных припадков, находивших на отца, приходилось держать его взаперти в маленькой каморке позади чулана. Из всех домочадцев я был единственным, кого он подпускал к себе. Нет, самым тяжким было не это. Самым тяжким наказанием был несчастный Карл. Сам он своего убожества не признавал, не понимал. Все, что на нас обрушилось с появлением Карла, Дора приняла так безропотно, что меня просто злость брала. Я не мог разделить ее фатализма. Я чувствовал, что идиотизмом Карла господь намеренно толкнул меня лицом в грязь. И об этом несчастье я говорил с господом более настоятельно, чем о чем-либо другом, будь то о душах своего прихода или же о себе самом...

Однако где же мои гири? На что мне пустые весы?!

...Допуская, что ты существуешь (видишь, слишком много ты позволял мне читать старика Лукреция и этих модных французов, чтобы я мог все еще так же по-детски верить в твое существование... как бы бесстыдство, подобное сему сомнению, не противоречило моей профессии!), допуская, что ты существуешь, я хочу спросить тебя: почему ты *дозволяешь* такое?! О, знаю, что я не первый задаю тебе этот вопрос. На каждом шагу, на каждом шагу в этом мире, вопия, приходится тебя об этом спрашивать. Но я-то спрашиваю тебя весьма редко... И очень тихо, в достаточной мере тихо, только бормоча про себя. И тут же перестаю. И ухожу в сторону... писать проповедь, изучать историю Рима, учить греческий язык, заниматься эстонским, иду в поле, чтобы на ощупь определить, готова ли земля к посеву озимой

ржи. Но прежде я все же снова спрашиваю: за что ты так со мной поступил? Намерен ли ты, обрекая меня дни и ночи видеть перед собой пустое, слюнявое лицо сына, намерен ли ты этим оттолкнуть меня от себя, чтобы испытать? Или ты хочешь привлечь меня ближе, чтобы мне в моем позоре и унижении было бы легче распластаться перед тобою ниц? Скажи мне, за что ты покарал нас? Я изучил все, что известно о моих и Дориных предках до третьего, до четвертого колена. Ничего, подобного этому, я не обнаружил. Я знаю, что бессмысленно делать из этого вывод. Господи, скажи мне хотя бы, чего ты ждешь от меня? Как мне ответить на искус, которому ты подверг меня? Ибо я не знаю, что мне делать (не могу же я просить тебя, чтобы ты снова сотворил чудо...), я не знаю, что мне делать, я только внутренне содрогаюсь десять раз на день, каждый раз, как подумаю, что ты не счел меня достойным и не даровал моему ребенку (которого я больше, нежели всех остальных, жаждал сделать по образу и подобию твоему), что ты не счел меня достойным и не даровал моему ребенку образа и подобия своего... Порой я терзаюсь, бредя во тьме: быть может, в твоём проклятии содержится нечто — нечто более глубокое, чего нам, адептам разумности, нашим грубым механизмом рассудка понять не дано?.. Господи, разве тебе угодно, чтобы я заставил себя его полюбить? Но скажи мне, кому нужна эта любовь?! Тебе ведь она не нужна! Это было бы абсурдом! Кого мне любить в нем? В этом бездушном клубке бессмысленности? Тебя?! И здесь тоже тебя?! Господи, ты же не смеешь в душе человеческой стать абсурдом... ежели ты для него тот, кем тебя полагается считать? Но скажи мне все же, кем тебя должно считать? Я умолкаю, я совсем умолкаю...

Девять лет несли мы этот крест. Четыре последних года мы делили его с Карой. Как странно, что, когда Карл умер осенью четырнадцатого года, я почему-то жалел о нем... А Кара заботилась о нем самоотверженно. Вместе с неразумной жалостью я ясно почувствовал, что эта смерть освободила нас от тяжкого груза. И что Кара, которая уже много лет была моей, стала мне непонятным образом как-то еще ближе...

Ага, вот где мои гири... Черт его знает, кто их сунул в эту свинцовую шкатулку с монетами. А что это за монеты? Правильно, те самые, которые один человек из Лазваской волости нашел на своем поле и принес мне, чтобы я их изучил, но у меня не было времени... Во всяком случае, гири я нашел. Семь и четыре пятых кубического дюйма, сколько же будет унций? Взвесим тщательно... Одиннадцать... Одиннадцать, ну, и, скажем, три десятых... Чтобы проще было высчитывать удельный вес, нам следовало бы нынче перейти на эту новую французскую систему. А с Карой я был по-настоящему счастлив. ежели вообще подобает так говорить, ежели мужчине даже наедине с самим собой подобает пользоваться сим словом. Первое время я немного боялся ее... Своих зрелых лет и ее девичьей молодости, и южной пламенности, которая была ей в некоторой мере присуща, а как же... Ха-ха-ха-ха-а... Но ничего, мы прекрасно сошлись во всех отношениях, и Кара во всем была мне ein schöner Partner — в постели, в доме, в детской, в обществе, в профессиональном моем труде, даже в библиотеке; она прочитывала множество сочинений, на которые у меня самого не хватало времени, и пересказывала их мне; за исключением только тех дел, которые оставались вне поля ее зрения, как-то: возня с культурой здешнего народа, что она и посейчас считает в какой-то мере моим детским *Steckenpferd*¹. Но во всем остальном, благодарение богу, мы с ней с самого начала были почти всегда одного мнения. И что главное (или во всяком случае — весьма существенное) — внутренне я чувствовал, что мы с нею — на одной доске... между нами говоря: сын гадательной *geborene Fräulein von* и дочь столь же гадательного и, главное, давно почившего *marchese*... Да-да, мы хорошо подходили друг к другу и с течением времени подходим все лучше. Разумеется, и потому, что в нашем общем десятилетнем грехе мы срослись теснее, чем это обычно происходит за десять лет церковного брака.

Отчего, в сущности, мы так жили целых десять лет?.. Сначала по необходимости. Не мог же я сразу или через полгода после Дориной кончины на весь свет

¹ Конек (нем.).

объявить, что иду к алтарю с семнадцатилетней гувернанткой своих детей. Я вызвал бы этим такой же громкий скандал, какой незадолго перед тем пережил пейзажный Акте со своей горничной (вдобавок еще сия горничная была деревенской девушкой). ...Во всяком случае, его даже удалили с церковной кафедры, и история эта много лет гремела на все три губернии. А у меня не было никакого желания изображать из себя такого дурня. И Кара своим острым и трезвым умом хорошо это понимала. А позже, спустя год, спустя два, нам все больше стало казаться, что хотя о наших отношениях и догадываются, хотя неофициально в них даже твердо уверены, а все же к ним еще недостаточно привыкли, чтобы мы могли открыто о них объявить... Кроме того, наше в некотором роде странное положение стало чем-то обиденным. По крайней мере — для меня, да, для меня, ибо, считала ли Кара его таким же терпимым (доставляло ли оно и ей время от времени тайную радость маленького обмана), в этом я никогда не был уверен все годы нашего сожителства. Более того, и в этом можно признаться только самому себе: втайне я чувствовал, что ей это не совсем нравилось. По какому-то молчаливому взгляду, по какому-то едва заметному движению, по какой-то незаконченной фразе, ибо я помню, что замечал это и воздерживался задавать ей вопросы... *Семь с четвертью кубического дюйма... 7, 8 на 16.487... получается 128,5986 кубического сантиметра...* Да, со стороны глядя, наша жизнь для нас обоих стала в одинаковой мере делом обычным... это тысячекратное притворство, лицемерие, кривляние, это лицедейство отрицания, когда муж перед всеми домочадцами и знакомыми выдает свою жену за служанку, а жена делает вид, что он для нее — просто хозяин, который платит жалованье. И потом эти минуты под утро, когда еще не разомкнулись объятия, а ухо уже ловит скрип шагов и дыхание домочадцев... Так притворяешься у себя дома, как притворяешься в обществе... Господи, точно так же, как и во всей нашей гласной жизни... нет, нет, повсюду за стенами дома все-таки еще больше, еще отвратительнее... *Мои досточтимые господа, собратья по профессии*, о которых у себя дома в четырех стенах я говорю: болваны и тупицы, паразиты на шее у

народа, сырные черви, полагающие, что их простоквашный шар — вселенная (за некоторыми редкими ехертю¹, как Розенплентер или Зонтаг). ...*Мои высокочтимые господа rectores et professores...* а дома — обученные обезьяны, бессовестные псы, которые даже не взвизгнут, прикажи им правительство назвать черное белым или, наоборот, дрессированные мартышки, большей частью, несмотря на образование, глубоко невежественные... *Мои глубокоуважаемые господа министры и генерал-губернаторы, оплот нашей империи*, из которых лично я знаю только нескольких и о которых я вправе судить постольку, поскольку их деятельность касается меня самого (а разве не это дает нам право выносить суждения?!), и о которых у себя дома я тысячу раз говорил: бесконечно далекие, невероятно высокомерные, постыдно ограниченные эгоисты, которые обо мне и моих проблемах знают и беспокоятся не больше, чем о жуке, который валяется у них под ногами. Сволочи... И затем *наше возлюбленное императорское величество, наша надежда, наш свет, наш отец...* Ха-ха-ха-ха! Тот, о ком я даже в своем собственном доме на всякий случай не решаюсь говорить, но о котором в душе, не знаю сколько раз, повторял: комедиа́нт. К нему точно подходит поговорка Junge Hure, alte Betschwester²... Просвещенный отцеубивец, Фарисей! Марионетка преступного идиота Аракчеева! Кобель при потаскухе Крюденер! Пиэтист — душитель свободного гласного духа в Европе...

Ах, да... И тогда я вдруг почувствовал, что хватит. И Кара, само собой понятно, не стала возражать. Мы пошли и попросили огласить о нашем обручении, и, по правде говоря, никто по этому поводу не стал резонерствовать... Так что, по-видимому, мы могли это совершить и раньше... И с того времени наша жизнь стала совсем ясной и спокойной. И я почувствовал, что мы с Карой — особый маленький мирок, в который никак невозможно проникнуть извне, одно целое, дальнейшее существование которого настолько само собой понятно, что обдумывать и обсуждать это значило бы только попусту тратить время. И ежели я все-таки порой тра-

¹ Исключения (лат.).

² Молодая шлюха, старая богомолка (нем.).

тил на это время, то единственно лишь потому, что господь все еще не даровал мне с Карой ребенка... С Дорой он трижды дал мне познать преждевременную радость рождения сына и дважды, спустя несколько недель, превращал мою радость в прах, а один раз — в девятилетнее отчаяние... А теперь я уже третий год жду (Кара теперь тоже, конечно, ждет), но тщетно мое ожидание, и я чувствую, что и она устала ждать и начала примиряться с тем, что по-иному предрешено... Случалось, что я ощущал возникавшую во мне холодность к Каре, как будто в ней причина крушения моих надежд (но это и есть ее вина, если вообще в таких вещах можно винить человека). Однако, не считая этого ожидания, надежд и разочарований, жизнь у нас с Карой ясная и спокойная. И ежели я другой раз (как и сегодня утром) на глазах у всех домочадцев и гостей ее целую, то, может случиться, я это делаю ради воспитания моих старших девочек, потому что из-за Кары они доставляют мне немало огорчений своим упрямством. Однако все знают, а если и не все, то сама Кара знает, что я целую ее не только *in educationem tertiarum*¹, но и по собственному душевному влечению: мне радостно смотреть на ее красивое милое молодое лицо и искренне хочется ее целовать...

129,58 кубического сантиметра... 11 и три десятых унции... А если в граммах? Сразу же вычислим... 340,213 грамма. Ого, порядочно!.. Это значит, что удельный вес... минутку: три... шесть... два. 2,63. Так это же г р а н и т! Точно, гранит: *Quid fuit profundum*²! Дальше, дальше, дальше! Кубатура моего небесного камня... Вот самый подходящий осколок... Четыре и одна пятая кубического дюйма...

Да-а, мои минуты с Карой (и небесными и земными камнями *etc...*), мои минуты с Карой — в постели, за кофейным столом, в мыслях — это тот самый Адамов мост, про который я недавно читал, мой Адамов мост — вдоль пальмовых островков я попаду со своего малого острова в громадную Индию... вдоль пальмовых островков Кариного тела и Кариных пальмоподобных рук и ног...

¹ ...для воспитания третьих (лат.).

² Что и требовалось доказать (лат.).

Та, что всех красивей,
мир собою красит...

Вдоль коралловых рифов, где можно лежа смотреть на небо... сквозь увеличительное стекло изучать радужные церковные своды раковин... Честное слово: пальмовые острова, коралловые рифы... среди ужасающе пустого труда, среди умственных терзаний и зубовного скрежета, от которых я время от времени прихожу в полное отчаяние... пока не отдохну с Карой, с небесными или земными камнями, и тогда, возвратившись к труду, я снова, сжав зубы, в силах сказать себе: *я мучаюсь, потому что я сам того хочу, а не потому что мне так положено.* Я тружусь не покладая рук, ибо мой свободный дух знает, что творит, когда низвергается на землю, и вновь поднимается, и снова летит, не смотря на все тяготы. Я здесь вот стенаю под своим бременем... и все же я свободен, как стая птиц на крыше. В этом, старый ты дурень, все чаще склонный сомневаться, и состоит различие между трудом человека и работой осла на мельнице.

Четыре и одна пятая кубического дюйма... что приближенно составляет шестьдесят девять и двадцать пять сотых кубического сантиметра... Быстро взвесить... Уже в руке чувствую, что он тяжелее, чем сей гранитный камень, как тому и положено быть... Семь и восемь десятых унции... Перевести в граммы: 236,84... его — удельный вес... два... четыре — 3,42! Ага, а ведь мой Гвидотти буквально говорит: *Удельный вес самого крупного камня Калла, весившего семьсот девяносто граммов, колебался в отдельных его частях от 3,39 до 3,46?* Так что мои 3,42 вам, господа скептики, как обухом по голове! А знаете, это такой хороший результат и вообще такое приятное занятие, что... что теперь я по этому поводу выкурю extra одну маленькую трубку... и просто похожу взад и вперед, погляжу в окно, потянусь... Гляди, как ласточки красиво уселись в ряд на коньке крыши мельничного амбара — одна, две, семь, девять, одиннадцать штук — и щебечут в предлетном волнении... а я останусь на месте, здесь, где нахожусь... и обедать идти у меня совсем мало времени, ибо до шести часов, когда он придет ко мне, этот, ну, Петерсон, у меня еще дюжина дел. Да, теперь я прежде всего примусь за это самое письмо, которое хочу послать в

комиссию по проверке школ, по поводу запрещения моих таблиц для чтения. Обождите, мои любезные *sensores, austeri atque severi*¹: ежели вы в самом деле намереваетесь вынуть из меня душу своей проволочкой (а мне все чаще сдается, что это и есть ваша тайная цель, и что вы ее в самом деле однажды добьетесь), *toga* пусть господь сам вас возлюбит! Ибо я клянусь: не знать вам покоя между двумя криками петуха! Ни в одну ночь, до конца жизни! Плясать будут у вас столы и стулья, диваны, кровати, шкафы — все сюртуки ваши в орденах и лентах, и шляпы на подставках — хо-хо-хо-хо-хо-о! — и среди всего этого запляшете вы сами, в ночных рубахах: лица после страшных сновидений еще глупее, чем днем,— каждую божью ночь я буду поднимать вас и гнать в пляс, всех до одного, будто смерч погонит вас (вечно смердящих, какие вы и есть), как будто старый Мазинг будет трубить над вашим ухом в иерихонскую трубу: ту-ут—ту-ту—ту-ут—ту-ту—тууууут — хо-хо-хо-хо-хо-ооо...

6

Я сразу подумал, что не стану обедать у пробста с его окружением. Нет. Не для того я сюда пришел. Я решил так, как только эта женщина, сказав: «До свидания. До встречи за обедом!» — вышла из библиотеки и от ее движения на меня пахнуло розами. Я оставался в библиотеке только до тех пор, пока она была в столовой. Потом я молча прошел через веранду мимо Еше, углубившегося в чтение. Чтобы не останавливаться и не заводить с ним разговора, ибо госпожа могла меня увидеть и мне пришлось бы в объяснение своего ухода что-нибудь выдумывать и врать. Я так быстро прошел эти четыре или пять верст, что даже не заметил, как очутился в Пухталевском трактире. Уф-ф!..

Теперь сижу здесь на еловой скамье за скверно вытертым, липким столом, тяжело дышу и пью пиво. Моя одышка постепенно проходит, я пытаюсь понять, что же, в сущности, произошло со мной там, в пасторате. Чувствую, что, мне нужно это понять до конца. И что

¹ ...судьи, суровые и строгие (лат.).

это возможно только в том случае, ежели, по крайней мере, сейчас и, по крайней мере, от самого себя я ничего не буду утаивать, и, во-вторых, ежели постараюсь объяснить себе, как все на самом деле происходило.

Уже больше часа сижу здесь, опершись спиной о бревенчатую, черную от копоти стену, на столе передо мной кружка пива, во рту трубка. И поскольку это уже вторая кружка и в ней тоже скоро покажется дно, то окружающий мир, который я вижу сквозь завесу табачного дыма, представляется куда более приятным, чем он казался до того.

...Сегодня ранним утром, когда я заходил сюда после ночлега в сарае у кустарника и трактирщик подал мне кружку пива, я не обратил внимания на то, что он мне кого-то напоминает. И во время прошлогоднего комерша,* когда все мы — лифляндские студенты — пировали в этом трактире, я этого тоже не заметил. Но спустя час после того, как я запыхавшись пришел сюда из пастората и уселся за стол, мне показалось, что у трактирщика с железно-серыми бакенбардами лицо университетского педеля Фридрихса... Того самого, который конвоировал меня прошлым летом через весь город до задних ворот университета и потом на чердак, в карцер, отсиживать штрафные дни. За то, что вместе с другими студентами я бродил по улицам Тарту и сверх того еще курил, что было категорически запрещено ректором. И мы, как известно, занимались этим не потому, что нам уж очень хотелось бродить и курить, а главным образом, чтобы продемонстрировать свое несогласие с ректорским запрещением... Во всяком случае, час назад у этого коренастого трактирщика за грязным прилавком было, по-моему, неприятное лицо Фридрихса... Толстая красная шея, кряжистый затылок и такой вид, будто он ничего не слышит... И борозды от ноздрей к углам рта, как топором вырублены... А сейчас гляжу: совсем обыкновенное широкое деревенское лицо и вовсе не злые, а хитрые серые глаза... так что можешь и не заказывать, а третья кружка — хлоп! — на столе, и хозяин становится все дружелюбнее. А почему бы ему и не стать дружелюбнее после моей третьей кружки?!

В такой час здесь — между серыми от грязи, выкрашенными известкой стенами и бревенчатым черным по-

толком — довольно пусто. Кто хотел уйти, тот уже давно встал с соломы и пошел дальше своим путем. А другие сюда еще не дошли (кроме тех немногих, с которыми с утра пораньше могут твориться весьма странные вещи...). А прочие таким ясным, уже не ранним утром едва ли будут торчать в трактире. Сейчас здесь только несколько батраков с волосами, как пакля, и тусклыми лицами, они понуро сидят и жуют краюху хлеба, пока господин бурмистр отдыхает в господской горнице после вчерашней усталости... Как можно понять из обрывков их разговоров, из Риги возвращается обоз, возивший зерно, но вчера в Тарту господин бурмистр загулял, а домой, к хозяину на глаза, необходимо вернуться трезвым, как стеклышко... Это мой собственный вывод, к которому я пришел, слушая, о чем они между собой толкуют, ибо ни говорить с ними, ни спрашивать их нет никакого желания.

В трактире перед открытым очагом помещичий кучер начищает ваксой сапоги своего барина. А барин в лиловых бархатных шлепанцах стоит на пороге господской половины: у него по-мальчишески жидкие рыжеватые усики, и он визгливо кричит своему кучеру: *«Ты это что себе думаешь, хочешь оставить меня здесь подохнуть без мой утренний кофе? Болван!»* Лицо барина мне знакомо, это — молодой эстляндский барон, studiosus правового отделения, в Тарту я много раз слышал, как он орал. Не хочется утруждать себя, чтобы вспомнить его фамилию. Ни с ним, ни с его кучером я беседы заводить не собираюсь. Это совершенно ни к чему. Я пришел сюда не ради этого. И не ради того, чтобы пускаться в разговоры с теми нудными и чужими людьми в пасторате, быть светским и мучиться за обедом. Но правдолюбец (а ежели я не в силах так овым быть, то вообще недостоин существования!), правдолюбец должен сказать себе прямо, без обиняков, ради чего он главным образом сюда пришел. Ради того, чтобы без помех спросить себя и, по своему ясному разумению, себе ответить, *что произошло сегодня утром, там, в пасторате, между мной и самой госпожой Мазинг?* Правда ли это, что сия красивая и светская госпожа (да-да, хотя об этом даже неловко думать, и я чувствую, как у меня начинают гореть щеки!), правда ли это, что эта красивая и благо-

родная госпожа проявила ко мне, как бы это сказать... особый интерес? Или все, что мне показалось странным, был *objectiviter* — ничего не значащий случай, а *subjectiviter* — одно мое самомнение? Ведь до сих пор меня же так мало заботило внимание, проявляемое ко мне женским полом. Настолько мало, что мне даже часто хотелось, чтобы оно заботило меня больше, чем этого требовала моя натура. Только это никак не удавалось. *Ибо притворяться я не могу. Комедиантствовать не умею ни перед самим собой, ни перед другими.* Может быть, все мое усердие в науке корнями восходит к страху перед комедиантством и неумению притворяться... Может быть некоторые мои успехи суть плоды не моего умения мыслить в науке, а моей светской неуклюжести... (Эту мысль я должен сразу же выплюнуть, ибо она слишком горька для моей глотки, однако, правдолюбец не станет ее от себя утаивать.) Да, неумение быть внутренне свободным — мое тяжкое бремя. Даже когда пью. Ей-богу. Ведь все мои гимназические товарищи, которые, случалось, бражничали, и отец, который и посейчас каждую неделю напивается, а последнее время еще чаще, настолько, что у него уже возникают пререкания с господином Граве, мои студенческие друзья-приятели, которые, видит бог, пьют под любым предлогом, а то и вовсе без всякого предлога, — они все это делают в конечном счете для того, чтобы чувствовать себя свободнее, чем это возможно при трезвой голове. Только не я. С первого же глотка пива или вина я начинаю бороться с опьянением. Ergo, не испытываю никакого освобождения, наоборот, надеваю на себя каменные латы. Я твержу себе: *пей и докажи, что на мужчину это не действует!* Докажи, что настоящий мужчина всегда сумеет пройти по одной половице! Докажи, что только слабые натуры, когда пьют, еще больше ослабевают, шумят, горланят, болтают глупости, а для мужчины, привыкшего владеть собой, все это, как с гуся вода! Докажи, что... Но, кстати, кому? Себе самому, что ли? Кхм... И вообще, это *докажи-докажи-докажи...* Себе или другим — все равно, это наверняка не самая достойная моя черта... наверняка не достойная настоящего циника... К сожалению, мне присуще еще многое, что истинного циника не достойно. Вопреки всем моим усилиям... Так же, как

и осуждение ловкой болтовни, всего того, что спьяна срывается с языка и чему только удивиться приходится. О чем я всегда с презрением думал: какое жалкое и пошлое краснобайство! Неужто они сами не понимают, как постыдно... это грязное бахвальство успехами у женщин, когда те их не слышат, или их глупые двусмысленности, которые говорятся в расчете на женские уши, все равно чьи — трактирных девок, или всем доступных птичек, или даже (видит бог) порядочных бюргерских барышень... И к таким вещам неизбежно приходят все их разговоры, которые становятся все откровеннее по мере того, как растет число пустых бутылок, сунутых под стол. Да-а, когда мне доводилось слушать это и вдобавок еще веселое хихиканье женщин, даже приличных девушек, которые, как правило, не стыдятся мальчишеских пошлостей, не молчат, а еще подливают масла в огонь, я часто думал: неужто они — жалкие — не понимают, как это роняет их человеческую сущность, низводит до того, что на греческом языке зовется *зо'оп*¹? И каждый раз, с удовольствием сознавая свое превосходство, я думал, насколько разумнее и благороднее употребить свое время на изучение разных аспектов арабского языка или знакомство с песнями Францена * или персонажами Голдсмита *. Насколько это несравнимо выше подобных непристойностей... Вообще, быть может, когда я приносил жертвы Бахусу и при этом старался оставаться таким собранным, будто бахусова влага не в силах меня одолеть, быть может, я в то же время надеялся, что эта самая броня, добровольно и в силу необходимости мною на себя надетая, чудесным образом растворится в сей влаге?.. Что в ее светлом потоке ко мне явится некто, кто меня полностью освободит... и укажет мне более короткий путь к той конечной истине, чем это способна сделать любая философская дружба, какой бы она ни была близкой и горячее?..

Что произошло сегодня утром там, в пасторате, между мной и этой женщиной?

Вопрос пронизывает, как сладостный испуг.

Только, может быть, там вовсе ничего и не произошло? Это же немислимо, чтобы Яак превратился (ха-

¹ Животное (лат.).

ха-ха-ха-а!) в Иосифа прекрасного, а госпожа Мазинг (господи боже!), госпожа Мазинг—в жену Потифара...*

А от чего бы и нет? Отчего бы и нет! Но ведь немислимо, чтобы ее странный тон и ее глаза совсем ни о чем не говорили... Немислимо, чтобы ее грудь совсем случайно целых пять ударов сердца касалась моей руки, даже ежели в первое мгновение это произошло ненароком... (Сдается, что мои путанные мысли, которые я пытаюсь ввести в русло, скорее под стать тем циникам, какие во множестве в наши дни бродят кругом и свою пустоту стараются прикрыть именем древнего и по-настоящему благородного циника...) Нет. Разве можно всерьез считать, что некоторый интерес, который госпожа Мазинг, может быть, и впрямь ко мне проявила (ежели только я это сам себе не придумал), шел в самом деле от лукавого? Как раз напротив! Всей душой, всем телом я чувствовал, что это было совсем не то, чем до сих пор зазывали меня женщины, ежели я вообще это замечал... Да, приходится признаться, и не без отчуждения от самого себя, что большая часть достоинств, которые восхваляют в женщине сочинения и песни, оставляют меня равнодушным. Девственность, тихость, умиротворенность, серьезность. Разумеется, я над всем этим не смеюсь, *in abstracto*, я все это глубоко уважаю. Честно говоря, даже думаю, что почитаю эти качества больше, чем многие другие... именно потому, что... то самое, чем в каких-то случаях женщина *in concreto* приковывала к себе мой взгляд, и притом настолько, что у меня почти пропадал леденящий страх, вызываемый той, другой, сущностью женщины, настолько пропадал, что меня охватывало искушающее отвращение и в то же время (стыдно признаться!) проявлялась ослепляющая надежда, но то было совсем другое... То было грубое, плотское влечение к женщине, которая дает понять или открыто показывает свою готовность на известные (а ежели ты их не изведal, то на совершенно тебе неведомые) вещи. Сильные, теплые руки, которые как будто отталкивают, однако, стоит отступить, они тут же тянут тебя к себе... Пылающее лицо с застывшей улыбкой в сущности даже не лицедействует, а с вожделением смущенно ожидает... Так это же Лийзи из «Новума», которую я сейчас рисовал пальцем на столе, обсыпанном табачной пылью... Лийзи, ра-

ди которой в позапрошлом году я несколько раз ходил в «Новум» потягивать пиво. Судомойка Лийзи, у которой белое широкоскулое, легко вспыхивающее лицо, локоны цвета спелой пшеницы, вдруг лишившие меня покоя, и чем-то неприятное пышное белокожее тело, при виде которого я глотал слюну... Лийзи, у которой в самом деле есть лицо и тело... Лийзи, которая вовсе не видение наяву с ее томными взглядами, глухим смехом и такой высокой грудью, что мне от влечения становилось в одинаковой мере и стыдно, и радостно... И радостно, конечно, тоже, ибо я чувствовал, что оно могло бы принести мне освобождение, помогло бы мне стать мужчиной. И, по правде говоря, удовольствие, которое я испытывал, бывало сильнее, чем то унижительное вожеление, когда я думал о ней или когда она бывала рядом... Так что я вполне искренне написал у себя в тетради песен:

Цветик мой, тобой хотел бы
я свое украсить ложе.
Две твои тугие груди —
точно белые сугробы.
Пусть их солнышко увидит!
Что в тени до срока скрыто,
красотой заблещет дивной...

Но это так и осталось для меня неведомым... Ибо, прежде чем я сумел набраться смелости, раньше чем мне подвернулась счастливая случайность, которая бы меня вдохновила, я ушел из университета и вернулся в Ригу. Университет разочаровал меня. А господин Зонтаг, как известно, разочаровался во мне. Потом голодные дни, прежде чем нашлись уроки...

— Эй, хозяин! Подай-ка мне третью кружку! И полфунта соленых бобов положи на тарелку. Человеку нужно хоть немножко поесть в обед, ежели он намерен и дальше мыслить (а это значит — дальше жить). Вот, получи с этого полуимпериала за бобы и пиво. Копейку оставь себе. За то, что ты только лицом похож на университетского педеля, а не делами. Сдачу принеси, я не собираюсь казаться богатым и не скрываю того, что это мои последние деньги. На них мне нужно еще вернуться в Ригу. После вечерней беседы с господином пробстом.

А теперь прежде всего разожем новую трубку. Пойти на беседу к господину пробсту. И на беседу к супруге пробста тоже... Каково?

Такая женщина?! И что самое удивительное: она не вызывает у меня смущения. Одно только рвущееся наружу радостное любопытство. Сравнить ее с женой Потифара?.. Господи боже, какое же все то далекое и низменное... Перед самим собой стыдно, что сие могло в голову прийти... Впервые в жизни подобная женщина взглянула на меня... И впервые я понял, как пленительна такая женщина! Ее удивительное поведение, простота и опыт. Ее светскость. От которой я несколько не становлюсь строптивым и не цепенею. Как это со мной всегда бывает в женском обществе. Ее светскость благодаря удивительной непосредственности будто присущая ей от природы. Именно такая, какую я мечтал встретить в женщине... Выходит, до сих пор я не отдавал себе в этом отчета... Ее нежность совсем не то, что женская безудержность, говорившая мне о смутном вожделении. Ее нежность вдруг стала для меня прекраснее всех женских качеств. Может быть, потому, что за ее нежностью чувствуется особая мягкая зрелость, еще даже более мягкая и более щедрая, чем этого ожидаешь... Ее удивленное смуглое лицо с умными высокими бровями. Сияющие темно-серые, детски оживленные глаза. И в то же время в них спокойная и снисходительная уверенность в том, что под ее взглядом тот, на кого она смотрит, освобождается от тяжелой обязанности излишне много знать. Господи! Что за бред?

— Хозяин! Еще кружку!

А потом Яак зашагает насвистывая — нет, без всякого свиста — обратно в пасторат. Беседовать с господином пробстом об ученых предметах! Как господин пробст соизволил того пожелать.

А супруга пробста?.. Дурень! Отчего я не смею смотреть на нее?! Прямо в ее сияющие черные глаза... От того, что ты именно такая.. Как будто мне известно, какая она... Или ей — каков я... Или женщины каким-то чудесным способом умеют видеть внутреннюю сущность человека? Может быть, я не счел бы ее интерес ко мне (ибо ее оживление все же говорило о нем), может быть, я не счел бы его столь уж большим

чудом, ежели бы она смогла понять мое внутреннее существо. (Стыдись, Яак... Какое самомнение! У тебя, смеющего считать себя циником.) Загляни она в мои мысли, вряд ли ей понравилось бы то, что она увидела. Но если я создал свои идеалы (странно, впервые я сейчас об этом подумал), если я создал свои идеалы, совершенно не думая о женщинах, не говоря уже о женщинах, *подобных ей?* Мои *идеалы правдолюбия*, за которые многие считают меня бесстыдным и грубым. При том, что, исповедуя их, я не умею быть столь последовательным, как бы того сам хотел... Идеалы моих *требований к миру* — совсем немного удовольствий и безграничные знания... Идеалы моей *спартанской нетребовательности* — пусть я часто нарушал их пьянством, но в других отношениях был им верен — нетерпимость к фигурянию пустыми обычаями, к франтовству в одежде, к которому, по правде говоря, я был столь нетерпим, что за мое презрение к щегольству меня прозвали шеголем шиворот-навыворот. ...И, наконец, мои *идеалы верности*... не рыцарская верность служения даме. А упрямая, вызывающая, гордая мужицкая верность. По отношению к народу, из которого вышел мой отец.

Верность этому народу...

Тем более вызывающая, что моя настоящая мать, как отец мне это подтвердил, родом была из Польши... Моя мать, о которой в моей памяти сохранился только удивительный запах, как будто запах клевера, исходивший, должно быть, от ее рук и волос, и еще — печальные светлые глаза, которые, наверное, были ее глазами... и белое пятно — ее белое лицо на смертной подушке, два белых пятна — лица ее и того младенца, которого она родила и вместе с которым умерла... Моя родная мать, у народа которой было государство и города, книги и короли... Да, я мог бы объявить их своими! Раз они были у моей родной матери! Хотя сама она была простой служанкой, которая в Риге мыла полы у купца Хентча. Я мог бы объявить своими книги ее народа, его замки, его сочинителей, его королей! Никто не мог бы мне в этом препятствовать. Ежели бы я начал с того, что пошел бы и признал своими святыми моей матери... В гимназии капеллан католической церкви несколько раз говорил со мной про это... А от свя-

тых до королей и всего прочего был бы один-единственный шаг... Но моя мать всех их оставила. Нет, не так, как Иуда или как эти счастливцы, которые оставляют народ моего отца, чтобы стать немцами. Не так. Ибо она ушла не так, как уходят они, от презираемых — к более чтимым, от жалких — к более могущественным. А как раз наоборот. Ею это было сделано ради безродного, никому не известного и нищего Кикка Яака. Ради случайно попавшего в Ригу рабочего мальчика в куртке из серой деревенской шерсти и говорившего на никому не понятном языке. Ради его звонкого голоса, его веселых песен, его болтовни, мало-помалу становившейся понятной, ради его голубых глаз... Может быть, и моей матери ради всего этого не следовало оставлять свой народ и свою веру? С того времени как я помню своего отца, во мне живет понимание и ощущение, что его народ существует, и чувство какой-то особой, сладкой и в то же время болезненной потребности сохранить верность своему отцу и его народу. Сохранить верность жесткой отцовской медной бороде и чудесным историям и песням, начиная с тех далеких, как сновидения, лет, когда еще была жива моя родная мать, до той поры, когда я и сам уже научился видеть... когда у меня была уже мачеха, давно ставшая мне второй матерью. Чудесные отцовские песни, точно не имевшие ни начала, ни конца... будто медная нить, на которую в моей душе и в моем сознании нанизывались великие мировые события. Сказы и сказки на коленях у отца при тусклом язычке лампы, в горько-сладком облаке дыма от его трубки. Особый маленький мирок со своим языком, бытовавшим в нашей мансарде среди огромного семьязычного города. Мирок, который был частью где-то будто бы существовавшей земли и ее дум. И в подтверждение ее доподлинного существования я все больше стал замечать костистые лица эстонцев, их родной говор на улицах Риги, вокруг нашей церкви Якоба и на церковных скамьях во время службы, после того как Иггер или сам Зонгаг заканчивали проповедь на их несколько жестко звучащем эстонском языке и с хоров раздавался отцовский баритон, подобно звонкому пастушескому рожку, перекрывавший голоса поющих: *Господа нашего ныне восславим мы...*

Но как же мало их было — всего сотня глухих и резких голосов, которые запинаясь, но старательно следовали за ним... И еще большим подтверждением того, что сия предполагаемая страна, что весь этот мир на самом деле существовали, были родичи, очень редкие, но тем более достоверные, когда откуда-то издалека они попадали в Ригу, а некоторые заходили к нам в дом — старый Паавел, и Энн, и Мэрг, заросшие бородой мужчины в постолах, в серой одежде, пропахшей дымом, лошадью, соломой и зерном. Их грубые шутки, их сдержанный смех, вспышки ненависти и проклятия барам, их скупые высказывания, зачастую выразительные, как серебро пословиц, их песни, которые они горланили, усевшись вокруг синей головки... И, наконец, мои детские воспоминания о лете в Выйдумаа... Остаться верным этому народу...

«А почему лошади все еще не поганы?! Чертов болван! Я хочу тебе сказать...»

Господин эстляндский studiosus стоит на пороге господской горницы, обтирает шелковым платком остатки обеда со своих рыжих усиков и топает ногами, обутыми уже не в лиловые шлепанцы, как утром, а в начищенные дорожные сапоги; время до и после обеда с божьей помощью убито, и отъезд внезапно стал неотложен. Рябой кучер молодого барина, несмотря на свою должность, по виду — деревенский батрак, стоит в трех шагах от своего господина, опустив голову и немного согнув колени. Он не знает, то ли ему бежать и запрягать лошадей, и тогда некому будет слушать гневный крик барина, за что тот может еще пуще разгневаться, то ли стоять на месте, и тогда барин еще того больше задержится, а это его разозлит ничуть не меньше...

...Болван! Олух! Эдакий оболтус! Я не могу твоей рожи видеть! Марш!

Ага, теперь понятно, нужно бежать в конюшню... И кучер быстро идет. Несмотря на крупный рост, он шагает легко. Он направляется в мою сторону. Чтобы выйти из трактира, ему нужно пройти мимо моего стола. На лице у него глубокие следы оспы (конечно же, не плетки, господи, какая дурь лезет в голову, ведь только на спине могут быть шрамы от плетки), на лице глубокие следы оспы и железно-серая растительность

вокруг сжатого рта. Глаза сощурены, и я не вижу, какие они у него. Он направляется прямо к моему столу... *Да-а! Остаться верным этому народу...* Я выпил уже четыре кружки... Но мне все так же ясно: *остаться верным народу, во всем, всем своим существованием. И не скатываться до пустой бравады! Не поддаваться соблазнам!* Но я выпил четыре кружки пива...

Подать лошадей! Свиное рыло!

Я выпил четыре кружки х м е л я ... Ой, мой дорогой учитель Диоген, удержи меня! Удержи меня от дешевого жеста, он, может быть, и хорош, но бесполезен... Ох, я уже чувствую: ты, приказавший Александру не заслонять солнца, ты — не тот человек, который схватит меня за полы... Чувствую, что не в силах справиться с искушением. Кучер молодого барина уже поравнялся с моим столом. От его серого кафтана исходит целая смесь запахов: дыма, зерна и лошади — запахи старого Паавела, и Энна, и Мэрта, вместе с ними входившие в комнату моего детства, они плывут сейчас ко мне, и я встаю:

— Постой, человек! Твое рябое лицо чурбана нравится мне! *Твое свиное рыло мне приятно! Возьми!*

Трактирщик, принесший мне сдачу с моего полуимперяла — четыре рубля с копейками, — положил их на край стола. Я сую кучеру в руку четыре серебряные рубля с портретом императора.

— Возьми! И оставайся тем, кто ты есть!

Разумеется, я говорю с таким расчетом, чтобы это видел и слышал его хозяин. (Опять это мое *докажи-докажи*, недостойное истинного циника!) И при этом я сам понимаю, насколько смехотворно то, что я делаю... Мои последние, жалкие рубли, но я не даю себе времени подумать, ибо я ненавижу быть жалким, а моя ребяческая поддержка может вызвать еще большую злобу молодого барина против кучера... Я все понимаю. Я понимаю, как ничтожно мало значит мой поступок по сравнению с повседневными несправедливостями, насилиями, ежесекундно творящимися вокруг меня. По сравнению со всем тем, что меня окружает, как миазмы, и чем я вынужден дышать. По сравнению с наследственной заносчивостью этого барина мой поступок — не больше пылинки... Я понимаю: нужно делать что-то иное, но я не знаю, что имен-

но. И все же, наверное, чувствую: нужно с широким размахом и с огромным упорством трудиться, трудиться для народа... Над словом, над людьми, над обстоятельствами, даже не думая о незначительности результатов... В одно прекрасное утро, в один ясный солнечный час нужно отправиться и с высоко поднятой головой начать говорить правду...

Кучер уже справился с растерянностью и смущением. Крепко зажав в ладони рубли, опустив голову, он боком быстро вышел из трактира в надежде, что, может быть, барин не заметил того, что я дал ему деньги. Я стою у стола. Я смотрю на двадцать восемь копеек, которые лежат передо мной, и жду. Что скажет господин барон на мой вызов. Мне должно ответить ему достойно. Не так, чтобы он предложил мне драться на шпагах. Ибо, учитывая, что я учился в университете, ему подобает в данном случае так поступить. Но я не хочу попасться на эту глупость, когда действуют не умом, а железом. Поэтому мне нужно ответить не так прямо, не в лоб. Однако, если кусок железа в самом деле единственная для меня возможность защитить свои права, то обо мне не смогут сказать...

Я гляжу на медные копейки, лежащие на столе, и жду. В течение целой минуты из господской горницы не слышно ни звука. Тогда я поворачиваю в ту сторону глаза и вижу грязную дверь из тесаных досок. Господина stud. iur. von so und so¹ там нет. Эх, не помню я его фамилии. Но его лицо и его действия мне известны. Поэтому я твердо уверен, что он вернулся в горницу и затворил за собой дверь прежде, чем я начал говорить с его кучером. Ибо в противном случае он никак не оставил бы в сей распре последнего слова за мной. Но не могу же я теперь пойти к нему и сказать, что я сделал для того, чтобы нравственно поддержать его кучера (или для чего, для чего... о, это и совсем просто и очень сложно), для чего я это сделал... Я гляжу на свои двадцать восемь копеек и не могу понять, что же меня довело почти до готовности драться на шпагах. Я начинаю смеяться, над кем-то или над чем-то зло смеяться, быть может, над мелькнувшей у меня в голове мыслью: не оттого ли ум мой готов был сог-

¹ ...студента правоведения фон такого-то (нем.).

ласиться на дуэль, что тогда не пришлось бы мне в шесть часов идти беседовать с господином Мазингом? Так или иначе, но мной овладевает смех.

Ха-ха-ха-ха-а! Хозяин, на вот, возьми! Здесь двадцать восемь копеек. И принеси мне еще кружку пива!

Я залпом выпиваю пятую кружку. Чтобы внутри у меня было тепло, когда я пойду под студеным и ясным небом навстречу озерному ветру. В сторону церковной башни, которая там, над жнивьем, четкая и острая, как большой кузнечный гвоздь.

Во всяком случае, если меня пригласил господин Мазинг, не следует давать госпоже Мазинг... тьфу! — господину Мазингу повода упрекать меня в опоздании.

7

Если бы я могла измерить степень своего разочарования, я бы, наверное, испугалась. Как человек, неожиданно для себя оказавшийся у глубокого колодца и заглянувший в него. Я бы испугалась, увидев, насколько мне было важно, чтобы этот странный мальчик пришел к обеду, и как тяжело от того, что он не явился.

Святой Дженнаро, ты же видишь, что со мной творится, и мне не к чему скрывать это от тебя. Я ведь прежде всего должна была бы обидеться. И отнюдь даже не очень сильно, скорее, слегка, но все же обидеться. Потому что я ведь ясно ему сказала: «До свидания. До встречи за обедом!» — и при этом, признаюсь тебе, взглянула на него такими глазами (и он, невзирая на свою неуклюжесть, наверняка это заметил), что любой мало-мальски воспитанный молодой человек непременно постарался бы в два часа быть здесь. А этот парень с лицом деревянного истукана этого сделать не потрудился. А про меня нельзя сказать, что я просто уязвлена. Хотя сейчас, когда общество собирается к столу, в какие-то мгновения я так же презрительно-сладко улыбаюсь, как это отлично удастся Каролине, когда Анита или Отто проявляют ко мне любезность, которую она считает излишней... Да, я испытываю далеко не поверхностную обиду, которая была бы в данном случае уместной.

Я по-настоящему несчастна. Как-то безнадежно и непонятно несчастна. Как ребенок, которому намеренно причинили боль. Я говорю Минне, чтобы она повременила четверть часа подавать бульон и пирожки с ветчиной. Я расхваливаю госпоже Еще ее пестрое платье и закусываю губу, вспомнив, что я это уже делала за утренним кофе. Я даже вежлива с Адлербергом. Когда все уже собрались в столовой, я еще несколько раз смотрю в окно (так, чтобы этого никто не заметил) и говорю:

— Ах, правда, Хольман ведь не придет сегодня к нам обедать, — (я знаю об этом с утра), — и этот... этот смешной мальчик... как же его фамилия?.. Петерсон, он тоже, наверное, счел за лучшее испариться.. Так что — прошу к столу.

— А, его-то ты и ждала, — говорит Антон своим вечно ироническим скрипучим голосом. Антон вернулся к часу со своей предобеденной верховой прогулки, как всегда с ног до головы облился в бане холодной водой и теперь, несмотря на бледность и разболтанность, он особенно противно напорист и из него так и лезет самодовольство:

— Так ты его ждала? А он уже в десять часов махал обратно в Тарту. Я проскакал недалеко от него через дорогу и видел. С его христовой куафюрой и длинными ногами его издали видно.

Я думаю: почему, собственно, ты мне досаждаешь? Прошу тебя, не высмеивай меня сейчас при всех своим всем известным поучительным тоном по поводу того, что этот мальчик не явился... Но почему же он ушел? Если его в шесть часов должен был ждать Отто? Почему? Мое самомнение (или мой инстинкт) говорит мне, что исчезновение этого мальчика в какой-то мере связано со мной... Святой Дженнаро, я же почти плачу... Но я говорю с улыбкой, которую в позапрошлом году Клиндер называл чарующей (и я чувствую, как фальшь моих слов делает мою улыбку особенно лучистой).

— Друзья мои, не правда ли, как приятно иногда сесть за стол без посторонних? — Я стыжусь своих слов и в то же время ликую. Отто тут же принимается по своему обыкновению быстро читать застольную молитву, и, как я и предполагала, ни Оттилия, ни Элеонора, ни ее Антон не успевают сказать мне какую-

нибудь двусмысленность. Но майор Адлерберг, отнюдь не относящийся к тем, кто кожей способен ощутить атмосферу в доме, гремит:

— Совершенно справедливо, милостивая государыня, хо-хо-хо-о-о!

Кое-как я отмучиваюсь за обедом. Все, даже Элеонора, которой давно уже следовало бы подумать о фигуре и есть умереннее, с завидным удовольствием поглощают жаркое из молочного тельека: очевидно, здешний воздух способствует аппетиту местных жителей. У меня жаркое застревает в горле. Я жую, глотаю, давлюсь, несколько кусочков телятины запиваю тремя стаканами клюквенной воды. В то же время мне удается говорить какие-то пустяки, которые общество находит смешными и по поводу которых майор Адлерберг раздражается такими взрывами хохота, что свой графин с водой я ставлю от него подальше.

Три больших окна столовой, выходящие в сад, прямо напротив меня. Время от времени я ловлю себя на том, что с надеждой смотрю в окно, вот *сейчас-сейчас-сейчас* покажется этот мальчик оттуда, из-за пестрожелтой живой изгороди акаций и быстро вместе с прохладным ветром войдет в столовую... Разумеется, я знаю, что он не придет. Потому что Антон не выдумал, что еще утром видел его шагающим обратно в Тарту. Антон, конечно, способен нечто подобное и придумать, чтобы подразнить меня, хотя вообще фантазии у него нет никакой. Но на этот раз он сказал правду. Ибо, для того чтобы приняться за вранье, ему нужно было знать, насколько сильно меня заденут его слова. Слава богу, он этого не представляет. Да я и сама час или два назад этого не предполагала... О, какая я глупая, какая глупая!.. Мне нужно образумиться. Я должна понять, что ничего иного мне и не остается, как только образумиться... А что мне еще делать? Велеть оседлать лошадь и поскакать за ним следом? Нет, не настолько я все же глупа. Слуга Прийт вместе с Минной убирают со стола десерт и кофейные чашки. После обеда все расходятся в разные концы столовой и болтают между собой.

Поскакать за ним следом... Мчаться что есть духу по открытому тракту... Вот он идет, его издалека видно, как сказал Антон, — с его христовой *coiffure* и длин-

ными ногами... с этой смешной дубиной вместо трости... размахивая длинными руками; ржаные волосы деревенского мальчика на плечах деревенского кафтанна... Скакать за ним, мимо него, повернуть к нему лошадь, так чтобы он сердито поднял свои необыкновенные глаза — лепестки синецвета... Сказать: Яак... И тогда?... И тогда?! Нет, я все же не до такой степени глупа. Я должна образумиться. И я образумлюсь... Яак... Но он ничего мне не ответит. Он пройдет сквозь меня и мою лошадь, просто как сквозь пыльный воздух тракта. Господи боже мой, я образумлюсь. Я ведь не пятнадцатилетняя девчонка. Мне нужно быть обходительной со своими и с чужими. Мне нужно руководить большим хозяйством... Я слышу, как Элеонора говорит Еше: *Mais racontez nous donc quelque chose de votre Buzance...*¹ — и произносит «бюзанс» вместо «бизанс», что попросту ничего не означает, или на худой конец — «дурная голова» (от слова «buse» так ведь)... Только я не дурная голова, нет. Я беру себя в руки и велю Минне особенно тщательно оготрать для госпожи Элеоноры банки малинового варенья на зиму. Не шесть, как Элеонора ожидает по примеру прошлого года, а восемь. И чтобы в них не было ни капельки плесени. Да. В лучшем виде, не придерешься. *Da ich's mit leisten kann*², как говорится... Потом долго вожусь с бельем наших девочек. Отбираю, что нужно гладить, отбеливать, чинить и решаю, что именно следует им еще спить. Затем вместе с садовником Паапом сажаю на куртину перед домом тюльпаны, и только когда половина луковиц уже посажена, мне приходит в голову, что я пошла копать в земле в своем платье с чайными розами... Однако я уже совершенно с собой справилась. Я даю распоряжение слуге Прийгу принести сюда, в спальню, воды, мою руки в зеленом фаянсовом тазу, потом вычищаю из-под ногтей землю и только тогда замечаю, что мое критическое «я», которое все это время отсутствовало, вернулось ко мне и, холодно улыбаясь, смотрит, как та, другая, оживленная и ребячливая, глубоко вдвинулась в зеркало и, опустив глаза, возится со своими ногтями, едва видимая в сумерках...

¹ Расскажите нам все же кое-что о вашей Византии (франц.).

² Поскольку я могу себе это позволить (нем.).

По правде говоря, мне даже жаль ее. Да, жаль, что так легко мне удастся овладеть собой. Жаль, что так легко мне удастся поверить словам, которые я говорю себе: *Господи боже, что же, в сущности, произошло?! Какой-то странный высокий мальчик, совершенно чужой, приходил в пасторат и снова ушел. Ведь совершенно ничего не изменилось... Сегодня я та же, совершенно та же, что была вчера и буду завтра и послезавтра... Это утешительно! Печально, конечно, а все же утешительно... и слава богу...*

Теперь, уже после того как тюльпаны посажены, в дверь спальни стучится Минна и напоминает мне, что время сервировать хозяину кофе в его рабочей комнате. (Это сразу стало моей обязанностью, как только я пришла в дом в качестве гувернантки. Очевидно, Отто хотел с первых же дней приблизить меня к себе. И до сих пор это моя обязанность. Хотя я уже не знаю, насколько ему нужна моя близость... Разве я, правда, этого не знаю?.. Конечно, откуда мне знать... Ох, что это я, право... Господи...) Как?! Неужели уже семь?! Я жду, что сердце вздрогнет от боли, но оно не вздрагивает. И слава богу...

Кофе Минна уже приготовила, и он настаивается на маленьком столике в столовой. На черном лакированном подносе стоит кофейник старого севрского фарфора под пестро-синей шерстяной шапкой, десять лет назад мною связанной и все еще используемой, с верхушки опускается кисточка из стеклянных бусин... И когда я смотрю на эту уже состарившуюся вещь, мне кажется, что кто-то в чем-то меня упрекает. Но в чем? В чем?!

Возле кофейника в ожидании стоит объемистая пыльтсамааская чашка с толстой ручкой (подумать только, всего пять их осталось из двенадцати), стоит в ожидании возле кофейника вместе с серебряной сахарницей и щипцами. Белая внутренность пестро-синей чашки блестит чистотой так же, как и сахарница и щипцы. В чем же можно меня упрекнуть?!

Я ловко ставлю поднос на кончики пальцев левой руки и иду по гладкому каменному полу коридора. Я сразу оказываюсь перед обитою кожей дверью, за которой находится мой муж. Я точно знаю, что сейчас произойдет: я постучу обручальным кольцом по косяку, чтобы стук был слышен в комнате. Отто так раска-

тисто отзовется, что, несмотря на плотную обивку двери, я ясно услышу:

— Да-а-а-а-а!

И когда я войду, он уже будет идти мне навстречу. С поспешностью, в которой, нужно признаться, есть доля старческой неуклюжести. Какой-то вызывающей сочувствие и привычно милой, от которой мне все-таки хотелось бы отвернуться...

Тут-тук-тук-тук.

— Да-а-а-а-а!

Я открываю дверь и чувствую, что у меня подкашиваются ноги, мне приходится правой рукой поддержать поднос, чтобы посуда не соскользнула на пол... Не от того, что Отто не поспешил мне навстречу. Не от того, что он стоит вдалеке, в другом конце комнаты, у окна. А потому, что комната полна табачного дыма, пахнущего шиповником, отчего сердце у меня подскакивает к горлу. И потому, что он там...

Он сидит в кресле возле письменного стола Отто, длинная голень в белых панталонах перекинута через колено, и носок ботинка, выпачканный в земле, торчит вверх. Я вижу что он пытался вытереть ботинки пучком травы. В руке у него дымящаяся трубка. Он сидит как-то небрежно и в то же время сосредоточенно, помужицки и по-королевски одновременно, он поворачивает ко мне упрямые синие глаза, и сквозь дым я вижу, что его взгляд вдруг смягчается. Его гневно сдвинутые брови распрямляются. Его бледные губы слегка шевелятся, он будто чего-то ищет: слова, выражения, жеста, но единственное, что, по-видимому, он находит, это молчаливое удивление, не знаю уж, мною или самим собою.

Во всяком случае, я теперь вполне собою владею. По крайней мере здесь, у него на глазах,— наверняка.

— О-о,— говорю я спокойно, звонко и чуточку иронично,— а я вас уже не ожидала увидеть после того, как вы не уважили мое приглашение к обеду...

Он ничего не отвечает. Он только хмурит брови. Я не хочу затягивать его молчания. Я не хочу, чтобы оно перешло в невежливость. Я говорю:

— Одну минутку. Я принесу для вас чашку.

На конце стола я перекладываю книги и освобождаю место. Я ставлю поднос на стол. Я смотрю прямо на

него и выхожу. И когда я оказываюсь в столовой и, запыхавшись, останавливаюсь перед буфетом, до моего сознания доходит, что я вприпрыжку бежала по коридору и в такт беззвучно ликовала: *Он пришел, он пришел, он пришел, он пришел, он пришел!*

Но не ради меня, пытаюсь я себя убедить и посмеяться над собой, а ради Отто. Да-а. И смеюсь. Но себе я говорю: Я не верю, не верю, не верю, не верю! Если я хоть сколько-нибудь умею читать по лицам молодых людей...

Я достаю из буфета чашку для Яака. И только когда уже размеренным шагом войдя в рабочую комнату, плавно, с достоинством ставлю чашку на стол, мое самообладание снова почти ускользает от меня. Ибо я вижу, что рядом с синей пыльтсамааской чашкой, принесенной для Отто, я ставлю одну из моих двух золотых французских чашек; обе они — совершенно одинаковые, так что я не знаю, та ли это, из которой пил в библиотеке он, или та, из которой пила я. Несмотря на испуг, я ловлю себя на желании, чтобы это была чашка, к которой прикасались мои губы. Но испуг мой весьма мимолетен. Ибо любому другому человеку могло бы броситься в глаза, что я принесла для этого мальчика одну из двух имеющихся в доме золотых чашек. Любому другому... Но не Отто, который таких вещей не замечает. К сожалению. И к счастью. И Яак, конечно, этого не заметит. Но чашка принесена не для того, чтобы они заметили. Достаточно того, что это знаю я. Я наливаю обе чашки:

— И как же, милостивые государи, придет господин Петерсон к ужину?

Яак открывает рот, чтобы сказать, как мне кажется: «О-о-о — не-е-нет, милостивая государыня», но Отто начинает трещать:

— Само собой понятно! Господин Петерсон никуда больше сегодня не пойдет! В девять часов у нас ужинают. Я приведу его к ужину.

Меня совсем не задевает — почти совсем не задевает, — что именно Отто приведет его к ужину. Потому что, когда я улыбаясь выхожу из комнаты («Желаю вам, господа, широкого полета мыслей. Я велела приготовить сегодня особенно крепкий кофе»), я оглядываюсь и вижу лицо Яака — его до смешного самоуве-

ренное лицо молодого бога, его смущенное детское лицо сквозь расплывающееся в огне лампы облако табачного дыма (с запахом шиповника). Я знаю, знаю, знаю: он пришел бы и без того, чтобы Отто его сопровождал...

Я отдаю распоряжение Фридриху: затопить печь в маленькой комнате позади библиотеки. Я велю Лезне отнести туда свежие простыни и наволочки. И когда Минна начинает накрывать стол для ужина, я решаю посадить его на четвертое место от левого конца стола. Не могу же я посадить его рядом с Отто, туда, где он случайно оказался утром. Там, правда, он сидел бы близко от меня, так близко, насколько это вообще возможно. (О святой Дженнаро, я думаю, так близко, насколько это вообще возможно за столом...) Но тогда Отто оказался бы между нами, и мне пришлось бы все время смотреть на него или сквозь редкие волосы Отто, или сквозь его горчащие брови... Там, куда я его посажу, он будет сидеть почти напротив меня. И слева его лицо будет освещать канделябр. Потому что вечером я хочу вместо масляной лампы зажечь свечи. Чтобы было праздничнее. И уютнее. Я велю Минне открыть новый бочонок маринованных угрей и заварить крепкий индийский чай. Я сама зажигаю канделябры. Начинают собираться к ужину.

Антон, как всегда, самый голодный, появляется первым. За ним приходит Адлерберг, потом госпожа Еше, затем появляется наша упитанная госпожа падчерица, за ней старшие барышни-падчерицы, потом Еше, оторвавшийся от своего манускрипта, а за ним Анита, оставившая пальцы... Я всех их вижу, но сама будто отсутствую. Я не даю себе труда вникать в невзначай сказанные слова. Я всем улыбаюсь. Я глажу красивые каштановые волосы Аниты, когда она проходит мимо меня, и немножко стыжусь этого жеста. Не потому, что эта маленькая демонстрация против ее сестер, а потому, что в моем движении — невысказанная просьба: *Анита, будь моей союзницей в заговоре против них всех...* Я чувствую, как внутри у меня теплится радость, и добрая доля ее — торжество победы над всем этим застольным обществом. Я говорю слуге:

— Фридрих, поди скажи господину пробсту и его гостю, что мы ждем их к столу.

Фридрих уходит. После долгого передвигания стульев, откашливаний, pardon'ов и bitteschön'ов мы рассаживаемся. Я слышу в коридоре шаги, приближающиеся к столовой. Я чувствую, как Отто садится по левую руку от меня. Я улыбаясь смотрю на стол и жду. Я смотрю на ослепительно белую соль в солонке синего фарфора и жду, чтобы слева напротив сдвинулся четвертый стул. Я смотрю на стол и собираю в своих глазах лучи, чтобы сразу ослепительно поднять их и совсем тихо сказать:

— Господин Петерсон, мне очень приятно, что вы пришли...

Я жду. В это время Отто шумно приступает к молитве — и я испуганно поднимаю невидящие глаза.

Этого мальчика нет.

«Und segne, Herr, unser Bisschen, damit wir es zu uns nehmen können, als Deine Gabe...¹»

Мне хочется схватить Отто за руку! Мне хочется крикнуть, куда же девался этот мальчик! Мне хочется вскочить и броситься его искать! Я не смею. Я неподвижно сижу, улыбаясь, и в упор смотрю на хрустальный блеск графина с уксусом. Я жду, что это отодвинет от меня весь мир за чудесную мерцающую стену, как бывает, когда пристально смотришь на сверкающие предметы. Но все, к моей муке, по-прежнему здесь.

Отто произносит amen. Еще подает мне хлеб, и все принимаются стучать вилками, и когда они уже несколько мгновений стучат и застойной беседе положено начало, я спрашиваю (при первых словах голос у меня глухой от тоски, но я тут же беру себя в руки и бесстрастно говорю будто невзначай):

— Отто, куда же девался гвой Петерсон?

— Петерсон? Ммм. Я не знаю. Ушел.

— Куда же?! На ночь глядя! Почему?

— Решил и ушел.

— И ты отпустил?

— Ммм. Он ведь — жеребенок. А не ребенок.

— Давно он ушел?

— Десять минут тому назад.

Святой Дженнаро, скажи, что мне делать? Незамет-

¹ Благослови нас и твои дары, которые мы принимаем по твоей милости (нем., лютеранская застойная молитва).

но встать и выйти! Схватить в прихожей из шкафа пелерину, сбросить с ног туфли, надеть сапоги и бежать по темному тракту? Задыхаясь, не разбирая дороги, по грязи... Кричать — три раза, тридцать раз, сколько раз? — в ту сторону, где, как грязная тесьма, блестят колес от телег, идущие в Тарту, уходящие в непроглядную тьму? Яак! Яак! Или сидеть неподвижно за ужином, улыбаясь в мерцании свечей. Держаться, пока пройдет скованность. Замечить, что майор Адлерберг кладет мне на гарелку студень. Сказать Отто, который предлагает мне к нему уксус:

— О, спасибо, Отто, именно уксуса мне сейчас особенно хочется...

Святой Дженнаро, скажи, что же мне делать?

8

Нет, Каре я про это говорить не стану, что сей мококосос к шести часам снова наакался пива. Будет выглядеть, будто моему prestige нанесен столь сильный урон, что я ей жалуюсь... Эдакий пес... Пьян-то он, правда, не был. Но щеки горели, глаза блестели и несло от него пивом сильнее, чем утром.

Сперва я не обратил на это внимания. Когда рассказывал ему про свой сегодняшний эксперимент с небесными камнями. Но когда положил ему на ладонь оба осколка и стал объяснять, и при этом стоял с ним рядом возле стола, — левой рукой держал у него под носом ехеpta¹ Гвидотти, а тыльной стороной указательного пальца правой руки водил по нужным строчкам, чтобы ему легче было следить, — тут я почувствовал запах пива. И, я говорю, — еще явственнее, чем утром. Это меня и опечалило и рассердило. Даже немного испугало. Я на несколько шагов отступил, оглядел его с ног до головы и взглянул ему прямо в его вытаращенные синие глазищи: ах, так вот ты какой... Ты — ты и сам, может быть, до конца не понимаешь, что это значит, — ведь среди здешнего народа ты, первый такой молодой, да ранний — первый (не считая меня, так ведь), сумевший положить на бумагу несколь-

¹ Вышяски (лат.).

ко славных вещей, которые нисколько даже не глупо чигать, первые, так сказать, бутоны философического и филологического образования... Отчего же ты сам-то при этом должен быть таким, а? Ибо гляжу я на тебя и думаю: разве могла идти речь, разве мог бы я даже подумать, чтобы сорок лет назад в Халле в таком вот виде ввалиться к старому Вольфу? В эдаком шутовском наряде? В неприбранном состоянии?! Чтобы я с такой самоуверенной мужицкой осанкой стоял бы, расставив ноги, или сидел бы нога на ногу, будто на кочке у себя в огороде, а не перед всем известным своей ученостью именитым господином, который по возрасту мог бы быть моим дедом... Собираясь к Вольфу, фрака брать взаймы я не пошел. Ибо всю жизнь знал границы почтительности — где начинается нахальство и где — излишняя старательность. Так что сперва я взвесил, следует ли мне занимать фрак, и отказался от этой мысли. Но о том, чтобы зайти по дороге в «Золотую Розу», опрокинуть пару кружек пива, — хотя гроши на это у меня в кармане позвякивали, — такое мне даже в голову прийти не могло. Ибо непочтительность мне так же чужда, как и угодничество. Да-а. Позволю себе сказать: следуя золотому сечению равновесия, я избегал как первого, так и второго. Может быть, в действительности, я легче сношу по отношению к себе небольшое нахальство, чем ежели передо мной заискивают. И, между прочим, я знаю, чем это объясняется. Потому что мой опыт мне говорит: нутро у неряшливых, нахальных, непочтительных типов, ежели только они умеют оставаться в границах, по большей части из более прочного и получше сортом дерева, чем у этих сверх меры почтительных... Мне хотелось его спросить: мальчик, а тебе не кажется, что ты непозволительно дурно обращаешься с тем небольшим талантом, что даровал тебе господь? И что это — свинство по отношению к господу! И еще большее свинство по отношению к нашему — то есть, я хочу сказать, твоему народу! У которого (ежели бы он мог предполагать о твоём существовании) было бы железное, кровавым потом купленное право потребовать от тебя, чтобы ты... Да-а, понимаешь, хотелось мне ему сказать, даже в отношении себя я чувствую его право над собой, я, который огнюдь не связан с ним теми узами

какими ты себя с ним связал... Даже я понимаю его право требовать от таких, как мы, чтобы мы себя не растрачивали... мы, которые по сравнению с ним, ежели не прямо в раю находимся, то по меньшей мере перед вратами его, на зеленых лужайках Вергилия и прочих, в то время как он — все еще по шею, ну пусть, я скажу, по грудь в грязи девятого адова круга... Так что у него есть полное право требовать от таких счастливицев, как мы, чтобы мы не растрачивали себя на ерунду, на побрякушки и бутылки! Нам должно изо всех наших сил стараться служить ему. Сколько позволят нам разум и силы... Мне хотелось спросить у мальчика, разве он этого не чувствует... Но я вижу его гневные синие глаза, его нахмуренные брови и чувственный рот. Что-то удерживает меня от вопросов, может быть, в самом деле трусость. Боязнь, что этот мальчик, раскочивая перекинутой через колено ногой в грязном стоптанном башмаке (посмотрев на мои шелковые домашние туфли, подбитые овчиной), может с улыбкой сказать мне: *господин пробст, у нас с вами слишком разные обстоятельства. вспомните возраст, положение, прошлое, будущее, вспомните свой пасторат и мой десятифунтовый посох — слишком все разное, чтобы нам одинаково понимать мораль...* Может быть, это в самом деле трусость... А он, в сущности, и не пьян... он даже просит разрешения закурить свою трубку... Черт его знает, что такое! Во всяком случае я ищу с ним примирения.

— На скольких языках вы говорите?

Я слышал, что их должно быть немало. Не помню, кто мне говорил. Наверно, Розенплентер. Теперь я хочу, чтобы он ответом купил себе прощение. Ха-ха-ха-а.

Он смотрит на носы своих башмаков и вытягивает губы грубочкой:

— *Свободно говорю и пишу?.. Не знаю. Это не простой вопрос.*

Ничего, он и скромным умеет быть.

— Я имею в виду, сколько языков вы знаете в такой степени, чтобы читать?

— *Ну... ежели считать мертвые языки за один... шестнадцать... или около того.*

Гм. Ну, это уж совсем не скромно. Только помнится, что Розенплентер именно столько и называл. И в

душе я донельзя и радуюсь и злюсь. Эдакий кусок золота. Эдакий мошенник. Эдакий сопляк...

— Это, конечно, удивительно... Но ваше понимание поэтического искусства вам следовало бы попытаться отшлифовать. Я прочел эти, ну, знаете, эти ваши две вещицы, что Розенплентер присылал мне. Позвольте мне сказать вам правду. Такому, как вы, молодому человеку, ежели опять-таки у него к тому же — кхм — имеются кое-какие способности, каковые, кажется, имеются у вас, правда — только на пользу. Правда о самом себе, я имею в виду. Эти ваши отрывки вообще никакая не поэзия. *Лес пьет, море тянет* и прочее, или как это у вас там было — разве же это поэзия?!

Вижу, он поднимает свои синие глаза и так внимательно на меня смотрит, что я даже немного оторопеваю, чувствую, что перед этим молокососом мне следует точно взвешивать слова. Ха-ха-ха-ха-а.

— Почему не поэзия? — спрашивает он с какой-то возмущительной легкостью. — Ежели смотреть на вещи с точки зрения жаждущего и ежели даже в библии так прекрасно сказано о питье?

— Какое место в библии вы имеете в виду? — задаю я встречный вопрос и разом чувствую, как меня обуревают нетерпимость, а сам при этом думаю: ах, вот как! Значит классических поэтов он себе в помощь не берет. Ибо тот, перед кем ему должно защищать себя, это я — старый сухарь, старый схоласт по части священного писания, старый церковный червь... Мимоходом я сам удивляюсь, что таким представляю себя в его глазах. Но я же знаю, я знаю: сейчас он оседлает брак в Кане Галилейской*. Любой университетский сосунок в его положении так именно и поступил бы. И я жду. Сейчас он подсунет мне эту дурацкую студенческую песню:

Und es sagte unser Heiland:
Wasser soll nicht Wasser sein!
Was war klares Wasser Weiland
Sieh, das wird zum roten Wein.¹

и так далее.

¹ И сказал наш Спаситель:

Вода не должна быть водой!

Гляди: что некогда было чистой водой,

Становится красным вином...

А он, пуская дым из своей трубки, говорит (черт, уж не иронически ли он говорит, а?):

— И у Павла в послании к евреям говорится в седьмом псалме шестой главы: «Земля, пившая многократно сходящий на нее дождь... получает благословение от Бога». Но, кстати... (и теперь, ей-богу, к легкому тону этого парня примешивается даже какой-то издевательский шелест), обвинения господина пробста направлены не по адресу. Ведь тот, которого он критикует, — не некий Петерсон, а древний Анакреонт. И я смею думать, что переложил его точно. Помните?

Нет. Я не помню. Я должен каким-то образом защитить себя (ха-ха-ха-ха-а) от этого прилипчивого знатока библии. Я говорю:

— Знаете, я не нахожу, чтобы Анакреонт был самым подходящим поэтом для того, чтобы его переложил столь молодой человек. Во всяком случае — здесь. Этого старого буяна и пьяную глотку, этого бродягу с хмельной головой. Чтобы не сказать хуже. Да-а. А еще того меньше он пригоден для переложения на эстонский язык. Ибо, чему хорошему учиться у него нашему эстонцу?!

Я не довожу мысль до конца. Я не договариваю: ни о какой другой литературе, будь у нее иная цель, а не только нравоучительная — ежели у вас подобное было на уме, для нашего эстонского народа вообще даже думать не стоит. По крайней мере в ближайшие сто лет.

Будто прочитав мою невысказанную мысль, он говорит (при этом сдвигает брови, сжимает рот в кружок и тарачит свои глазищи, не пойму — на меня или мимо):

— Господин пробст, я полагаю, что школьные книги — это одно, а прочие — это другое дело. Но и они появятся. Ежели уже есть люди, которые могут их делать, значит, и в оных книгах есть нужда. Ибо, думаю, иначе можно все безбожно проспять.

Может быть, я не до конца понимаю, что он при этом думает. Но я чувствую, что мне следовало бы с ним спорить, а я этого не хочу. Тем более, что он вдруг, по-детски улыбнувшись, добавляет:

— А что касается двух моих переложений, то они, поистине, слишком незначительны, чтобы о них стоило говорить.

Ну да, такие, как он, всегда так говорят, поговорим, мол, о других моих работах. Не будем говорить о тех, что у нас сейчас на языке. Они того не стоят. Они не огшлифованы. Они, знаете ли, сделаны в спешке и совсем между прочим.

— Правильно, — говорю, — и поэтому поведайте мне unter Anderm¹, что в последнее время слышно у нашего друга, господина суперинтендента?..

Я надеюсь, или скорее надеялся, что ежели я его ловко обескуражу вопросом, то, может случиться, узнаю нечто такое, о чем у самого Зонтага спросить не решусь: как далеко собирается зайти этот в общем сметливый человек, поддерживая пробста Рота и некоторых других интриганов. И чем дольше я беседую с этим неслухом, с этим Петерсоном, тем больше мне начинает казаться, что он — не тот, кем кажется. И, черт его знает, когда я все же задаю ему этот вопрос, чтобы подобраться к главному, я даже немного боюсь, как бы он не стал уж слишком стараться с ответом... К сожалению, и слава богу, сквозь дымовую завесу своего доморощенного табака он отвечает:

— Последнее время я ничего не знаю. Потому что с последней весны я был у господина Зонтага только однажды. Сразу после того, как ушел из университета. И господин суперинтендент так строго меня за это отчитал, что я не считал возможным ходить к нему, портить ему нервы...

И по сему поводу этот малец улыбается невинной ангельской улыбкой, которая должна означать, что он великодушно прощает суперинтенденту горячность...

Я спрашиваю:

— А почему вы вдруг оставили университет?

Я чувствую, что именно за это его и следует корить, и все же не хочу этого делать, и сам сую ему в рот причину:

— Наверно, из-за недостатка денег? Как чаще всего...

Но этот верзила выплевывает мое предположение и говорит со своей ангельской улыбкой:

— О, нет. Господин суперинтендент меня и дальше

¹ ...между прочим (нем.).

поддерживал бы. Но, знаете,— я уже раньше объяснял вашей супруге,— там нечему было учиться...

— То есть как? Уже через полтора года?!

— Ну да. Ничего такого, ради чего стоило бы жить в Тарту и ходить на лекции. Ибо все, что там читается, можно найти в книгах. Тех самых, по которым учились и ваши профессора. И даже гораздо более новое, чем их болтовня,— простите меня.

— Хм. Ну, должен сказать...

— *Кара, а говорил тебе этот Петерсон, что он потому оставил университет, что там нечему было учиться?*

Я поднимаю на Кару глаза от своей тарелки со студнем. Кары нет. Кара вышла из-за стола. Я не заметил, когда. Я не знаю, куда. Я снова смотрю в тарелку...

— Гм. Послушайте, вы, говорят, пишете стихи на эстонском языке. Это правда? — спросил я.

— Ммм... да. Я написал на пробу около двадцати песен...

Я отодвигаю тарелку. Я поднимаюсь из-за стола. Сидящие смотрят на меня.

— Папа, куда ты? — спрашивает Анита (я зову ее теперь большей частью, как и Кара, Авитой).

— Продолжайте спокойно ужинать. Мне пришла одна идея.

Я возвращаюсь к себе в рабочую комнату. У меня нет никакой идеи. Я нахожу погасшую трубку, высекаю огонь и зажигаю ее. Я стою в комнате у окна и представляю себе, как он сидит возле моего стола, нога на ногу, в руке трубка. Я говорю:

— Вы не хотели бы прочитать какие-нибудь?

Не потому, что у меня бог знает какой пламенный к ним интерес. А все же, ежели подумать, как мало стихотворцев, пишущих на эстонском языке, не считая борзописцев из духовенства, подобных Фрею.

Он не заставляет себя долго упрашивать. Однако он не принимается и с особым восторгом извергать из себя свои песни. Он встает. Его мысли будто где-то в другом месте. Он читает мне по памяти несколько песен. Довольно бесчувственно, должен сказать. Но именно поэтому — приятно. Ибо я не терплю взволнованного тона и дрожи в голосе. Будь то на церковной

кафедре или на сцене. И при чтении стихов. Все равно. Так что со стороны исполнения все это даже располагает к нему. Но, милый мальчик, это же никакие не стихи! О языке я не говорю. На слух он у тебя до удивления чист, хотя в нем встречаются некоторые глупости южного диалекта. Но я уверен, начини я твой язык читать, в нем окажется полно орфографических ошибок и странностей. Но я говорю, языка я не буду касаться. Но сами стихи. В них нет ни рифмы, ни толкового размера! Конечно, я знаю: Давид, Соломон, Оссиян *, Клопшток... Однако, господин Петерсон, дитя мое, разве можно рядом с ними говорить о тебе?! А? Разве ты сам сможешь себя поставить рядом с ними так, чтобы при этом не покраснеть? За их спиной — тысячелетия, целые культуры... А у тебя?! Ну да, эта соломенная подстилка, что у тебя за спиной, — я думаю о скуке здешних народных песен, о монотонности их соломенного плетения, которое ты стараешься то здесь, то там, так сказать, всунуть в свои песни... Прямо используешь, или как-то немного его изменив...

Как это у тебя:

Вот и осень дохнула
хладом стран полуденных,
и цветы увядают.
Знаю: милость господня
к радости человека
возродит их весною,
луг цветами украсит...

Ну да... как будто есть в этом что-то... Милость господня... не для меня ли ты выбрал этот кусок?.. Сам ты, видно, не слишком ревнивый служитель господа, ежели с теологии переехал на филологию и даже против желания Зонтага?.. И там не нашел ничего, стоящего изучения... Размазня... (Но и чрезмерно рьяных божьих служителей я тоже не перевариваю. С богом, прежде всего, нужно быть умеренным.)

Потом своим невыразительным тоном он произносит пророческие слова:

Горы тоже не вечны:
в легкий прах обратятся
их могучие главы...

(главы-главы-главы — почему главы, ежели головы куда красивее?)

И орлиные гнезда
ветер сбросит в пучину...

Хм —

кто там в золоте утра
тихо скользит над морем,
в белопенной пучине
легким крылом купаюсь?..

Ха-ха-ха-а-а... Это уж вовсе мило... Орел, легким крылом купаюсь... Хм... Сам ты жук, купаешься на легких крыльях, скажу я, в белопенном пушке и сдуваешь с него пивной душок. Услышав стук в дверь, он сразу умолкает и садится...

Это Кара. Она несет мне сюда, в рабочую комнату, кофе. В семь часов, как каждый день, ежели мне случается в этот час быть дома. Увидев, что у меня Петерсон, она приносит чашку и для него. Однако встать сей шестнадцатизычный малый догадывается только тогда, когда Кара уже выходит. Ну, в этом отношении и наши студенты ненамного лучше этого верзилы...

— Валяйте дальше.

Совершенно очевидно, что мысли его где-то в другом месте. А я хочу еще немного послушать эти его опусы. Чгобы быть уверенным в своем решении.

— Продолжайте, господин Петерсон, я слушаю.

Порыв ветра бьет мокрыми полами дождя по оконным стеклам, по забору в саду, по мельнице, плотине и дамбе. В сумерках я слушаю его глуховатый голос:

Плачет год уходящий...
В путь его провожая,
долгие, злые ливни,
осепи хмурой дети,
на печальные реки,
на волны седые моря
с небес низринутись черных...

(Но-но-но, теперь уже само небо устраивает для него постановку, расставляет декорации и пускает в ход ветровую машину... Нет, не купить ему меня дешевой случайностью! Нет!)

А беспокойные ветры
песнь завели о смерти..

(Ну и что? Ведь про это уже тысячу раз сочиняли стихи. И здесь у него нет ни малейшей поэтической дисциплины. Это даже удивительно — у такого образованного человека. Ах, долгие, злые ливни у него осени хмурой *getu?*.. Нужно выяснить, что это еще за хмурые, у Хупеля, насколько помнится, этого слова нет.)
Ого-о...

Накатываясь на скалы,
волны режут седые,
пенятся и со стоном
падают вниз, в долину.
Так же и песнь: подобна
воплям стихий поднебесных,
ужасным раскатам грома...

(Слава богу, что голосом ты не стараешься подражать реву. Но и при твоём спокойном, глухом голосе такие слова в эстонских стихах чужды поэзии. Ежели они понимаются всерьёз, как у тебя. Или, может быть, им вообще все такое чуждо. Все, что хоть чуточку содержательнее, чем бредни Фрея и ему подобных?..)

Песнь широка, могуча,
ручью огневому подобна...

(Ого... песня — ручей огневой, это само по себе, может стать, и не плохо... Только почему же эти самые вопли стихий поднебесных превратились вдруг в ручей, пусть хоть огневой?! А не слишком ли прозрачно здесь имеется в виду наш молодой стихотворец, а?!)

Певец, точно яркий светоч,
стоит в окружении братьев
и на струнах бряцает...

(Ну, ясно! Ох, бедный мальчик, как велики твои претензии, какие же тебе предстоят разочарования! Ты бы исторг у меня слезы, ежели бы не заставил смеяться. *Не знаешь ты чувства меры!*)

За мокрыми оконными стеклами уже непроглядная тьма. Только на северо-западе, над Курским и Пуурманским лесами кровавая полоса заката.

...Неужто язык мой родной.

Вдруг ты рукой ударяешь плашмя по крышке старого зильбермановского клавесина, так, что покачнулась лампа и несколько мгновений гулко звенят струны. И я слышу, что твой голос дрогнул... От чего-то, должно быть, еще большего, чем твоя воля, кажущаяся тебе столь невероятно важной...

Неужто язык мой родной
не может на крыльях песни
взвиться до синего неба?
Неужто он никогда
Вечности не коснется?

Отчего же не может?! Конечно, может! Даже должен! Однако неведомо тебе чувство меры. Тридцать лет я изучаю сей язык! Сорок лет я пишу на этом языке. В два раза дольше, чем ты дышишь. Я написал на нем тысячи страниц, тысячи страниц! — знаешь ли ты, что это значит? — и уничтожил их, потому что все было не больше чем письменные упражнения! А теперь являешься ты (и тебе известно, какие у меня отношения с этим языком), теперь являешься ты — на шее платок в крапинку, за душой — двадцать лет и двадцать песен — и *передо мной начинаешь до небес превозносить сей язык...* Передо мной, который сорок лет, ни одного дня не пропустив, ежедневно думал над удивительным его строением и искал в нем путей...

Я начинаю:

— Господин Петерсон, вы еще очень молоды...

Я хочу сказать ему правду. Я хочу указать ему его собственное место. Я не хочу говорить, что нам не положено создавать того, что самим господом нам в уста вложено, я хочу сказать про то, что мы сами с собой делаем. Я хочу привлечь себе в помощь старика Гете, ежели сей малец мне не поверит. Я знаю, он мне не поверит. Такие ведь никогда не верят тому, что им говорят на основании слыта. Как раз нынешним летом я прочитал где-то у Гете: *Gaben — wer hätte sie nicht? Talente — Spielzeug für Kinder. Erst der Ernst macht den Mann, erst der Fleiss das Genie*¹, и так далее. Я нахожу нужные слова. Я это чувствую. Я же в самом деле же-

¹ Дарованья, талант — это все побрякушки пустые,
Лишь трудом и серьезностью гений бывает рожден (нем.)

лаю мальчику только добра. Потому что он — из тех бестактных, которые в своем бесстыдстве все же не заходят слишком далеко и притом к чему-то способны. Он кончил читать стихи. Очень хорошо, что последним было стихотворение (ежели это можно считать стихотворением) о языке. Оно свидетельствует о том, что судьба эстонского языка лежит у него на сердце. Так же, как и у меня. Он стоит у моего стола. Его бледные щеки слегка порозовели. Я отхожу от окна. Становлюсь перед этим мальчиком. Он так близко от меня, что пивной запах его дыхания вполне может дойти до моего носа. Пусть. Я прощаю ему. Может быть, у него есть на то свои причины. Не думаю, чтобы мне все было про него известно. В свою защиту он привел мне Павла. Ха-ха-ха-ха-а... В его защиту я мог бы процитировать ему мать Соломона. «Дайте сикеры* погибающему и вина огорченному душою; пусть он выпьет, и забудет бедность свою, и не вспомнит больше о своем страдании». Может быть, сии слова и к нему относятся. Но мы осуждаем хитрости царицы-матери. Мы не поддерживаем правителей, когда они спаивают своих подданных, чтобы оные не видели своих бед. Как это делают господа помещики со своими крестьянами. Мы за то, чтобы у крестьян был ясный разум, чтобы они остро видели свои невзгоды. Я начинаю:

— Господин Петерсон, вы еще очень молоды...

И этот мальчик — он все еще смотрит в пол — поднимает свою угловатую голову, смотрит на меня сверху вниз бестолково выпученными, радостными глазами и смеется мне в лицо, дышит — пх-пх-пх — на меня пивным запахом, который я все время боялся снова почувствовать, и смеясь говорит:

— Да, господин пробст, с его недостатка я не скрываю!

У меня готов ответ, который даст мне возможность обратиться к моему намерению и повести разговор о его месте. Бесполезные слова. Я знаю. И все же — мостик: сей недостаток, мой молодой друг, единственный, который с течением времени проходит...

При этом я вполне понимаю, что, по его мнению, должны означать его слова, — ежели не почему-нибудь иному, то уж, во всяком случае, по ударению, которое

он делает на слове с е й. *С е г о недостатка он не скрывает.* Значит, он вовсе и не считает свою молодость недостатком! Напротив, по его мнению, это преимущество. Ибо оно дает ему заветное право на беспечность. Заветное право на безрассудство, исходя из которого он ведет разговор с господом и возносит на небеса эстонский язык! И рифмы считает ни за что! И шагает на ходулях — слева под мышкой эстонская, справа — греческая — через ритмы и строфы, будто они — телячья изгородь... А ежели сей недостаток есть добродетель, тогда другие недостатки, те, что присущи другим людям, они, известное дело, недостатки серьезные. Как-то: *шестьдесят лет и любовь к порядку.* Я отлично это понимаю. Только вида не подаю. Я хочу сказать ему спокойно, твердо, по-отечески: его версификации не больше, чем попытки с добрыми намерениями. И ежели наряду с философическим трудом в науке он всенепременно желает ими заниматься, пусть занимается. Но пусть напишет их не два десятка, а две сотни. И отберет из них двадцать. Отберет десять. И принесет их мне показать. Господи боже, сколько я написал немецких, латинских и греческих стихов в Торгау и Хаале. Но никогда я не был так глуп, чтобы считать, что все их немедленно следует напечатать в «Саксонском Меркуре»... Пусть привыкает к перу. Время от времени пусть читает. И не всяческих там оригиналов последнего времени, скажем, того самого, да как же его зовут... который теперь будто бы в сумасшедшем доме... Гельдерлина. Пусть читает Гете, ну и Шиллера тоже. Но еще больше пусть читает менее великих, но более ясных, тех, помельче, которые лучше отвечают размерам и потребностям нашей страны, Геллерта, Пфедфеля. Эстонских произведений у нас, разумеется, пока еще нет. (Не могу же я сказать ему, чтобы он читал «Косолапого» Отто Виллема Мазинга. Уже в силу того не могу сказать, что еще не успел сунуть его в газету. С неделю назад читал его своим. Хольману, нашим церковным и слугам. Мельника с подмастерьями тоже позвал. Субботним вечером. Больше дюжины было слушателей. В кухне. Все досыта насмеялись. И очень хвалили. Впрочем...)

И когда, обдумывая ответ, я дошел до этого места, меня вдруг охватило странное чувство. Это был злоб-

ный, парализующий стыд... (Перед кем, перед кем?! — хочется спросить...) У меня перед глазами мелькнула дурацкая картина: под яблоней, на задних лапах, в куче собственного дерьма стоит Косолапый и тянет передние вдоль ствола кверху. А на вершине дерева раскачивается сей парень, на спине у него большие серые воробьиные крылья, он грызет сочное зеленое яблоко... Кругом сад лохусууского кистера... И яблоня выросла огромной, но я узнаю ее: это старая анисовка батрака Яана... Я чувствую, что непроизвольно у меня уже готов другой ответ этому парню. Или, вернее, вопрос к нему. Множество к нему вопросов. *Что он, в сущности, себе думает? К кому он является в таком виде, что от него разит пивом? Перед кем он фиглярничает своими желторотыми пробами пера? Ибо они и есть не больше чем проба пера желторотого франга.* Да! И в то же время я чувствую, что мне как-то прискорбно сие высказать ему. И вместо этого спрашиваю у него (теперь мне кажется, громче, чем следовало):

— А известно вам, что в Санкт-Петербурге, в оберконсistorии составлен список тех лифляндских пасторов, которые в силу их нежелательного умонастроения подлежат отстранению от должности? Известно? А известно вам, что мое имя названо одним из первых? Известно?

Этот мальчик стоит передо мной у моего стола. Он не отвечает. Он смотрит на меня, погом на стол и играет гириями, которыми я взвешивал свой небесный камень. Я спрашиваю:

— А вы знаете, что в прошлый вторник говорилось обо мне за обедом у ваймелаского Рихтера? Там было одиннадцать помещиков со всего округа. И там было сказано *expressis verbis*: сего проклятого Робеспьера однажды все же следует ткнуть носом в грязь? Давно пора!

И невольно улыбнулся, несмотря на угрозу, которая меня тревожит. Ибо в том, что Рихтер и его присные считают чудовищным поношением (и что в какой-то мере так и есть), содержится, вопреки их желанию, некая почтительность.

Он быстро взглянул мне в глаза и засмеялся. Я даже не пойму, хитро или бестолково. Он берет со стола мои часы с репетиром, по которым я утром следил,

как мои земные и небесные камни реагировали на кислоту. (Его собственные часы, поди, заложены в рижском ломбарде.) Он поднимает на меня глаза и говорит так, как будто он уже не здесь, а где-то в другом месте:

— Благодарю вас, господин пробст, за то, что вы потратили на меня время. Нет-нет. Большое спасибо. Ужинать я не останусь. Теперь я пойду. До свидания.

И прежде чем я успел что-нибудь сказать, его и след уже простыл.

9

Придется мне обратно идти тем же кружным путем, что и сюда. Прямую дорогу от пастората на тракт в эдакой темноте не разглядишь. А утром пройденный путь еще как-то помнится.

Идти обратно?..

Стою в кромешной тьме у господского дома, возле реки. Где-то здесь, слева, должна быть мельничная плотина, вода так клокочет, будто из нее сама темнота выкипает. Наверху, за моей спиной, огни в окнах дома заслоняет черный орешник.

Здесь мне нельзя оставаться. Ибо я дал себе слово, когда к вечеру шел сюда из Пухталеэва, чтобы поспеть к шести часам. Может быть, и напрасно, но слово я себе дал: *на ночь под их кровлей не останусь*. На беседу к пробсту нужно было сходить. Раз обещал, что приду.

Глаза понемногу привыкают к темноте. Уже не спотыкаюсь на камнях, мокрых после дождя. Ощупью нахожу перила дорожки через плотину. Надеюсь, найду и тропу в раkitном лесу вдоль озера. Когда выйду на тракт... Но как хочется еще раз увидеть эту женщину. Заглянуть ей в глаза. При свете ясного дня. Чтобы решить, было ли на самом деле в ее глазах то, что я увидел... когда она принесла пробсту кофе в рабочую комнату и, перед тем как выйти, оглянулась и взглянула на меня — тот особенный, все предающий забвению зов, каким ни одна женщина еще никогда в жизни меня не звала... Еще раз увидеть ее тело, ее движения, самые красивые, самые непринужденные, какие мне

никогда еще не доводилось встретить у женщины...

Здесь оставаться нельзя... а не знаешь, как возвращаться в этой проклятой тьме... Даже ежели бы уже выбрался на тракт. Где-то там, над тучами, будто брезжит месяц, но здесь — ни зги не видать... Странный старик... Его рассказ про небесные камни уж очень какой-то чудной. И находит же время для такого... А с чего он под конец чуть ли не кричать на меня стал, перешел на список неудобных пасторов и на свое прозвище Робеспьер — никак не пойму... Не от того ведь, что уловил смысл моих песен... Наверно, не уловил... Подумаю об этом в другой раз. Сейчас нужно в оба смотреть, в какую сторону идти. Отдохнуть бы немного... Стой... Между тучами мелькнул зародыш месяца с восьмушку... Как же это я свернул от реки налево, вместо того чтобы перейти плотину?.. Когда же я выпустил из руки перила? Совсем не помню... Погоди-ка, за этим глухим амбаром, до угла которого я уже ощупью добрался, виднеется лофштель или два жнивья, при мелькнувшей вспышке луны — все серебряное от слез прошедшего ливня. На поле темнеют в ряд большие сушила, на них сложены скирды овса — такое и в дворянских усадьбах не часто встретишь. Но ведь господин Мазинг — самый рачительный хозяин в здешних приходах... Теперь опять тьма, хоть глаз выколи. А все-таки кое-что можно различить. Пройду от угла амбара пятьдесят шагов по мокрой, шелестящей стерне. Остановлюсь у первой скирды. Носком башмака, коленом, лицом нащупаю ее. Положу посох на землю. Вытяну руки и заберусь в теплую, сильно и сладко пахнущую пещеру. Вот уже свернулся клубком под шуршащей овсяной скирдой. Как будто сама ночь сразу так стустилась, что стала царапать лицо.

То ли в господском доме, то ли в людской собаки залаяли. Какое мне дело. Я здесь прямо как в материнской утробе. Все же лучше бы не кашлять, а то собаки еще пуще станут лаять. Трудно справиться, кашель душил. Хорошо, что как-то удается. Отдохнуть бы немного теперь... Странный старик... Может быть, мне следовало его спросить, что он думает о моих песнях? Или обождать, пока он сам что-нибудь скажет... Но

тогда мне пришлось бы остаться с ними ужинать... Может, сейчас сидел бы за одним столом с этой женщиной... С ними обоими за одним столом... Нет. Не хочу. Чудной старик... Но она такая женщина... Спиной чувствую, что снопы влажные. Чуть только шевельнешь головой, на лице — овсяные стебли, холодные, аж дрожь пробирает. Сквозь бахрому овсяных колосьев смотрю в темноту. Закрываю глаза. Господи, все время вижу одно и то же, хоть с открытыми, хоть с закрытыми глазами: вспыхнувшее лицо этой женщины, ее шею и грудь в глубоком вырезе над розами из навощенной ткани... Это от того, что сейчас, вечером, меня опять лихорадит. И тело кажется легким, будто оно стружками набито. Ох, даже еще легче... несмотря на глиняную усталость, все тело будто из дыхания самого господа сделано... А глаза, хоть и темно, видят... Сквозь ночь, сквозь толщу скирды, сквозь в локоть каменную стену дома, сквозь желтые квадраты шелка (scotch squaged¹ — это я знаю от моего Йоссея, от моего еврейского мальчика, подмастерья в тканевой лавке, и я у него кое-чему учусь), сквозь все вижу эту женщину обнаженной... Удивительно, откуда мне знать, как выглядит нагая женщина? Но я же видел голую женщину... Два раза, мельком, тем летом на Выйдумаа, когда мне было десять лет, — светловолосую девушку Мийну в бане старого Кикка, полной пара от каменки... Или это было другой раз, в молочной дымке рассвета, когда мы с Ало шли пасти... в дымке плыли коровы с сиреневыми глазами и белые стволы берез... и Мийна, по грудь в тумане, несла за нами наши мешки с едой... Нет, это на ней была рубашка... Да было ли все это?.. Может, это все мой лихорадочный бред... Но было и есть то, что песни мои, по мнению этого старика, никуда не годятся. Пусть он этого и не сказал прямо... *«Господин Петерсон, вы еще очень молоды»*... *«Господин пробст, ваша супруга совсем не считает, что меня следует корить за мою молодость... Слава богу, все-таки дрогнуло сердце, как стыдно, что такое приходит в голову. Нужно идти дальше. Потому что и здесь, под этим сушилом, все равно под и х кровом... Не знаю, а ежели бы лосенок вышел зимой из лесу и спрятался здесь от*

¹ ...шотландская клетка (англ.).

бурана (какая глупость, как же, испугается он тебе бурана. И овес здесь на мызе давно был бы уже сложен на зиму под навес), а все-таки, ежели бы он пришел и стоял здесь, значило бы *iure homano*¹, что это все равно что в хлеву господина Мазинга?.. Ну пусть, отдохну немного и пойду дальше. Еще задолго до полночи дойду до сарая возле пухталезвского трактира, в котором провел прошлую ночь. Это уже наверняка не их сарай... к сожалению и к счастью.

Собаки замолчали, класочет вода на мельнице... И не так уж печально, что, по его мнению, песни мои никуда не годятся. Да иначе и быть не могло... *Лжешь! Лжешь! Лжешь!* Почему не могло быть иначе?! За последнее время это самая для меня грустная история... Пойми он хоть что-нибудь из того, что я стремился вложить в них, может быть, я смог бы с грехом пополам составить маленькую книжку, одну маленькую книжку. Дуновение его похвалы придало бы силы моим крыльям... Дербек вырезал бы на дереве виньетку для титульного листа — солнце и птицу, как я ему говорил... Песни Кристиана Яака Петерсона... Напечатаны в городе Риге в 1822 году... В сущности тощая книжонка, на шершавой, серой бумаге, но все же... А теперь — наверно, вообще, никакой... Ладно. Подумаю об этом другой раз. Слышу, как колотится сердце: грох-грох-грох-грох... Опять между туч мелькнул серп луны... грох-грох-грох-грох. Как будто чьи-то легкие, стремительные шаги по шелестящей стерне. А кровь в ушах не стучит, не слышу. Каждый вечер, когда начинает лихорадить, слышу. А сегодня не слышу. Это от того, что мельничный ручей рокочет в темноте особенно громко. Только: грох-грох-грох-грох...

Яак? Яак, вы здесь?..

Грох-грох-грох-грох...

Я видела ваши следы по мокрому полю. При луне. А теперь — ваше лицо. Здесь.

Грох-грох-грох-грох...

Опять не видно ни зги. Она протягивает руки в отверстие сушила. Наклонясь, входит под крышу из снопов. Бегущими пальцами касается моего лица. Садится

¹ ...согласно римскому праву (лат.).

рядом. Она говорит шепотом. Я не понимаю только ли то, что я сознаю, или еще что-то, чего я не слышу от того, что так колотится сердце.

— Яак... я просила вас прийти к обеду. Я просила вас прийти к ужину. Почему вы бежите меня? Разве я в самом деле отталкиваю вас! Или так велик ваш страх перед пробстом?..

Спроси она это хоть чуточку насмешливо, у меня было бы право отстраниться от нее, не только из-за себя, но и из-за пробста. Но в ее вопросе нет даже тени насмешки. Ни крошки иронии. Ее горячий шепот полон детской тревоги. Это явно говорит о том, что она сама боится пробста. И это меня не отталкивает от нее. Это чудесно соединяет нас в грозной близости нашего одиночества под душным ворохом колосьев... Я чувствую, что не леденею внутри. Не прирастаю к месту. Ликуя, я хочу большего, господи, я хочу большего, ежели ты сам даришь мне это искушение и чудо...

Я беру ее руки в свои, руки этой прелестной женщины, этой удивительной женщины... Бог мой, никогда в жизни такое со мной не случилось... Руки у нее прохладные, гладкие, узкие. И волнующе сильные. Она не пытается отнять их.

Я что-то ей говорю. Я не знаю что. Знаю только одно: что это серьезно. Что это идет у меня из души. Ибо притворяться я не мыслю, комедиантствовать — не умею. Может быть, я шепчу только:

— Вы...

Я сжимаю ее руки... Мне кажется, что я шепчу: Вы... душа моя... Мне кажется, что я молюсь: Ты, всемогущий Боже, Ты — непреходящее Милосердие, Ты — Дух вселенной, *сделай, чтобы в том, что я сейчас делаю, не было даже самой малости от мести ее мужу за то, что он отверг мои песни! Сделай...*

В это самое мгновение господь своим перстом ударяет меня в грудь.

Этот удар я едва чувствую. Как подспудное содрогание где-то глубоко внутри. Где-то между сердцем и горлом. Я хочу сказать: душа моя... что же с нами будет? ...мне особенно радостно оттого, что я погружаюсь в беспредельность моей беспомощности... и ее бес-

помощности... мне ответить. Я шевелю губами и с опозданием чувствую, что во рту у меня что-то соленое и теплое...

— Ради бога, Яак, что это?!

Я отворачиваю лицо, чтобы не залить ее платья. Я пытаюсь это проглотить. В испуге, в отчаянии я громко говорю:

— Кровь!

10

Я помню, мама рассказала мне за неделю до своей смерти, что после того моего первого и последнего катания на лодке по Неаполитанскому заливу ночью я встала во сне (наша гостиница стояла на берегу), вышла в сад и спустилась по лестницам к морю, так и не проснувшись. Мне кажется, что когда я встала из-за стола и пошла искать Яака, где-то глубоко в моем сознании мерцало это воспоминание. И особенно, очевидно, в тот момент, когда я стояла на ветру, в совершенно темном дворе и думала, куда же мне идти.

У меня не было ни ясного решения, ни твердого плана. Кроме желания непременно его найти. Теперь мне вспоминается, что в голове у меня мелькали отрывочные, смутные картины, над которыми можно было и смеяться и плакать: залитый слякотью тракт... его длинные ноги летят по воздуху над этой слякотью, как иногда летают люди во сне... и рядом мои ноги, по щиколотку увязшие в грязи... Солнечные пятна на заплаканном лице Аниты... маленькое, мокрое от дождя окошко в пестро-серой каменной стене над чьими-то чужими крышами... И за всем этим — мой собственный голос, мне самой твердящий: *tutto è possibile*¹... Я повернулась лицом к большому тракту, к озеру, к полям. Спотыкаясь, ощупью спустилась к реке. Не знаю уж почему. У меня не было ни малейшего представления, куда мне следует идти. Я не смела позвать его. Мог кто-нибудь услышать. Я спустилась к реке. Нащупала

¹ ...все возможно (ит.).

перила вдоль дорожки через плотину и перешла реку. Когда перила кончились, вместо того чтобы идти дальше, я повернулась и пошла обратно. Я стояла на плотине над дамбой и слушала, как клокочет вода. Одно только мгновение. Я вернулась обратно на этот берег, стояла в крошечной тьме, всем своим существом вслушиваясь — ушами, телом, волосами, — и направилась вдоль берега к мельничному амбару. Сама не знаю почему. Из-за туч на мгновение выглянула луна. И я увидела четкие следы размашистых шагов, которые вели поперек серебрившегося поля к первому сушилу. По шелестевшей стерне я пошла по следам. Я и половины расстояния не прошла, как месяц снова исчез. Когда я подошла к сушилу, был непроглядный мрак. Рукой я нащупала отверстие.

— Яак? Яак, вы здесь?

Он не отвечает.

— Я видела ваши следы. По мокрому жнивью. При свете луны. А теперь — ваше лицо. Здесь.

Он не отвечает.

Но я же вижу его лицо. На самом деле. Большое бледное счастливое лицо. В полной темноте.

Я вхожу внутрь сушила. Протягиваю в темноту руки. Его лицо здесь. Горячее, шершавое, обросшее щетиной лицо. В самом деле здесь. Святой Дженнаро, откуда у меня право прикоснуться к его лицу?!

Я сажусь на землю рядом с ним. Мне хочется сказать: видите, Яак, я пришла к вам. Я пришла, как сомнамбула. Я хочу проснуться. Не в том мире, откуда я иду. А в том, куда я пришла. Но вместо этого я говорю:

«Яак, я приглашала вас к обеду. Я приглашала вас к ужину...» О боже. разговор об обедах и ужинах, такой жалкий, такой фальшивый... Это и раздражает меня, и в то же время освобождает, он мне не отвечает.

«Почему вы бежите меня?» (Господи, что я говорю! Куда девалась моя воспитанность?!)

Он не отвечает.

«Неужели я так неприятна вам?» (Боже, что со мной? Где мой стыд? Я же порядочная женщина, я — жена высокого духовного лица?..)

«Или так велик ваш страх перед пробстом?»

Я сама боюсь Отто. От страха у меня отнимаются руки и ноги. От того, на что я готова. Только мой страх далеко, по другую сторону каменных стен в локоть толщиной, и этой тьмы, и пахучей толщи злаков... (Святой Дженнаро, почему я спрашиваю, не боится ли он?.. Святой Дженнаро, но в моем вопросе ведь нет ни капли, ни капли иронии или навязчивости?!)

Мне хочется схватить его за руку, чтобы за что-нибудь держаться. Он шепчет: душа моя! Как будто каждый стебелек, каждая частичка тьмы его устами шепчет душа моя...

И тут у него изо рта хлынула кровь.

— Яак... ради бога, что это?

Он не отвечает. Но я уже понимаю, что это. Я цепенею от ужаса. С огромным трудом заставляю себя оставаться спокойной. Потому что нельзя его пугать. Мне нужно что-то предпринять.

— Лягте на спину! Только осторожно! — Я пытаюсь ему помочь. — Идет еще кровь?

Он не отвечает. Лучше его ни о чем не спрашивать. Сейчас.

— Это у вас впервые? (Господи, мне же нельзя ничего спрашивать. Чтобы ему не нужно было говорить.)

Он качает головой. Изо всех сил я стараюсь вспомнить, что в таких случаях следует сделать. К счастью, я немного ухаживала за больными в приходе у Отто. Петцольд — ракверский окружной врач — учил меня: чахоточным больным прежде всего дать одну-две ложки поваренной соли. Холодный компресс на грудь. И неподвижно лежать... Но мне ведь не донести его до дому, да я и не смею... Я ощупываю себя и свою одежду. Чувствую, что платье у меня в его крови... Всемогущий боже, что же мне делать?!

— Не волнуйтесь. Не двигайтесь. Я сбегая домой, принесу соли. И холодный компресс. Я сразу же вернусь.

Он сжимает мою руку и с трудом, шепотом произносит:

— Осторожно... Вы, наверно, в крови...

Сквозь кусты мерцают огни в доме. Я бегу через темное поле. Никем не замеченная вхожу в дом. Запи-

раю дверь спальни на задвижку и зажигаю огонь. Господи...

Я действую молниеносно. Я не даю себе времени удивляться, что справляюсь со всем. Снять платье. Скатать. В ящик с бельем, поглубже. (Потом нужно будет положить в холодную воду. Иначе никогда в жизни не отстираешь.) К счастью, в кувшине есть вода. Быстро сполоснуть лицо и шею. Полотенце. Из гардероба — серое припеленное платье. Из комода — полотняные лоскутья нужного размера. Деревянное ведро, в него вылить воду из кувшина... Ни о чем другом не думаю. Только где-то далеко, в самой глубине сознания, будто глухой барабанный бой в военном лагере по ту сторону леса — глухо гудит угроза страшной беды... Слава богу, все! А соль! Отпираю задвижку и выглядываю в коридор. Вблизи и вдали звучат голоса домочадцев. Заглядываю в открытую дверь столовой — общество как раз начинает расходиться после ужина: Антон и Элеонора идут в библиотеку, Еше, стоя, разговаривает с кем-то в столовой. Я вижу его спину в коричневом сюртуке и заросший затылок. Такой неудачный момент. Никому из домочадцев я не могу показаться на глаза. Вижу, в коридоре мелькнула Анита, идущая в кухню.

— ...Анита!

Она оборачивается, видит меня и бежит ко мне. Я тяну ее в спальню.

— Мама, что с тобой?..

— Ничего.— Я улыбаюсь и глажу ее по голове.— Поди, принеси мне из кухни суповую ложку и горсть столовой соли! Если сестры или кто-нибудь другой спросят, где я, скажи, что ты не знаешь. Беги скорее. Потом я тебе все объясню.

— Сейчас принесу, мама.

— Ты хорошая девочка.

Она уходит. Я снова задвигаю задвижку. Я смотрю на стенные часы с крохотными ангелочками и считаю минуты. Одна минута. Две минуты. Три минуты. Я бросаю взгляд на постель, свою супружескую постель, и вдруг до моего сознания доходит... Чувствую, что у меня горит лицо, и шея, и грудь... от холодной воды, жесткого полотенца и болезненного смущения... Пять ми-

нут. Шесть минут. Боже мой, неужели так долго принести горсть соли и ложку!

Анита пытается открыть дверь. Я впускаю ее. Пересыпаю соль в носовой платок и завязываю его узелком.

— Мама, чем ты запачкала свою пелерину?

Она приподнимает подол моей пелерины... На нем длинное, темно-красное пятно.

— Ой, вижу, правда... Я ходила в кладовую, девушки сварили краску из корней подмаренника и налили ее в ковш. Я нечаянно плеснула на себя...

— А она отстирается?

— Отстирается, конечно.— Я вешаю пелерину поглубже в гардероб, за платья.— Теперь иди, Анита!

— А ты куда?

— Я же сказала, что расскажу тебе потом. И после ужина ты меня не видела.

Анита исчезает. Слава богу, теперь все. Ах, нет. Нужно взять с собой огонь. Открываю дверь — коридор пустой. Бегом приношу из передней фонарь. Вставляю в него горящую свечу. Набрасываю черную, будничную пелерину, хватаю ведро, прячу фонарь под полую пелерину, чтобы кто-нибудь не увидел меня из окна.

По жнивью половину расстояния я прошла в темноте. Мне страшно. У меня несколько страхов. Множество страхов. Что, может быть, он умирает. Что то, что я делаю, не только долг сестры милосердия, но и грех, грех, грех! Что у меня ушло так чудовишно много времени... Наверняка полчаса. И что меня можно увидеть из окна. Потому что, когда я почти бегу — в одной руке ведро, а другой под пелериной прижимаю к животу фонарь, — вокруг меня на стерне колышется и вместе со мной движется мерцающий круг. Прямо как... Несмотря на спешку и страх, мне приходит в голову испугавшая меня и в то же время смехотворная мысль — будто я беременна светом... И твержу себе: кровотечение у него прекратилось — пре-кра-ти-лось, пре-кра-ти-лось... Его жизни опасность не грозит, не грозит, не грозит... И тут же, где-то, на более низких регистрах — *pianissimo mai vivissimo*¹: я могу давать

¹ ...совсем тихо, очень оживленно (*ur*).

уроки пения, учить языкам, варить еду, катать белье, мыть полы, колоть дрова... (нет, этого я как следует делать не умею...), но я все же предприимчивая женщина... Я что-нибудь придумаю. Как же мне перенести его в дом? За библиотекой каморка протоплена. Постель постлана... Он хотел уйти. Потому что скверно себя почувствовал. И началось кровотечение. Где-то здесь, неподалеку от дома. Так ведь все было... А теперь он должен лежать у нас. Завтра велю вызвать из города доктора. Он подтвердит, что его жизнь уже вне опасности... Поскольку ему вовремя дали соль и вовремя положили на грудь холодный компресс... Я наклоняюсь и вхожу в сушило...

— Яак...

Я ставлю ведро на землю и достаю из-под пелерины фонарь.

Его нет.

Сушило пустое.

Я ставлю фонарь на землю и прислоняюсь к перекладинам. У меня такое чувство, будто я с разбегу наткнулась на непробиваемую и невидимую каменную стену.

Неужели он в самом деле бежал от меня?! Опять бежал... после того как прошептал мне: душа моя. Бежал, несмотря на смертельную опасность?! Должно быть, у него была какая-то страшная причина, если он сбежал... Что же это могло быть?.. Как будто я зачумленная... И вдруг ясность, как солнечный луч, пронзает мою слепоту... Не от меня, а ради меня он сбежал! Чтобы спасти меня, он сбежал! Смертельную опасность, запрещающую ему двигаться, перевесила опасность, грозящая мне. Если я тайно от Отто и всех остальных попытаюсь о нем заботиться...

Я кидаюсь прочь из сушила. Я выбегаю наружу и смотрю во все стороны. Ночь непроглядно темна. Я высоко поднимаю фонарь. Мой жалкий огонек освещает только крошечную серую пустоту под черными сводами мрака. Я снова опускаю фонарь к земле. На окружности в локоть — сжатые стебли и тени от них торчат попеременно. Не может быть и речи о том, чтобы увидеть следы. Я выпрямляюсь. Я зову его раз, другой, полупшепотом, вполголоса, потом громче:

— Яак! Яак! Яак!

Никто не отзывается. У дома начинают лаять собаки. Черный пес Антона, рыжая легавая Еше. Еще какие-то собаки, где-то дальше... Господи, я же не смею бежать домой и послать людей с собаками по его следам... Я стою с дрожащим глазком фонаря посреди поля. Я ничего не могу сделать. Ничего. Я укрываю фонарь пелериной. Господи, сделай, чтобы он не умер! Чтобы кровотечение прекратилось! Чтобы он дошел до чьего-нибудь крова... Душа моя... Господи, сделай что-нибудь! Если меня ты сам приковал к этому месту...

11

...Итак, уважаемый коллега — я имею в виду, разумеется, Вашу церковную должность, а не Вашу цензорскую деятельность,— самым настойчивым образом я повторяю свое предложение; чтобы Вы немедленно разрешили печатание «Мифологии» сего Петерсона. Я имел приятный случай лично познакомиться с автором...

...Ух, ты! Уже половина двенадцатого, а это чертово письмо все еще не написано. Однако же письмо по поводу моих таблиц для чтения, с божьей помощью, уже готово. Дьявольски утомительный день... И послезавтрашняя проповедь совсем еще не продумана... Правда, и письмо в Экономическое общество тоже уже готово, вон там, под сургучной печатью. В письме — сведения про небесный камень, все точь-в-точь. И все пробы небесного камня и валуна в лучшем виде уже запакованы в бумагу, уложены в коробки и запечатаны сургучом... Завтра Лангхаммер небось снова будет ругаться, что, мол, опять этот проклятый старый Мазинг забил всю тартускую почтовую контору своим, бог его ведает каким, хламом... Итак:

я имел приятный случай лично с ним познакомиться, и смею Вас заверить...

...Даже перо и то артачится, не хочет просить этого барана Морица! Да разве в таком случае просьба поможет... А я и не стану его просить! Нет! Sacrament¹! Угрозой заставлю его сделать, что нужно! Он же у меня в руках!

¹ Проклятье (лат.).

...смею Вас заверить —

...Э-эх!.. Просто я слишком утомился... Весь день сегодня (мало того, что столько вчера исколесил) мучил меня этот парень своими песнями... Какие-то яркие зернышки в них у него, может быть, все же есть... Только тут же... Кхм...

Неужто язык мой родной
не может на крыльях песни...

О подобном святом деле такими праздными словами... Выпороть его мало...

... и я смею Вас заверить: *bude, exempli causa*¹, сей Петерсон захотел бы через Вас напечатать свои песни, то, оставив оные за воротами, Вы не лишили бы здешний читающий народ чего-либо существенного. В силу того, что они суть просто-напросто безвкусные и недисциплинированные пробы молодости. По крайнй мере — до времени. Однако же его «Мифология» есть ясное подтверждение серьезного ума и талантов автора. Из чего, уважаемый коллега, следует...

Вот тут-то я и накину этой сволочи удавку на шею...

...из чего следует, и я питаю на это надежду, что Вы, уважаемый коллега, не преминете лично с усердием прочесть его «Мифологию». Ибо в сем случае наверняка не будет причин опасаться ее запрещения. Ежели бы Вы запретили ее, не прочтя, то неким лицам (я имею в виду тех, кто, возможно, полагает, что на Вашу должность — и на этот раз я имею в виду именно не Вашу церковную должность — что на Вашу должность может найтись и более подходящий человек, невзирая на то, что свои обязанности Вы выполняете со всем присущим Вам усердием), да, тогда этим лицам стало бы много легче плести ихние сети...

Может быть, я уж слишком прямо веду речь, однако же мысль свою я выскажу до конца:

...Ибо, как Вам, глубокоуважаемый коллега, гонимому известно, о чем мы с Вами изустно уже обменялись мнениями, — что, по крайней мере в трех Ваших письмах, ко мне отправленных, факты Вами представлены в искаженном виде, и сие неопровержимо свидетельствует о том, что по меньшей мере в трех

¹ ...в качестве примера (лат.).

случаях Вы запретили мои сочинения, не читая их. И ежели теперь некоторые добрые мои грузья в Тарту и в Санкт-Петербурге (собиратели курьезов, в то же время близкие грузья его светлости Ивана Семеновича), от коих нет у меня причин делать из Ваших писем тайну, смогут к прочим курьезам присовокупить еще и «Мифологию» Петерсона...

Ха-ха-ха-ха-а... Ну, поглядим, даст ли досточтимый господин советник консистории, треклятая тупица и навозный жук, даст ли он ход книге этого верзилы. Так или иначе, я сделал, что мог.

Ultra posse nemo obligatur¹...

12

Ступать нужно осмотрительно. Идти медленно... Покрепче опираться на посох. Каким же он стал невысимо тяжелым. Зажмурился глаза, сжав зубы. Это головокружение пройдет... Я уже вышел на проселочную дорогу, идущую налево. Рано или поздно она должна вывести на тракт. И тогда останется только медленно-медленно шагать... время от времени останавливаться, собираться с силами (никто этого в темноте не увидит), собираться с силами, находить равновесие и зажмуривать глаза, чтобы от потока мелькающих черных пятен на небе не уходила почва из-под ног...

Я должен идти. Хорошо, что удается. Пустое, что они там говорят о подобных кровотечениях, будто так уж они очень опасны. Я уже прошел шестьсот или семьсот шагов, и ничего.

Я должен идти. И я смогу уйти. Ежели мужчина принял решение, он его выполняет. Это хорошо, что я всю жизнь привык выполнять свои решения. Однако на совести у меня немало и не доведенных до конца решений: в совершенстве изучить арабский язык, изучить оджибвский язык, изучить делаварский язык, распрощаться с Ригой и пойти посмотреть Европу... И в то же время можно было бы принять и больше хороших решений, чем я это сделал... Минутку... Уфф... Когда ставлю посох, конец его уходит в землю, это даже хорошо, что такой дурацки тяжелый, можно опи-

¹ Никто не обязан делать больше того, что в его силах (лат.).

раться сильнее, чем на какую-нибудь тростниковую палку...

Я должен идти. И не только потому, что так решил. Ежели бы удалось никем незамеченным хоть несколько часов полежать там, под сушилом, я бы, может, только под утро, на заре двинулся дальше. Но она нашла меня... Она! Господи, как сердце дрогнуло, даже дыхание остановилось... Тем более я должен идти... Не могу же я, оставаясь здесь, искушать ее, чтобы она все попрала — и свой покой, и свою жизнь, и честь! Хватит с меня и сознания, что она была на это готова. Я это знаю! У меня есть уверенность, которую я вдохнул своим ртом, которую ощутил своей рукой...

Как часто мне хотелось спросить (и сам же свой вопрос подавляя, ибо не терплю быть жалким), спросить иудейского Иегову, эстонского бога, аллаха, мани-то*, спросить великий мировой дух: почему мне предуготована сия доля... И сейчас вот здесь, посреди темного жнивья, мне снова хочется спросить, почему именно в тот миг бог ударил меня своим перстом в грудь? Но я же знаю, что он мне не ответит. И что истинному цинику и не надлежит спрашивать. Может быть, когда-нибудь в будущем мне все откроется... Стой-стой! — здесь посохом я нащупал канаву. Осторожно по краю канавы, налево... Здесь кусты, мокрые листья в лицо... Ивовые кусты вдоль края большого тракта, как я понимаю... Медленно взобраться на обочину... Осторожно, только бы не упасть... ибо встать я, наверно...

В будущем, да, может быть, в будущем мне все откроется... Тогда, когда я полностью сольюсь с Великим мировым духом... Ибо я и есть с ним одна... одна субстанция... как сказал этот, ну... странное у него имя, вдруг забыл... этот шлифовальщик очков, которого я начал читать в Риге... и дальше стану читать, когда вернусь домой... Единая субстанция — дух и материя, бог и знания, я и мир... А я к этому добавлю, что самое высшее... Стоп, опять нужно немного постоять... (Все равно в темноте никто не увидит. А когда рассветет, меня здесь уже не будет.) Я скажу, что есть самое высшее благо. Ха-ха-ха-ха-а... великую мысль никогда на ходу не высказывают... для этого нужно остановиться, нужно перевести дух, нужно всем телом опереться на посох... под тяжестью собственной мудрости... Нав-

высшее благо — почувствовать себя внутренне свободным... Совершенно свободным... Не считая лишь принятых решений, которые мужчина сам на себя налагает. Ну и законов природы, само собой разумеется. К сожалению. Быть свободным... и смеяться над ливнем, который сейчас на меня обрушился... Видишь, Великий мировой дух ревнив... Каре он не позволил... (Господи, да было ли это?.. Может быть, все это — лихорадочный бред?..) Да-а, Великий мировой дух ревнив. Дорогой мой он не позволил положить мне на грудь холодный компресс, а сам насквозь промочил своим ливнем... Но высшее благо — чувствовать себя внутренне свободным... Я дошел до обочины большой дороги... А когда-нибудь дойду до места... Ежели только на колее не поскользнусь в слякоти и не упаду... ибо тогда...

Но, может быть, даже и тогда я все-таки дойду...

ПОЯСНЕНИЯ

Отто Виллем Мазинг (1763—1832) — чрезвычайно заслуженный человек, энциклопедист, публицист, очень много сделавший для развития эстонского языка, и в то же время до крайности самоуверенный старик. Кристиан Яак Петерсон (1801—1822) — чудо-юноша эстонской поэзии, в творчестве которого рационалист XVIII века ищет путей слияния с богемным интеллигентом начала XIX века. И, наконец, молодая чужестранка — жена Мазинга. Все трое не просто исторические фигуры, а по возможности почти документально изображенные персонажи. Разве можно считать только придуманным маленький роман между госпожой Мазинг и Петерсоном, если столь правдоподобны к нему предпосылки?..

А что с ними произойдет?

Петерсон через несколько месяцев умирает, и почти целое столетие о его творчестве знают немногие, в силу печального примера непонимания между поколениями. Мазинг еще десять лет борется против Морица и ему подобных, и (по его собственному разумению) он всегда неизбежно прав. Через десять лет госпожа Мазинг овдовеет. Она пустит на ветер бесценный для истории эстонской культуры архив своего мужа; бедняжка не догадывается, как много он значит. В завершение она примется разыскивать богатых, но весьма таинственных родственников своего отца и теперь уже не в Сицилии, а ни больше ни меньше, как на острове Ява, однако не найдет их и там...

стр. 233. К о р м о р а н — морская прибрежная птица.

стр. 242. Б р а т ь я - п р о п о в е д н и к и — пиетистское (см. пиетисты) течение в лютеранстве XVIII—XIX вв., популярное в Эстонии. Братья-проповедники, эстонцы, сопротивлялись влиянию немецких пасторов.

П и е т и с т ы — (от лат. *pietas* — благочестие). Пиетизм — протестантское движение в XVII—XVIII вв. против ортодоксальной церкви, но затем и против теологии эпохи Просвещения. Позднее пиетизм окончательно выродился в религиозное ханжество, мистицизм, прислужничество перед

власть предержавшими, пренебрежение наукой. В период царствования Александра I пиетизм стал популярен в России при императорском дворе. Здесь под пиетистами имеются в виду мистически, благочестиво настроенные лица в эпоху Александра I.

- стр. 249. *Maaraxva pēdalalet* — «Сельский еженедельник».
- стр. 250. «Бейтрэге» — «Beiträge zur genauern Kenntnis der ehstnischen Sprache» («Вклады для более точного знания эстонского языка») — журнал, издававшийся в 1813—1832 гг. И. Х. Розенплентером. Содержал статьи и материалы по орфографии, грамматике, словарному составу эстонского языка. В журнале сотрудничали О. А. Мазинг, А. Кньюфер, К. Я. Петерсон и другие. Способствовал развитию эстонского литературного языка в единый общенародный язык.
- стр. 254. Мемориал — здесь: докладная записка (лат.).
- стр. 259. Фукс — новичок, студент-первокурсник, состоящий в корпорации.
- стр. 261. ... в терции — в тогдашней эстонской гимназии счет классов велся в обратном порядке. Прима (первый, лат.) был выпускным. Терция (третий, лат.) соответственно третий от конца.
- стр. 264. Игнациус, Отто Фридрих (1794—1824) — прибалтийский живописец.
- стр. 264. Циники — приверженцы направления в греческой философии, основанного одним из учеников Сократа. Конечная цель: полное отречение от материальных благ, равнодушие к богатству, семейной жизни, политике как протест против рабовладельческого строя.
- Стоики — приверженцы стоицизма, направления в античной философии, согласно которому задача мудреца — познать разумную связь и закономерность вещей и жить сообразно природе, освобождаясь от гнета страстей.
- Диоген (412—323 до н. э.) — греческий философ. По преданию, жил в бочке, полностью игнорируя все достижения цивилизации.
- стр. 266. Клопшток, Фридрих Готлиб (1724—1803) — немецкий поэт.
- стр. 267. Инессив — один из падежей эстонского языка.
- Анакреонт (ок. 570—478 до н. э.) — древнегреческий поэт, воспевающий чувственную любовь.
- стр. 286. Ботта, Карло Джузеппе (1766—1837) — итальянский историк и поэт.

- стр. 301. В о л ь ф, Фридрих Август (1759—1824) — знаменитый исследователь античности.
- Гра ф ф, Антон (1736—1813) — немецкий живописец-портретист, профессор Дрезденской академии.
- стр. 310. Ко м е р ш — студенческий банкет, пирушка.
- стр. 313. Ф р а н ц е н, Франс Микаэль (1772—1847) — шведский поэт.
- Г о л д с м и т, Оливер (1728—1774) — английский писатель, поэт, драматург.
- стр. 314. П о т и ф а р — согласно библейской легенде — египетский чиновник при дворе фараона. В его доме жил Иосиф Прекрасный. Жена Потифара, Авигея, пыталась соблазнить Иосифа и предала его своему мужу.
- стр. 334. К а н а Г а л и л е й с к а я — городок в Галилее, где, согласно евангельской легенде, Христос совершил на брачном пире чудо претворения воды в вино.
- стр. 338. Д а в и д, С о л о м о н — библейские цари, которым приписывалось авторство поэтических песен.
- О с с и я н — легендарный воин и бард кельтов, живший, по преданию, в III в. н. э. в Ирландии.
- стр. 342. С и к е р а — крепкий хмельной напиток, брага.
- стр. 359. М а н и т о — у североамериканских индейцев — волшебная сила, конкретно ни в чем не олицетворенная. Она может быть доброй и злой и проявляться в определенных предметах, людях, явлениях природы. С помощью волшебных средств человек якобы может превратить ее из злой в добрую.

● СОДЕРЖАНИЕ

ЧЕТЫРЕ МОНОЛОГА ПО ПОВОДУ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ . . .	7
ИММАТРИКУЛЯЦИЯ МИХЕЛЬСОНА	55
ИСТОРИЯ ДВУХ УТРАЧЕННЫХ ЗАПИСОК	129
ЧАС НА СТУЛЕ, КОТОРЫЙ ВРАЩАЕТСЯ	157
НЕБЕСНЫЙ КАМЕНЬ	227

Яан КРОСС

ОКНА В ПЛИТНЯКОВОЙ СТЕНЕ

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1975, 368 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыкина**

Редактор **М. Серебрянникова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **Л. Сухоставская**



А 09315. Сдано в набор 20/II-75 г. Подписано в печать 11/VI-75 г.
Формат 84×108^{1/2}. Бумага печ. № 1. Печ. л. 11,5. Усл. печ. л. 19,32.
Уч.-изд. л. 18,06. Зак. 659. Тираж 180.000 экз.

Цена 81 коп.



Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Типография издательства «Известия Советов депутатов
трудящихся СССР» имени П. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1975 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Й. Авижюс — Потерянный кров. Роман. Перевод с литовского.

А. Адамович. В. Богомолов. В. Быков. Б. Васильев. Ю. Герш. А. Кулаковский. Б. Рахманин — Повести о войне.

Ю. Балтушис — Проданные годы. Роман. Книга вторая. Перевод с литовского.

С. Дангулов — Кузнецкий мост. Роман. Книга первая.

В. Козаченко — «Молния». Повести. Перевод с украинского.

В. Кожевников — Особое подразделение. Повести и рассказы.

Я. Кросс — Окна в плитняковой стене. Повести. Перевод с эстонского.

П. Куусберг — Одна ночь. Шоссе свободы. Романы. Рассказы. Перевод с эстонского.

В. Лам — Кукла и комедиант. Роман. Повести. Перевод с латышского.

К. Лордкипанидзе — Клинок без ржавчины. Повести и рассказы. Перевод с грузинского.

А. Нурпеисов — Крушение. Роман. Книга третья трилогии «Кровь и пот». Перевод с казахского.

Ш. Рашидов — Победители. Сильнее бури. Романы. Перевод с узбекского.

А. Чаковский — Блокада. Роман. Книги 1—5. В трех томах.